

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:
ДИСКУССИЯ**

**Москва
2014**

ББК 79.3
С 69

Центр россиеведения

Ответственный редактор –
докт. полит. наук И.И. Глебова

Современная Россия: Дискуссия (Материалы
С 69 семинаров Центра россиеведения ИНИОН РАН, 2008–
2013) / РАН. ИНИОН. Центр россиеведения; Отв. ред.
Глебова И.И. – М., 2014. – 324 с.
ISBN 978-5-248-00731-8

В настоящем издании представлены материалы научных семинаров, проведенных Центром россиеведения ИНИОН РАН в 2008–2013 гг. В семинарах принимали участие ведущие российские и зарубежные исследователи. Обсуждались ключевые вопросы прошлого и настоящего России, рассматривались перспективы развития страны.

Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов.

ББК 79.3

СОДЕРЖАНИЕ

О современной России и задачах россииеведения. (Предисловие)	4
Социальная память в институциональном измерении: Постсоветский архив	14
Революция как проблема российской истории	62
Власть в политической культуре России	99
Российский политический режим: Проблемы изучения и интерпретации	155
Ленин и ленинское наследие: Основные параметры дискуссии ...	190
Закат России?	226
В какого бога верит русский человек	252
Ловушки исторического тупика	287
Список докладчиков и участников семинаров	321

О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЗАДАЧАХ РОССИЕВЕДЕНИЯ (Предисловие)

В современных социально-гуманитарных науках ощутим дефицит познавательных подходов, моделей, теорий, позволяющих понять и объяснить настоящее и прошлое России. Одним из главных последствий/результатов советского времени, когда господствовали единая, тотальная идеология и базировавшиеся на ней и ее подтверждавшие «научные» концепции (то, что выдавалось за науку), явился кризис самопознания/самопонимания. Несмотря на все усилия исследователей 1990–2000-х годов, он не преодолен. Мы по-прежнему не можем определенно и убедительно ответить на главные для нас сейчас вопросы: о причинах рождения и краха советского порядка, его природе и связях с нынешним социальным строем. Из потребности восполнить этот дефицит возникло (среди прочего) то исследовательское направление, которое получило название «rossииеведение».

Россииеведение ориентировано на изучение России как особой социокультурной целостности, самостоятельного культурно-исторического типа, имеющего свою специфику сравнительно с обществами западными или восточными. Оно, во-первых, предполагает преодоление узости, ограниченности отраслевых исследовательских подходов, т.е. выход за рамки историко-, экономико-, политики- и любой другой центричности. Во-вторых, россииеведение нацелено на выработку такого исследовательского инструментария (понятий, концепций), который давал бы возможность увидеть и объяснить то особенное, что отличает нашу социальность, выделяет ее среди других.

Собственно, необходимость в россииеведении вызвана тем, что для изучения России недостаточно традиционных (в основе

своей европоцентристских, но используемых как универсалистские) концептуальных средств, исследовательских моделей. В России есть нечто, что с их помощью нельзя описать. Именно поэтому большинство диагнозов и прогнозов, сделанных в рамках этих (весьма достойных и почтенных) концепций, в отношении России себя не оправдывают. Более того, в XX столетии в нашей стране возник особый тип общества – иной по сравнению с той социальностью, с которой имела дело западная наука (с которой до него вообще имела дело наука). Его познание потребовало принципиального концептуального обновления. И наконец, то, что случилось с этим обществом, с режимами советского типа в конце XX в., стало новым вызовом для исследователей. Падение советского коммунизма и подобных порядков в Восточной Европе, наукой плохо предусмотренное, заставляет проверить и во многом пересмотреть прежние научные суждения.

Здесь и возникает потребность в россиеведении – не как в особой науке, но как в определенном подходе, определенной точке зрения на Россию. В рамках такого подхода утверждается: наука не может принять какую-то культуру за норму и подходить к другим культурам с позиций этой нормы. Наука не может рассматривать конкретные культуры сквозь призму некоего универсального общества и предлагать в их отношении решения, которые дало бы это универсальное общество. Рассматривая изучение России с позиций не «должного», а «сущего»; исходит из необходимости признания «нормативности фактического», т.е. «наличной» социальности (данной экономики, политики и т.д.). Последнее, конечно, не означает морального релятивизма. В самом общем виде россиеведение представляет собой опыт самопознания – понимания и объяснения того, что происходило и происходит в нашей стране.

Все это, конечно, весьма амбициозные и трудные задачи. Для их решения уже в 1990-е годы у нас стали создаваться соответствующие научно-образовательные структуры, формировались научные коллективы. В качестве одной из дискуссионных площадок, на которой обсуждались бы адекватные этим задачам предложения, в ИНИОН РАН был создан Центр россиеведения. С 2009 г. Центр издает «Труды по россиеведению» и организует научные семинары, на которые приглашает российских и зарубежных исследователей, общественных деятелей.

На наших семинарах обсуждаются ключевые вопросы истории и современного состояния России. Каждый конкретный вопрос рассматривается в общем контексте российской жизни. Тем самым мы пытаемся взглянуть на «общее» (Россию как своеобразный культурно-исторический тип) с позиций «частного» и через «частности» проникнуть в суть «целого».

Отличительной особенностью семинарских дискуссий является своего рода «перекрестный» обзор, предполагающий столкновение прошедшего с происходящим, соотнесение «локального» со всеобщим. В такой логике ретроспекции приобретают актуально-практический, современный и перспективный смысл, а через призму современности иначе видится прошлое. Эта логика предполагает взаимопроникновение идей, сравнительное изучение разного социального опыта для выявления как своеобразного/особого (сущи, основы исторического бытия данного типа культуры), так и со-пряженностей с иными культурами, традициями. Все это, надеемся, обеспечивает стереоскопичность, сложность, адекватность взгляда.

Решение выпустить отдельным изданием материалы семинаров Центра, многие из которых уже публиковались в «Трудах по россииеведению», объясняется следующими соображениями. Суть и цель семинаров – дискуссия, свободное, открытое, публичное обсуждение важных для российских науки и общества проблем (в том числе острых, конфликтных, болезненных). Мы полагаем, что для современной – самоопределяющейся, ищущей свой путь в современность – России дискуссия должна быть способом существования.

Публичная дискуссия – это метафора современного (сложного, многосоставного, плурального, «открытого», требующего соответствующего качества управления) общества, важнейший элемент его жизни. Публичные дебаты (в парламенте и студенческой аудитории, ученом сообществе, средствах массовой информации и проч.) для него естественны и необходимы – так оно и формируется, так существует. Только через дискуссию/диалог, обеспечивающие общественные взаимосвязи/взаимодействие, возможны «расширение»/усложнение «наличной» социальности. А это – необходимое условие для развития, которое не только «улучшает» общество, но и порождает новое качество проблем, неуверенность и риски, новые вопросы и вызовы.

Дискуссия есть важный способ поддержания в таких условиях социальной стабильности. В ходе своей эволюции человечество изобрело (по большому счету) два способа самопонимания и самоконтроля: исповедь и психоанализ, посредством которых «разгружается» индивидуальное подсознание. В такого рода «разгрузке» нуждаются и общества – в противном случае в них накапливаются взрывоопасные потенциалы. Отсутствие возможности и привычки искать в публичной дискуссии путь к взаимопониманию сопряжено с ростом социальной напряженности и агрессии, разного рода конфликтами, бунтами, революциями. Конечно, в общественных «разговорах» есть своя опасность – можно ведь договориться и до баррикад. В любом обществе находятся искусные демагоги, способные с помощью СМИ раздувать социально опасные темы, провоцировать расколы, противостояния, подталкивать к гражданской войне. Поэтому общественные дискуссии должны вестись в строгих рамках, быть ограничены правом, моралью.

Способность установить эти рамки и в них удерживаться – показатель зрелости общества. Но к этому невозможно прийти, стерилизуя публичное пространство, закрываясь от острых тем, квалифицируя оппонентов как врагов. Только в спорах общество учится распознавать и блокировать опасные, разрушительные для себя тенденции, вырабатывать эффективные страховки, находить верные решения.

Способностью к социальной дискуссии/диалогу (помимо прочего) общества демократические отличаются от недемократических. Сошлюсь здесь на мнение Раймона Аrona. Вопрос о том, встречает ли социальную поддержку диалог, он считал главным политическим вопросом; по склонности к «обсуждению» или к его отрицанию различал европейские, западные и советский (недемократический) режимы. «Наши общества согласны на ведение диалога. Сущность советского режима состоит в отказе от диалога, – говорил Р. Арон. – Этот диалог должен быть как можно более разумным, но он допускает бурные страсти, он допускает иррациональность: общества диалога – это общества, которые держат пари на человечество. Другой режим основан на отказе от доверия к управляемым гражданам, на притязании небольшого числа олигархов... на обладание окончательной истиной для самих себя и для будущего... Притязания... нескольких олигархов на знание исти-

ны, касающейся одновременно истории и будущего, являются недопустимыми. Как сегодня говорят, это неприемлемо»¹.

В России, которая является современным обществом, дискуссия/диалог допускаются. Ведутся споры об актуальных проблемах и ближайших перспективах, о том, как должна развиваться страна. Но их социальное значение ограничено. Симптоматично, что в последние годы дискуссия приняла иносказательную форму – в том числе споров об истории (прежде всего советской). Так восполняется дефицит публичной политики, в рамках которой и должна реализовываться общественная потребность к конкуренции, дебатам, диалогу, сотрудничеству. Не находя здесь выхода, общественная энергия перемещается в иные (неполитические) «пространства», отчасти меняя их качество, политизируя их.

Современное российское общество значительно отличается от советского, но одновременно является его «продолжением». В этом – историческая диалектика. Нас уже невозможно свести к одному интересу, одному мнению, мы тяготеем к конкуренции идей, взглядов, а потому не можем отказаться от дискуссии как способа самовыражения, самореализации. И в то же время боимся ее – слишком ограничен наш опыт самокритики/самопознания. В стремлении себя обезопасить российское общество снижает риски публичных дебатов: исключает наиболее сложные и болезненные темы (табуизирует), оставляет дискуссию без социальных последствий (виртуализирует). Не меняя общественных установок, не приводя к позитивным социальным результатам, общественная дискуссия обессмысливается. Тем самым гасятся импульсы к развитию, общество все больше сползает к состоянию хронического упадка.

Немаловажно, что в постсоветских дискуссиях постоянно воспроизводятся устаревшие язык и форма нормативной полемики советских времен (в прессе, в науке). В общественных дебатах последних лет возобладали казенный язык, утверждающий непререкаемые истины, и агрессивно-монологичная форма высказываний. Для перемены образа общественных мыслей, неизбежной в новых исторических условиях, необходимо отказаться от этого языка и этой формы, извращающих изначальный смысл полемики. Их воспроизведение – один из механизмов реставрации, «возвращения» к

¹ Арон Р. Пристрастный зритель. – М.: Практис, 2006. – С. 375.

советскому образцу единомыслия, единогласия, равнодушного соглашательства.

Семинары Центра россиеведения ИНИОН РАН, на наш взгляд, – пример профессиональной дискуссии о современной России, ее проблемах, опасностях, тупиках и возможностях. Нам представляется, что полемика, дисциплинированная требованиями профессионализма, позволяет – хотя бы отчасти – понять господствующие умонастроения и важнейшие темы, которые волнуют не только сообщества профессионалов-россиеведов (историков, политологов, культурологов и т.д.), но и российское общество в целом.

По существу, на наших семинарах рассматривались два «сюжета»: Россия сегодняшнего дня (последних как минимум двадцати лет) и Россия ХХ в. (предреволюционная и советская). Нам эти линии кажутся неразрывно связанными. Мы, конечно, не пытаемся механически свести настоящее с прошлым, Россию царскую – с СССР и их – с Россией нынешней, объясняя современные социальные проблемы «дурным наследием» или, напротив, небрежением «хорошим наследством». Мы исходим из того, что взгляд на Россию, ограниченный сегодняшним днем, не позволяет ее понять.

Часть материалов издания, непосредственно посвященных современной России, отличает тематическое разнообразие, различие исследовательских языков, широкий спектр взглядов. При этом участников семинаров объединяют обеспокоенность происходящим в стране, стремление представить аутентичную картину происходящего, трезвость в его понимании. Нынешняя ситуация в России оценивается большинством выступавших как кризисная; у некоторых ощущение кризиса доведено до последней степени остrosity, трагизма.

И все участники семинарских дискуссий озабочены поиском перспектив – ответов на вопросы: адекватна ли Россия «совершенномлетнему» миру, его вызовам; каковы модели развития, на которые следует ориентироваться, «дорожные карты», определяющие движение? Симптоматичны настойчиво предостерегающая интонация дискуссий, наличие в них «сценариев будущего», конкретных предложений по выходу из кризиса, т.е. своего рода зацикленность на вопросе «что делать?». Это лишний раз указывает на серьезность нашего положения и в то же время свидетельствует о

возвращении чувства перспективы, которое российское общество в последние годы, казалось, утратило.

Наше настоящее и наше будущее во многом определяются тем, что мы наследуем. Этот, вроде бы, трюизм имеет не только объективно-исторический смысл: в своем развитии мы ограничены «коридором возможностей», заданных прошлым. В культурноментальном отношении наши перспективы зависят от того, какую историю, какой алгоритм отношений с прошлым мы для себя выбираем. Наш «ретроспективный» выбор автоматически расширяет или, напротив, сужает «коридор возможностей», загоняя в прежние, исторически хорошо знакомые тупики или позволяя вырваться из примитивной схемы возвратно-поступательного движения во времени: цивилизационный прорыв – откат в «дикость», варваризация социальных отношений – возвращение на путь культурного роста.

Именно с этой позиции мы обращались на семинарах к историческим сюжетам, проблематике национальной памяти, национального достояния. Отношение к прошлому/наследию – это не только вопрос инстинктивного народного «припомнения». Оно обязательно связано с культтивированием истории, погружением в собственную культуру. История – всегда попытка адекватного знания общества о своем прошлом, о достижениях и трагедиях, с ним связанных. Она является таким ограничителем для социальной памяти, который не позволяет делать ставку на решения, «технологии» и проч., уже имевшие суицидальные социальные последствия. Речь таким образом идет о проблематике, имеющей не ретроспективное («музейно-мемориальное»), а актуальное значение – культурное, мировоззренческое, политическое. Выработка отношения к прошлому, взятых ориентиров для общественной памяти – это всегда вопрос нынешнего самоопределения.

Очевидно, к примеру, что особое значение для современной России имеет тема революции. Грядущее столетие событий 1917 г. требует от нас определенности: чем мы полагаем революцию, каково ее место в нашей истории, с чем мы солидаризируемся и что отвергаем в ее наследии. Показательно, что накануне юбилея на официальном уровне отказались от определения Февральской и Октябрьской революций 1917 г. как самостоятельных событий (в разработанной в 2013 г. единой концепции школьного учебника истории они сведены в единый революционный процесс: Великую

революцию 1917–1921 гг.¹). Здесь теряется их суть, их принципиальное содержательное различие. Кроме того, в обществе все сильнее звучит мнение, что революция есть следствие заговора антироссийских сил, т.е. по существу «внешнее» для России явление (ей навязанное, а не ею произведенное); что за нее ответственны эгоистичные и космополитичные (а потому как бы и не «свои») «элиты», чужие правительства, разведки, импортированные идеи и захваченные ими радикалы и т.п. Получается, что глубокого народного значения революция начала XX в. не имела. Мы совершенно не согласны с такими подходами: они – против истории, так как отрицают (скрывают, затушевывают) в случившемся важнейшие смыслы.

Самоопределение России, выбор ею вектора движения связаны с тем, как мы понимаем, трактуем революцию. Потому что, по нашему глубокому убеждению, Октябрь 1917 г. есть главное событие русской истории XX столетия. Его последствия так грандиозны, что даже через сто лет мы живем в созданном им социальном пространстве, в его магнитном поле. И думаем, что – к сожалению для нас – выход из этого поля не близок. Более того, совершенно очевидно, что преодолеть до конца влияние Октября нам не удастся никогда. Это означает, что некоторые изменения в «социальном коде» России, произведенные большевистско-народной революцией 1917 г., оказались необратимыми. Наличие же в обществе разных (даже непримиримых) взглядов на революцию и ее деятелей, появление даже сейчас, спустя столетие, неадекватных ее интерпретаций свидетельствуют о расколе в отношении этого события. Преодоление раскола, являющееся необходимым условием общесоциального консенсуса, требует публичного (профессионального и общественного) обсуждения.

Яростные столкновения по поводу этого и других явлений отечественной истории, нашедшие отклик и в наших семинарских дискуссиях, напоминают знаменитый немецкий «спор историков». И вот в каком смысле. Германские дебаты начались, по существу, с вопроса: один ли национал-социализм виноват во Второй мировой войне и всех ужасах середины XX столетия. Ряд влиятельных немецких исследователей выдвинули предположения, что сталинизм

¹ Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. – Режим доступа: <http://минобрнауки.рф/3483>

несет за это не меньшую ответственность. Более того, некоторые утверждали, что «закоперщиками» европейского суицида являются именно русские, а не немцы. В конечном счете эта точка зрения была маргинализирована; немецкие коллеги нашли в себе мужество не отказываться от вины своих предков. Хотя, конечно, в исторических дискуссиях последнего времени сталинизму, как источнику мирового зла середины XX в., стало уделяться большее внимание.

То, что в среде немецких историков возобладал «обязывающий» подход к прошлому, в рамках которого история не извиняет и утешает, а сдерживает, ограничивает, дисциплинирует, призывает к ответу за случившееся и происходящее, – не случайность. Он стал результатом глубокого осмысления «вопроса вины» (К. Ясперс) и искренней, фундаментальной денацификации (не только в юридическом смысле, но, что особенно важно, и в нем тоже). Для нас, когда мы говорим о россииеведении и дискуссиях о нашем недавнем прошлом, это, вне всякого сомнения, ориентир.

И еще по одной причине нам важен спор немецких историков. Он шел по двум основным направлениям, которые иногда пересекались, а в какие-то моменты шли параллельно (независимо). Первое – это дискуссия вокруг конкретных исторических вопросов, сюжетов, явлений: кто и что сказал и сделал, как случившееся можно описать на языке науки и проч. Второе – это обсуждение травматической истории XX в. с моральных позиций. Последнее и является для нас еще одним уроком¹. Скажем, даже если согласиться с мнением некоторых современных исследователей, что у пакта Молотова–Риббентропа был свой, сугубо pragmatический *reason d'etre*, подтвержденным ссылками на то, что Мюнхенское соглашение не лучше (а оно не лучше), и указаниями на то, что драматическому разделу Польши в сентябре 1939 г. предшествовала ее алчная политика по отношению к Чехословакии (в 1938 г. поляки аннексировали две чешские области), с моральной, т.е. с человече-

¹ Этот подход к прошлому был выработан и у нас – самостоятельно, «по результатам» своей истории. Причем, не историками, а прежде всего литераторами. Об этом – все творчество А.И. Солженицына. Как бы давая формулу такого подхода, И. Бродский говорил: «...в нашу почти постхристианскую эру литература и, возможно, история – единственные источники этического воспитания» (Бродский И. Книга интервью. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Захаров, 2011. – С. 167–168).

ской (а другой и быть не может), точки зрения соглашение между фашистской Германией и сталинским СССР оправданию не подлежит. Если же моральная позиция будет подвергнута ревизии, нас вновь ждут типологически схожие испытания.

Следовательно, в исторических дискуссиях, так же как и в публичных дебатах о современной России, речь идет о наших настоящем и будущем, которые мы не имеем права отдать силам национал-коммунистического реванша, деструкции, распада.

И.И. Глебова

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПОСТСОВЕТСКИЙ АРХИВ

(Семинар 27 ноября 2008 г., ИНИОН РАН)



И.И. Глебова (ИНИОН РАН): В чем нам, организаторам, видится смысл сегодняшнего семинара? Мы хотели бы поставить архивную проблематику в контекст изучения России. И пригласить к сотрудничеству коллег из Историко-архивного института (ИАИ) РГГУ, занятых вопросами бытования российских архивов.

Тема «общество–архив» – это тема «общество–память». Память и общество одноприродны: рассказ о том, что общество помнит о себе и как распоряжается памятью, – это рассказ о самом обществе. Можно сказать, что общество и есть память: оно помнит то, что поддерживает и воспроизводит его природу, и так, как диктует эта природа.

Существование архива в нашем обществе определяется (и очень существенно) господствующим типом памяти. В то же время его поддерживает и закрепляет. Выявляя алгоритм (тип) существования архива в обществе, мы продвигаемся по пути познания роли памяти в обществе, а значит – самопознания. Выстраивается коммуникативная цепочка: архив как институт памяти – социальная память – общество.

Поэтому обсуждаемую тему с полным правом можно отнести к разряду россиеведческих тем. Разговор об архиве приобретает значение инструмента исследования: мы как бы берем кровь на анализ, чтобы определить, с каким организмом имеем дело. Используя этот «вход», мы пытаемся понять, как устроено наше общество, какова природа российской социальности.

И не случайно «архивный» семинар стал первым в работе Центра россииеведения ИНИОН РАН. Не случайно – по двум причинам разного свойства. Во-первых, поставленная уважаемыми коллегами тема дает прямой выход на общество – во всем его разнообразии, во всех его проявлениях. Тема памяти «приложима» к сферам культурной, социально-политической, экономической и др., т.е. сравнима с общим анализом крови. Во-вторых, существует непосредственная коммуникативная связь между архивом, воспроизведяющим память на информационной основе и информационными средствами, и информационно-аналитической научной структурой, какой является ИНИОН. Воспроизведение информации социально-гуманитарного порядка есть основа их деятельности и связи с обществом. Это типологически сходные структуры, что делает их сотрудничество неизбежным.

Я предлагаю традиционный для семинара алгоритм: собственно доклады, вопросы к докладчикам и затем обсуждение.



Е.В. Старостин (ИАИ РГГУ): Собственно, все сегодняшние доклады посвящены тому, какое место архивы занимают в системе социальной памяти.

В общественном дискурсе и в научной среде фиксируется явный рост «спроса на память». В последнее десятилетие появилось огромное число работ, переводных и оригинальных, посвященных этой важнейшей проблеме. Она обсуждалась на международной конференции «Культура исторической памяти»¹. Редколлегия «Нового литературного обозрения» издала в 2005 г. специальный выпуск под названием «Институты нашей памяти: Архивы и библиотеки в современной России»². Однако инициаторы проекта мало внимания уделили взаимосвязи концепции историко-культурного наследия (или национального достояния) с социальной памятью общества. Историки архивов не могут игнорировать этот теоретический вызов. В своем выступлении я коснусь именно этой темы.

¹ Конференция проходила с 19 по 22 сентября 2001 г. в Петрозаводском государственном университете.

² Институты нашей памяти: Архивы и библиотеки современной России. – М.:НЛО, 2005. – № 74.

Понятно, что каждый социум формирует особую матрицу историко-документального наследия. Сегодня все цивилизованные сообщества, не исключая России, сосредоточились на проблеме самоидентификации, в решении которой архивы играют ключевую роль. Страны, терявшие на какое-то время свою государственность или получившие ее в результате распада крупных империй (Польша, Чехия, Украина и др.), создают специальные «институты национальной памяти». Их цель – корректировать память сообществ.

Существует как минимум два информационных потока, пытающих социальную память. Первый – устный, являющийся частью исторического сознания, – формируется на протяжении жизни каждого индивидуума, семьи, коллектива, общества. Второй поток, несущий огромный объем все пополняющейся информации, сосредоточен в архивах, музеях и библиотеках, т.е. в современных институтах памяти. Между этими двумя потоками происходит непрекращающийся информационный обмен.

В триаде институтов памяти «архивы–библиотеки–музеи» архивы занимают центральное место, так как отражают все аспекты жизни общества. Не будем преувеличивать степень сближения между элементами триады, которая наблюдается в последние годы. Эта тенденция времененная и вызвана ломкой в России старых устоев, законодательно-правовой базы, государственного аппарата, появлением новых форм собственности. Названные институты памяти *объединяет функция сохранения историко-культурного наследия*. (В скобках замечу, что существуют разные определения национального достояния (или историко-культурного наследия), в основном дополняющие друг друга: 1) «совокупность научных и управлеченческих принципов, лежащих в основе государственной политики в области архивного, библиотечного и музейного дела, а также защиты памятников архитектуры и археологии» и 2) «совокупность исторических источников, являющихся объектом государственной политики и правовой регламентации».) В остальном, однако, социальные функции архивов, библиотек и музеев разнятся. Архивы в большей степени обслуживают правовые потребности государства и граждан, а также нужды исторической науки. В работе музеев и библиотек на первое место выходят культурно-просветительские и научно-познавательные функции.

Документы, хранящиеся в архивах, представляют собою зафиксированную память о том, что общество может «вспомнить». Но это «вспоминание», а точнее научная интерпретация исторических источников, требует больших профессиональных знаний и умственных усилий. В этом вопросе исследователю помогают теория и методика вспомогательных исторических и специальных дисциплин – прежде всего источниковедения и архивоведения, разработанные не одним поколением историков. Сложившиеся в архивах системы классификации, способы хранения и описания, формы использования документов и проч. сами по себе служат показателем уровня развития культуры.

Следует отметить качество сохранности архивного достояния России. Несмотря на бросающиеся в глаза пробелы в документальной летописи страны, российские архивы в целом сохранились неплохо. Если XVI–XVII вв. имеют лакуны, то XVIII, XIX, XX вв. более или менее полно отражают разнообразие российской государственности. Это первое. Второе. Архивы России содержат много сведений о народах, населявших ее окраины, которые после 1991 г. образовали 14 самостоятельных государств. Третье. Хорошей сохранности документов способствовало отсутствие в России традиции их постоянного уничтожения, вошедшей в практику западноевропейских стран – в особенности после Великой французской революции. Российская бюрократия предпочитала сохранять «ненужное» в составе «необходимого», оправдывая это тем, что когда-нибудь все документы могут пригодиться. Официальная документация в российских канцеляриях уничтожалась по причине ее ветхости, что не исключало потери материалов от частых пожаров, вооруженных конфликтов, войн, набегов и, конечно, от простого небрежения.

В западноевропейской историографии появление в университетах *новой дисциплины – истории национального достояния* – связывают с 60-ми годами прошлого века, т.е. с «концом истории» в западных обществах. С этого времени остаткам прошлого присваиваются ценностные категории. К сожалению, архивоведение, музееведение и библиотековедение в России, занимающиеся изучением трех составляющих историко-культурного наследия, долгое время были разъединены. Поэтому в отличие, например, от Франции, имеющей уже разработанную *доктрину охраны национального достоинства*

тования и высшее учебное заведение – Школу национального достояния, в России подобная теория и практика только складываются.

Архивы в рамках европейской цивилизации прошли несколько этапов. В начальной стадии формирования общества, основанного на частной собственности владения землей, возникла потребность хранения документов собственности на территории, строения, предметы быта и роскоши, привилегии. Затем к ним добавилась необходимость сохранения сведений о государственных и общественных учреждениях – их структурах, прошлой и настоящей деятельности. При становлении национальных государств архивные документы, собранные в национальных и местных архивах, играли определяющую роль в защите суверенитета, границ, объектов национального достояния и проч.

С появлением новых источников комплектования – в частности, документов негосударственного происхождения, материалов на новых носителях и т.д. – архивы своим составом стали отражать деятельность всего общества. Как говорит профессор Школы хартий Бруно Дельмас, «архивы стали общим богатством». Эти слова подтверждаются западноевропейским законодательством об архивах, в котором обязательно присутствует категория «*публичные бумаги как объект неотчуждаемости*». В России же правящая элита благополучно похоронила идею «общенародной собственности» и присвоила государству, т.е. чиновникам, право собственности на историко-культурное наследие.

Подобно другим странам, архивная система России столкнулась с рядом проблем, которые принесла современность. Некоторые архивисты-традиционалисты не в силах приспособиться к «наступлению» новых архивных технологий, объявили о смерти классического архивоведения. Представляется, что пока говорить об этом рано. К электронной документации, по рекомендациям Международного совета архивов, необходимо применять те же правила, что и к бумажным материалам. Все эти вопросы явились предметом обсуждения на многочисленных национальных и международных архивных форумах.

В странах, в которых укоренились демократические традиции, службам архивов оставлен контроль за состоянием делопроизводства в ведомствах. И наоборот, в тех государствах, где чиновничество продолжает удерживать свои позиции, архивы отделены

от первоначального продукта, не имеют права контроля над всеми этапами прохождения документа.

В России возродился интерес к частным и личным (семейным) архивам и коллекциям. Немалые историко-культурные ценности, редкие манускрипты, автографы великих людей и т.п. со средоточиваются в личных собраниях. Все они представляют большую историко-культурную ценность для страны, и государство обязано вести хотя бы учет их наличия, иметь право приоритета при продаже и возможность минимизировать случаи пропажи и уничтожения. Не должны остаться без внимания и архивы простых граждан: коллекционеров, местных краеведов, школьных учителей истории с их собраниями школьных музеев и др.

Гигантская проблема – сохранение архивов приватизированных и вновь открываемых предприятий, фирм, банков, корпоративных обществ, ассоциаций, политических партий. Возникает вопрос: располагает ли Федеральное архивное агентство РФ необходимыми возможностями, чтобы следить за их возникновением, эволюцией, ликвидацией, т.е. за судьбой документального наследия? Ответ ясен. Между тем архивные службы Запада накопили огромный опыт по сохранению документации частного бизнеса, семейных собраний, и грех им не воспользоваться.

В различные эпохи и в разных регионах государство не всегда играло определяющую роль в сбережении историко-культурного достояния. Известно, что на Североамериканском континенте, в Австралии на первом этапе их государственности преобладали частные формы сохранения культурного наследия. И в странах с устойчивыми этатистскими традициями (Италия, Франция, Германия) многие памятники прошлого сохранились благодаря собирательской деятельности церкви, ученых обществ, выдающихся представителей науки. И в Европе, и в Америке образовались частные неправительственные архивы, деятельность которых лишь частично финансирует государство. Упомяну для примера Институт социальной истории в Амстердаме, Архив Общества методистов в Англии, Гуверовскую библиотеку войны, мира и революции в США.

В ряде западных стран в отношении сохранения историко-культурного наследия в последние годы стали заметны признаки приближающегося кризиса. Пожалуй, во Франции, которая была своего рода эталоном заботы о национальной документальной ле-

тописи, элементы этого кризиса обозначились наиболее рельефно. Это заставило профессора Школы хартий Бруно Дельмаса подготовить и опубликовать книгу «Общество без памяти»¹ (Париж, 2006). В книге лейтмотивом звучит идея: в современном обществе знаний архивы в силу ряда причин не отдают в полной мере обществу хранящуюся в них информацию. Россия, к сожалению, не является исключением – кризис социальной памяти очевиден и у нас.

Этот вызов заставляет иначе, чем прежде, формировать коммуникативные архивные стратегии. Архивы не должны быть только хранителями информации, им необходимо стать ее поставщиками, отвечая на любой запрос общества в информации – учрежденческий, корпоративный или персональный. Более того, следует опережать и направлять общественные запросы. В коммуникативной стратегии современных архивов важно обозначить перспективные ориентиры. Это вероятный путь решения самой амбициозной («идеальной») задачи архива. В настоящее время где-то около 20% хранящихся в архивах исторических источников используются потребителями, тогда как эту пропорцию следует перевернуть и использовать 80%. Актуализируем эту модель – преодолеем кризис памяти.

Проблему общественной коммуникации архивов неверно было бы сводить к различным формам использования архивных документов. Она теснейшим образом связана со всем спектром экономических, политических, культурных и правовых вопросов государства; с публичным, государственным, международным, частным, авторским правом, правом собственности на документы и т.д.

На передний план в коммуникативных стратегиях актуализации историко-культурного наследия выходит доступность. Это в равной мере касается как архивов, так и библиотечных, музеиных материалов. Показательно, что распад СССР и последующая ликвидация соцлагеря спровоцировали ажиотажный интерес к документам бывших карательных учреждений государств Варшавского пакта. Особую остроту приобрел вопрос об их доступности. Возник даже термин *«les archives sensibles»* (чувствительные архивы).

В деле развития «внешних» коммуникаций российским архивам есть чем гордиться: изданы прекрасные многотомные путево-

¹ Delmas B. *La société sans mémoire: propos dissidents sur la politique des archives en France.* – P., 2006.

дители по центральным федеральным архивам, РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства) одним из первых раскрыл свои литературные сокровища в электронном формате, программа электронного описания фонда Коминтерна восхитила участников международного конгресса в Вене в 2004 г. и т.д. Однако этого мало. Доминирующие типы архивных коммуникаций – через читальные залы, выставки, публикации, выступления в средствах массовой информации и т.п. – обязаны постоянно совершенствоваться, чтобы отвечать вызовам времени.

Поскольку *архивы* составляют важнейшую часть историко-культурного наследия, они должны *возвращать* (или способствовать *возвращению*) обществу «уснувшей памяти». Такова *общественная коммуникативная функция архивов*. Как врач лечит пациента от болезней, так и *архивист* обязан *оздоравливать память людей*, публикуя из кладовых архивов сто раз проверенную информацию, мешая складыванию мифологических представлений о нашем прошлом, разгоняя туманы предубеждений, навязанных ложными идеями. Таким образом, *хранитель архивов превращается в доктора исторической памяти*.



Т.И. Хорхордина (ИАИ РГГУ): Я буду говорить о проблеме взаимонепонимания в цепочке «архивист – потребитель».

Особую остроту сегодня, в условиях формирования информационного общества, приобретают вопросы, связанные с определением роли, места и функций традиционных архивохранилищ и архивных учреждений. Требуется по-новому проанализировать принципы отношений в системе «архив – потребитель», поскольку под угрозой находится самая уязвимая сторона функционирования архивов – коммуникативная.

На наш взгляд, эти отношения должна определять гуманистическая стратегия коммуникативной деятельности архивистов. Мы бы сформулировали ее так: архивы служат не только – и даже, по нашему мнению, не столько – времени, но Вечности. Конечно, человек «выстраивает» архивы сообразно своим актуальным потребностям. Но в то же время архив активно воздействует на формирование человека, способного наладить и поддерживать с ним плодотворную коммуникацию в условиях информационного общества. Иначе говоря, *не потребитель определяет суть архивов, а*

архивы формируют отношения с ним. При несоблюдении этого алгоритма взаимопонимания человек и архив остаются по разные стороны непроницаемой стены.

Недостаточная подготовленность потребителя может вообще исключить возможность использования архивных материалов. Нарастающие лавинообразно *попытки редуцирования функций архива к сфере обслуживания запросов потребителя* неизбежно вызывают общее понижение культурного и интеллектуального уровня общества. На наш взгляд, именно этим на глубинном, корневом уровне было обусловлено многолетнее забвение гуманитарных положений фундаментальной науки об архивах, у истоков которой стояли творцы архивной реформы 1918 г., включая членов Союза российских архивных деятелей во главе с А.С. Лаппо-Данилевским.

Исторически сложилось так, что на протяжении веков архивы были вынуждены лавировать в узком проливе между Сциллой по имени *Польза* и Харибдой по имени *Ценность*. Это объясняется двойной природой накопленных в хранилищах документальных сокровищ. С одной стороны, архивист выступает как госслужащий, призванный удовлетворить текущие запросы пользователей и предоставить им на основании действующего законодательства свободный доступ к вверенным под его ответственность документам. С другой, он обязан обеспечить сохранность и эффективное приумножение документальных фондов как общенационального достояния и архивов как важного атрибута российской государственности и инструмента общественного самопознания.

Архивисты обязаны исходить из презумпции непреходящей исторической ценности принятых на постоянное хранение документов, независимой от характера сиюминутных запросов тех или иных групп возможных потребителей. Понятие *ценности* исторических документов категорически недопустимо подменять понятием «конкретной полезности» документов для данного потребителя – индивидуального, колективного, локальной или массовой аудитории», поскольку для информантов с разными информационными потребностями и возможностями информативность одного и того же документа будет неодинаковой.

Подмена понятия исторической ценности архивных документов их полезностью приведет к тотальной коммерциализации архивов, к превращению их в обычный предмет товарно-денежных отношений. Следует сразу оговориться, что проникновение рынка

в архивное дело само по себе не может быть ни плохим, ни хорошим. Ведь архивы, помимо всего прочего, являются сложным хозяйственным объектом, который требует хозяйственного к себе отношения.

Трудно возразить против истины, провозглашенной на состоявшейся в апреле 2006 г. Всероссийской научно-практической конференции «Архивоведение и архивное дело в России (1991–2005): Осмысление пройденного» главный специалист Государственного архива Тульской области И.А. Антонова: «Чем больше услуг могут предоставить архивы – тем больше расширяется архивно-информационное пространство, тем мы нужнее потребителю. И тем больше сможем зарабатывать самостоятельно». Однако можно и нужно решительно возражать против того, чтобы это ставшее банальным утверждение превратилось в фундаментальное положение, определяющее теоретическую суть современных представлений науки о коммуникативных свойствах архивов.

Симптоматично, что на этой конференции были представлены две противоположные точки зрения на проблему коммуникативной стратегии архивов. Диалог коллег превратился в пример взаимного непонимания архивистов, которых мы условно разделяем на «отцов» и «детей».

Представитель «детей» (или «младоархивистов») М.Ю. Чиркова, магистр государственного управления, аспирант кафедры политологии и философии Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, задала участникам конференции вопрос: *«Что такое архив – хранилище прошлого или современный социальный институт?»* Здесь важен категорический разделительный союз «или». Потому что дальше автор попыталась обосновать слегка завуалированное теоретическими реверансами сомнение в том, что архивы в их нынешнем виде выживут в новой техногенной среде. Поставив диагноз, автор посоветовала не усугублять страдания больного путем применения новейших дорогостоящих средств вроде «оцифрования», а предоставить решение его судьбы всемогущему рынку, на котором царит Его Величество Потребитель. С точки зрения М.Ю. Чирковой, следует однозначно признать живые архивные тела обычным товаром и готовить в вузах не историков-архивистов, а бизнес-менеджеров для торговли архивным «сырьем».

Чтобы не быть голословными, процитируем основные тезисы выступления представителя поколения «младоархивистов». «С функциональной точки зрения архив, – заявила М.Ю. Чиркова, – это место хранения документов, то есть материальных объектов, созданных с целью фиксирования, хранения и передачи информации в знаковой форме. И поэтому, говоря о том, исчезнет ли архив в своем традиционном понимании, растворившись в виртуальном континууме информационного общества, или нет, следует установить, в каком из своих функциональных аспектов (информационном, правовом, мнемоническом, мемориальном, научном, просветительском) он оптимально замещается электронным вариантом, а в каком не поддается такому замещению». Ответ был дан малоутешительный: «Мы живем во время, когда... объемы накопленной человечеством информации вышли за предел возможности надежно сохранять ее и эффективно использовать привычными средствами... В настоящее время доминирующим фактором развития экономики, основанной на знаниях и новейших технологиях, становится развитие инновационной сферы, так как именно в этой сфере происходит превращение научно-технологического продукта в рыночный товар с высокими потребительскими свойствами. Сама информация в виде документов и данных еще не является знанием, а лишь сырье для формирования знаний, используемых в том числе в инновационных процессах. В этом смысле информация – сырье для инноваций».

Из этой посылки далее следует окончательный диагноз: «Коммерческая эксплуатация архивного фонда как альтернативный источник денежных ресурсов зачастую вызывает негативную реакцию и сомнения по поводу соответствия такого решения финансовых проблем социальной миссии архивов как институтов социальной памяти. На пути адаптации бизнес-моделей *архивы сталкиваются с проблемой противоречия между принципами коммерческой деятельности и требованиями социальной миссии, в рамках которой они функционируют*¹. С одной стороны, требования к институтам памяти возрастают, с другой – недостаточное бюджетное финансирование вынуждает их искать альтернативные финансовые источ-

¹ С полным текстом доклада можно ознакомиться на портале «Архивы России». – Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/events/conferences/1991_2005_txt/chirkova.shtml

ники. В связи с этим приобретает большое значение новый ранее не свойственный архивным учреждениям вид деятельности – архивный маркетинг. Он направлен на обеспечение взаимосвязи с потребителями архивной информации, создание рынка архивных услуг и получение прибыли».

Итак, на конференции было высказано мнение: *время традиционных архивов истекло – их заменят «бизнес-модели» архивов*. Архивам и, соответственно, традиционной науке об архивах был брошен открытый вызов. Внятного ответа на вызов «детей» со стороны, условно говоря, «отцов» – признанных авторитетов современного архивоведения – не прозвучало. Пафос выступлении «отцов» был направлен, по существу, на то, чтобы пристыдить возмутителей спокойствия в архивном мире, которые подвергают критике «достаточно четкую систему советского архивного дела», основанную на «целостной теории и методологии». «Отцы» заверили аудиторию, что практически все основные проблемы архивистики уже давно решены полностью и окончательно. Остается только несколько скорректировать их в духе изменившейся конъюнктуры.

Предложения «младоархивистов» были высказаны как ответ на вызовы времени. Но что еще «подвигло» их на подобные идеи? Дело в том, что в России с 1993 г. произошла *децентрализация системы управления архивным делом*. И здесь встает вопрос двоякого рода: каковы плюсы централизации и отрицательные последствия сложившейся с начала 1990-х годов ситуации?

Дело в том, что централизация архивного дела основывается в немалой степени на *принципе универсализма*. Он сводится к тому, что профессионалы-документоведы и архивисты должны на единой методической основе и по единым правилам осуществлять весь комплекс работ по унификации и стандартизации документов с целью уплотнения системы управленческой и других видов документации и оптимизации их состава: выявить фонды для постоянного хранения, обеспечить их классификацию и систематизацию внутри архива, снабдить необходимым аппаратом учета и научно-справочным «конвоем» и, наконец, обеспечить возможность их использования во времени и пространстве не только для сегодняшних потребителей, но и в интересах будущих поколений.

Этот комплекс проблем был сравнительно легко решаем на теоретическом и практическом уровнях в условиях, когда все бюджетные организации являлись «авторами» (фондообразователями),

но не собственниками создаваемых ими документов. Собственником Единого государственного архивного фонда выступало государство, которое диктовало правила оформления документов и порядок работы с ними. С началом перестройки, а точнее – после принятия закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (принят 25 декабря 1990 г.) *система административного принуждения начала давать сбои*. Постоянную «головную боль» у архивистов вызывали многочисленные акционерные общества, товарищества, частные и смешанные предприятия и тому подобные физические и юридические лица, не имевшие никакого понятия о том, что делать с «отработанными» документами. Нас захлестнул бурный поток «предприятий», которые регистрировались, делали «быстрые» деньги и уходили в небытие, спрятав концы в воду. Так историческая наука и общество утратили ценнейшие источники по истории «первоначального накопления капитала» в эпоху российской приватизации.

Многие частные собственники до сих пор даже не подозревают о том, что для передачи в архив на госхранение документов, оконченных делопроизводством, требуется соблюсти унифицированные правила, стандарты и научные нормы классификации и выполнить соответствующий комплекс работ. Хорошо, если собственник обладает определенной культурой и может позволить себе нанять одного (реже – двух или даже команду) специалиста. Архивные органы идут навстречу, оказывая на договорной основе профессиональную помощь в организации «регистратур-архивов» и подготовке к передаче документов по истечении определенного срока на госхранение. Хуже, если собственник, столкнувшись с проблемой «архивной полки» или не найдя финансового консенсуса с представителями госструктур, обнаружит более говорчивого партнера вне государственной архивной системы и наладит с ним сугубо деловые отношения на взаимовыгодной коммерческой основе. Еще хуже, если частник определит более или менее легальный путь для «полного и окончательного» решения судьбы своих документов.

Похожая ситуация в архивном деле России возникла в первое послереволюционное десятилетие. Напомним, по идеологическим причинам ценнейшие собрания промышленных и банковских документальных фондов были уничтожены как «макулатура», а немногие оставшиеся фрагменты оказались рассеяны по различным

коллекциям и частным собраниям. Вот почему задача возвращения к гуманитарным основам коммуникативных стратегий архивной деятельности приобретает сегодня особое значение. Иначе мы рискуем наступить на те же грабли.

Впрочем, политизированное отношение к архивам не являлось изобретением большевиков. Оно было характерно и для дореволюционных властных структур, потому что в обоих случаях архивы рассматривались чиновниками с точки зрения их *полезности* для органов власти, а не *исторической ценности* содержащихся в них документов. Однако специфика советского времени состояла в том, что тогда каналы коммуникации между архивами и обществом были жестко перекрыты в интересах монопольного потребителя – партийно-административных и силовых структур власти всех уровней.

В условиях сегодняшней децентрализации управления архивным делом непонятно, как можно заставить соблюдать положения и правила тех, кто вовсе *не обязан* их соблюдать и даже готов превратить на выгодных коммерческих условиях свои архивы в обычный товар, разрушая в угоду потребителю, скажем, негосударственную часть Архивного фонда России? Ведь неотъемлемым признаком информационного общества является именно «сужение возможностей прямого административного воздействия» на владельца и потребителя информации.

Напомним, что к частной собственности Архивного фонда РФ действующий закон относит архивные документы, находящиеся в собственности общественных объединений, в том числе профессиональных союзов, политических партий и движений, религиозных организаций и др., а также негосударственных корпораций, ассоциаций, акционерных обществ, учреждений и предприятий промышленности, сельского хозяйства, других отраслей экономики, науки, культуры, социальной сферы, средств массовой информации. Важное место в негосударственной части ГАФ занимают и архивные документы физических лиц (документы личного происхождения, фамильные архивы, коллекции документов и др.). Нельзя исключить, что Росархиву в будущем придется приобретать эти фонды, коллекции или отдельные документы на аукционе или у какой-нибудь торгово-посреднической фирмы, в том числе за рубежом. Это в лучшем случае.

Именно такую перспективу предрекает нам «рыночное» отношение к архиву, который, напомним, в выступлении

М.Ю. Чирковой однозначно определяется как «место хранения документов, т.е. материальных объектов, созданных с целью фиксирования, хранения и передачи информации в знаковой форме».

Если перевести, несколько утрируя, эту формулировку на язык повседневности, получим *толкование архива как разновидности камеры хранения вещей, представляющих коммерческий или иной интерес для потенциального покупателя*. Нельзя не согласиться, что при таком однозначно потребительском отношении архив действительно может «исчезнуть в своем традиционном понимании, растворившись в виртуальном континууме информационного общества». То есть его либо продадут, либо украдут, либо уничтожат. И отнюдь не в виртуальном континууме, а вполне реально.

Вот почему вопрос о необходимости радикального изменения коммуникативной стратегии в системе «архив – потребитель» в условиях, когда на первый план выдвигается не историческая, надвременная *ценность* ретроспективного документа, а его сиюминутная *польза* как «информационного сырья для инноваций», приобретает жизненно важное значение.

Современные прагматики архивного дела видят в архивах специфическую разновидность «бизнес-центров», в которых хранятся товары, представляющие в условиях рыночной экономики определенную коммерческую стоимость. Используя западную терминологию, а вместе с ней – и западную систему ценностей, они с гордостью называют себя «менеджерами информационного потока», а не архивистами. Для многих «младоархивистов» словосочетания типа «культурное национальное достояние» и «подлинные свидетельства эпохи» – пустая риторика, которая неуместна в деловом общении серьезных предпринимателей.

Не локализованная вовремя болезнь взаимного непонимания архивистов и архивоведов из латентной фазы угрожает перерасти в острую, реально угрожающую жизни конкретных архивных фондов, коллекций и собраний отдельных документов. *Не вина, а беда архивистов-практиков в их недоверии к современной теории*. Можно сказать, что это следствие нарушения каналов коммуникации между достижениями современной науки об архивах и сотрудниками архивохранилищ.

По нашему мнению, судьба традиционных архивов в формирующемся информационном обществе определяется отнюдь не конъюнктурными и – что еще более неприемлемо – не коммерче-

скими интересами потребителей. Именно реализация ими своей надвременной коммуникативной сущности как саморазвивающейся по собственным законам целостной системы в рамках единого архивно-информационного пространства обуславливает их существование не только во времени, но и в Вечности.



Т.С. Волкова (ИАИ РГГУ): Тема моего выступления – ведомственность в архивной практике СССР и РФ: общее и особенное.

Осмысление богатейшего спектра коммуникативных возможностей мира российских архивов невозможно без учета специфики структуры этого мира, тех обстоятельств и условий его бытования и развития, которые существенным образом – и не всегда позитивно – влияют на процесс вовлечения архивных источников в интенсивный информационный оборот.

Особенности нашей архивной системы, ее самобытность, оригинальность, которыми мы так привыкли гордиться, необходимо адекватно оценить с точки зрения не только их целесообразности в конкретно-исторических условиях, но и соответствия задачам формирования в России современной эффективной модели информационного общества, вписывающейся (по терминологии ЮНЕСКО) в «новую глобальную информационную инфраструктуру».

В составе архивного наследия любого государства самый значительный и постоянно пополняемый объем материалов представлен документами официального происхождения. Действительно, именно госструктуры, являясь в определенном смысле информационными системами, создают и затем передают в государственные архивы наиболее ценные документы. В этом смысле они несут перед обществом большую ответственность за своевременное и возможно более полное наделение его достоверной информацией.

Но все ли ведомства осознают и тем более реализуют эту миссию? Скажем прямо – далеко не все. Печально, что львиную долю среди «несознательных» составляют именно те, кто занимает ключевые места в государственной иерархии. *Важнейшей особенностью нашей архивной системы – и это резко отличает Россию (а ранее – СССР) от ведущих государств мира – является наличие масштабной сети ведомственных архивов, фактически не передающих архивные документы в госхранилища.*

Процесс формирования сети ведомственных архивов особого статуса восходит к 20-м годам прошлого века. К моменту распада СССР такими хранилищами располагали МИД, КГБ, МВД, Министерство атомной энергетики и промышленности и др. Отметим также так называемые ОГФ (отраслевые государственные фонды): Всесоюзный геологический, Центральный картографо-геодезический, Госфонд данных о состоянии окружающей природной среды, Центральный госфонд стандартов и технических условий, Госфильмофонд.

Легализуя сложившуюся практику, их право постоянного государственного хранения документов ГАФ СССР фиксировалось специальными правительственные решениями, в том числе Постановлением от 4 апреля 1980 г. № 274 «Об утверждении Положения о ГАФ СССР». К указанной группе тесно примыкало и Минобороны, располагавшее правом долговременного (75-летнего) срока хранения документов. Поскольку еще в середине 1950-х годов принцип ведомственности был признан на уровне ЦК партии «не противоречащим идее о централизации архивного дела в стране», советская историко-архивоведческая наука не занималась изучением этого феномена.

Между тем *могущественные ведомства фактически являлись полноправными собственниками созданных документов*, так как реализовывали три основных правомочия – фактического владения документами, пользования и распоряжения ими по собственному усмотрению. В статусе собственников они действовали независимо от государственных органов управления архивным делом.

Парадокс ситуации состоял в том, что *на международной архивной арене государство вплоть до перестройки отрицало сам факт отчуждения гигантских массивов документов ГАФ СССР в пользу отдельных ведомств и организаций*. Показательно, например, выступление представителя советской делегации на внеочередном конгрессе архивов в Вашингтоне в 1966 г. Заметим, что конгресс проходил в стране, которая, реализуя положения ст. 19 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), первая в мире в том же 1966 г. приняла закон, не только декларирующий, но и гарантирующий право доступа индивидуального пользователя к документам учреждений и ведомств федерального правительства – закон «О свободе информации» (FOIA). Вашингтонский конгресс проходил под девизом «либерализация доступа в архивы».

Если судить по официальной стенограмме (а не по информации о конгрессе в советской архивоведческой прессе тех лет), выступавший от СССР зав. Центральным партийным архивом Института марксизма-ленинизма (ЦПА ИМЛ) при ЦК КПСС А.А. Соловьев произвел фурор. Он, с одной стороны, поддержал идею всемерного облегчения доступа в архивы, а с другой – заявил, что, в отличие от присутствующих, не видит предмета для дискуссии, так как в СССР – в силу преимуществ советской архивной системы – все открыто, нет ограничительных дат и т.п. По-своему он был прав – таких дат у нас действительно не существовало. В них не было смысла, ведь наиболее «чувствительная» документированная информация просто не передавалась в государственные архивы. Так вот, после заявления А.А. Соловьева в зале начался шум, послышались выкрики насчет архивов МИД, КГБ. И тут, огородив оппонентов, выступавший сделал еще одно, как ему казалось, неопровергимое заявление: все разговоры о существовании в СССР архивов особого статуса – «буржуазная пропаганда». Вот такая получилась дискуссия...

Только в годы *перестройки* проблема ведомственности в архивном деле страны была не просто обозначена вслух, но и оказалась в фокусе общественного внимания. В те удивительные годы *ведомственность* была названа одной из важнейших причин отставания исторической науки в СССР в связи с недоступностью многих и многих ценных ведомственных фондов. Поэтому были предприняты попытки (причем как государством, так и научной общественностью) расшатать условия существования архивов особого статуса и даже сломать их системы. Я имею в виду, например, Постановление Правительства СССР от 10 августа 1990 г. «О мерах по расширению доступа исследователей к документам архивов МИД СССР», впервые установившее норму о снятии грифа секретности с документов по истечении 30-летнего срока их хранения в архивах ведомства. Я также хочу напомнить об Указе Президента РСФСР Б.Н. Ельцина от 24 августа 1991 г. № 82 «Об архивах Комитета государственной безопасности СССР». Забегая вперед, замечу, что самим же Б.Н. Ельциным он был признан утратившим силу по Указу от 14 октября 1999 г. № 1359. Вероятно, это произошло из-за невозможности его реализации (как у нас принято говорить, «по ряду причин»). Действительно, как же выполнять требования по передаче архивов уважаемого ведомства в ведение

государственных архивных органов – с чем же останутся его правопреемники?

Наконец, я хотела бы отметить два инициативных законопроекта. В разработке первого – «Основы законодательства о сохранении исторического наследия СССР» – приняли участие молодые ученые АН СССР; второго – «Об архивном деле» – ученые МГИАИ (он был опубликован в 1990 г.). Не имея возможности даже кратко сравнить содержание этих законопроектов, отмечу то, что их объединяло в интересующей нас области: наличие норм о недопустимости создания специализированных отраслевых архивов, права постоянного хранения государственными органами и организациями создаваемых документов со всеми вытекающими из него льготами и привилегиями.

Ну, а дальше СССР не стало, а проблема осталась. Каков же опыт ее решения сейчас, когда, с одной стороны, Российской Федерации является правопреемницей СССР, с другой же – реализует проект построения правового демократического государства? Ответ на этот вопрос в общих чертах может быть сведен к знаменитой фразе В. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Применимо к тому, о чем я скажу далее, и высказывание М. Жванецкого: «Очень трудно что-то менять, ничего не меняя, но мы будем».

Итак, если серьезно, каковы реалии? Каков теперь правовой статус особых ведомственных архивов?

Формально в России государственные органы и организации правом постоянного хранения документов национального Архивного фонда (далее – АФ) не наделены. Когда я говорю формально, то имею в виду и уже утратившие силу «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» 1993 г., и действующий закон 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации». В то же время уже сложилась практика формирования *перечня федеральных органов исполнительной власти и организаций, которым разрешено депозитарное (долговременное) хранение документов Архивного фонда РФ*. В период до 2004 г. такой перечень приводился в Указах Президента РФ об утверждении «Положения об Архивном фонде РФ» и изменений к нему. Теперь, согласно архивному закону, этот перечень должен формироваться Правительством РФ. К настоящему времени он утвержден Постановлением от 27 декабря 2006 г. № 808 и включает

20 структур. Костяк перечня составляют федеральные министерства (с подведомственными им федеральными службами), а также самостоятельные федеральные службы и агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ: МВД, ФМС системы МВД, МИД, Минобороны, ФСИН системы Минюста, СВР, ФСБ, ФСКН, Служба специальных объектов при Президенте РФ (подведомственная организация Главного управления специальных программ Президента РФ).

Архивным законом установлено (ст. 18), что сроки и условия депозитарного хранения и использования документов АФ РФ структурами,ключенными в перечень, должны фиксироваться в договорах, заключаемых ими с Росархивом (с мая 2008 г. находится в ведении Министерства культуры РФ). При этом не предусмотрена, даже гипотетически, возможность передачи документов учреждениями системы архивных депозитариев на постоянное хранение в государственные архивы. Понятно, что указанные договоры можно будет продлевать, перезаключать. Таким образом, привилегированные структуры де-факто смогут хранить документы АФ РФ постоянно (бессрочно).

Складывающуюся систему архивных депозитариев уже имеют «отраслевыми архивными фондами» или «специализированными отраслевыми ведомственными фондами», хотя закон таких понятий в качестве правовых не вводит. Закон демократического государства не может содержать и, конечно, не содержит норм, подразделяющих архивы по степени доступности их документов для пользователей на «ограниченно публичные», «доверительные», «закрытые». Между тем эти определения встречаются в нашей историко-архивоведческой литературе при характеристике архивных депозитариев. Интересно при этом, что такие типы архивов в 1990-е годы связывались исключительно с тоталитарными режимами правления. Вообще, в Росархиве констатируют: переход на договорную форму взаимоотношений с «рядом ведомств» способствовал тому, что, если раньше эти ведомства и их документация были практически закрыты для нас (уже не говорим о пользователях!), сегодня наши возможности несколько расширены.

Но как же на деле реализуются возможности «удержания соответствующих министерств, отраслевых фондов в сфере нашего влияния и контроля»? Вот один показательный пример. Вы, может быть, знаете, что в 1997 г. был опубликован прекрасный путеводи-

тель «Архивы России: Москва и Санкт-Петербург. Справочник-обозрение и библиографический указатель», включающий раздел «Основные ведомственные архивы». Как отмечают составители, некоторые ведомства под тем или иным предлогом отказывались отвечать на анкеты, другие давали неполные ответы, опуская часть сведений. Поэтому составители, включая в путеводитель характеристики состава документов ряда ведомственных архивов, «не предоставивших необходимую информацию», пользовались лишь «всеми доступными источниками». Им пришлось принести извинения перед пользователями «за возможное появление в справочнике устаревших или не полностью проверенных данных».

В Росархиве полагают, что создание архивных депозитариев является «существенным шагом в ограничении ведомственной собственности на архивные документы». Трудно согласиться с этим. Полноте! Помним: кто фактически владеет каким-либо имуществом – в нашем случае документами, – тот пользуется и распоряжается ими по собственному усмотрению. Какие тут могут быть ограничения, тем более существенного характера?

Представляется очевидным, что новая «обертка» для оправдания ведомственности в нашей архивной практике не меняет сути дела. *Как и в СССР, архивная ведомственность в РФ тесно связана с потребностями официальной секретности, ориентированной, в том числе, на строгий учет и охрану архивов от потенциальных пользователей.* И в новых исторических условиях мы не умеем и не хотим иначе, чем по ведомственному признаку, хранить нашу государственную тайну и иные секреты, число которых год от года разрастается в геометрической прогрессии, подкрепляемое все новыми правовыми нормами о защите тех или иных блоков информации. Между тем *в государствах с развитой правовой, административной, научной культурой ведомственность в архивном деле рассматривается как архаичный метод, устаревшая технология, неприемлемая в чистом виде в деле охраны государственной и иной оберегаемой законом тайны.* Здесь используют иные, основанные на балансе интересов личности, общества, ведомств и государства в целом, подходы к обеспечению безопасности сведений, содержащихся в архивных документах официального происхождения.

В США же, реализующих концепцию открытого общества и располагающих развитой системой взаимосвязанных и взаимодополняющих законов, которые регулируют правоотношения вокруг

документов, архивов и информации на федеральном уровне (их нормы по предметам ведения кодифицированы в титуле 44 «Свода законов Соединенных Штатов»), все ведомства и учреждения, в том числе самостоятельные и подведомственные структуры разведывательного сообщества, обязаны сдавать документы на хранение в Национальный архив системы Администрации национальных архивов и документации (NARA – самостоятельное ведомство, ее статус приравнен к министерскому). В этом архиве сосредоточены архивы предшественников современных спецслужб (см., напр., фонды (документальные группы – record groups) 263 – ЦРУ (CIA), 65 – ФБР (FBI), 373 – Разведывательное управление Минобороны (DIA), 226 – Управление стратегических служб (OSS) и др.). Пользователь при этом предупреждается о наличии в фондах засекреченных документов (security-classified records) или иных категорий информации ограниченного доступа (см.: Guide to Federal Records in the National Archives of the United States. W., 1995, vol. 3 utes, 2428 p.).

Более того, одним из подразделений NARA является Наблюдательное управление безопасности информации (ISOO), осуществляющее мониторинг системы официальной секретности США (Security Classification System), параметры которой определяются соответствующими президентскими исполнительными приказами (ныне действующий – № 12 958 «Засекреченная информация о национальной безопасности» от 17 апреля 1995 г.). Именно ISOO NARA, предписывая соответствующие процедуры, координирует деятельность и контролирует работу федеральных ведомств и учреждений по засекречиванию, обеспечению секретности и рассекречиванию документированной информации официального характера, содержащей государственную тайну США (national security information).

В свете сказанного только трогательной неосведомленностью автора (руководителя Государственной архивной службы России в 1990–1996 гг. Р.Г. Пихоя) можно объяснить утверждение: «аналогии» заключения соглашений между ведомствами и государственными органами архивного управления «известны лишь в США и ФРГ» (см.: Об итогах работы учреждений Государственной архивной службы России в 1994 г. и задачах на 1995 г. // Отечественные архивы. 1995. № 3). За неимением времени остановлюсь опять на США. Возможно, автор имел в виду знаменитые президентские

библиотеки? Ведь именно они имеют правовой статус президентских архивных депозитариев. Но *президентские архивные депозитарии* (на сегодня их 12) отнюдь не являются особыми ведомственными архивами. Напротив, это публичные (общедоступные) специализированные хранилища NARA.

Кстати, не без влияния американского опыта у нас недавно принят Закон «О Центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» (от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ). Установлено, что каждый такой Центр создается Администрацией Президента РФ в организационно-правовой форме фонда и, таким образом, едва ли будет включаться в систему хранилищ, подведомственных Росархиву. Росархив уполномочен лишь осуществлять «контроль за состоянием Архивного фонда Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, и других архивных документов Центра». При этом в архивный закон дополнительно включена ч. 5 ст. 18: «Документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся в собственности Центров.., подлежат постоянному хранению». Закон № 68-ФЗ в числе задач центра называет «изучение и публичное представление исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, как неотъемлемой части новейшей истории России, развития демократических институтов и построения правового государства». Однако он не содержит норм публичного допуска к документам Архивного фонда Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, включаемых в состав АФ РФ, и к другим архивным документам Центра, хранимым его архивом. Как говорится, почувствуйте разницу.

Мне не хочется завершать на грустной ноте. Жизнь идет вперед. Сейчас в организации нашей архивной системы еще явно просматривается цепкое наследие прошлого. Но в будущем, возможно, мы увидим такую архивную реформу, которая отразит действительно новые идеи и технологии работы с документами и их пользователями, инновации в развитии системы общедоступных архивов. То есть будет способствовать реализации коммуникативной стратегии историко-документального наследия в интересах российского общества.



И.И. Глебова: Благодарю, уважаемые докладчики. Мне кажется разумным выделить из сообщений несколько блоков проблем для первоочередного обсуждения.

Первое: что есть архив в нашем обществе, какую «смысловую нагрузку» он несет? Коллеги говорили о культурно-гуманистической интерпретации архива, которая пришла к нам с Запада и воспринимается пока как метафора. У нас большей частью преобладала технологическая, управленческая, служебная, я бы даже сказала «подсобная» интерпретация архива. В России – дореволюционной и особенно советской – архив понимали как нечто вторичное, функциональное, но не как полноценный институт памяти. Если заострить проблему для дискуссии, то получим такую оппозицию: *архив как институт памяти в обществе, которое формируется и воспроизводится памятью, или архив как некая функция, подсобная структура, «складирующая» ретроспективную информацию*. Можно сформулировать иначе: архив – это гуманизирующий культурный институт, в опоре на который происходит общественная самоидентификация, или преимущественно технологии хранения? Какая из этих моделей подходит для нашего общества, точнее – какая из них доминирует?

Второе: как оценивается архив, его возможности «изнутри», т.е. *как видится образ архива самим архивистам?* И почему их оценки входят в противоречие с позицией архивоведов, которые отстаивают широкую, культурологическую, культурно-гуманистическую интерпретацию архива? В выступлении Евгения Васильевича <Старостина> прозвучала красивая формула: «Архивист должен быть врачом памяти». То есть в идеале он должен врачевать общество, способствовать его оздоровлению. Способен ли у нас архивист быть врачевателем памяти, творцом культурных ориентиров для общества?

И третье: *ведомственность и ограничение свободы доступа как проблемы архивной истории нашей страны*. Здесь возникают два вопроса: каковы механизмы воспроизведения этих проблем; являются они преодолимым или непреодолимым наследием прошлого?

Вот такие три проблемы: что есть архив (как он воспринимается обществом), как архив понимается его работником и каковы традиционные проблемы наших архивов. Последние, кстати, преимущественно трактуются как болезнь, негативное наследие (ко-

гда-то царизма, теперь советизма). То есть как нечто ненормальное, внеположное цивилизационным нормам. В конечном счете мы пытаемся выяснить, в чем норма существования архива в нашем обществе. А значит – каковы приемлемые стратегии его развития, его адаптации к новому, современному, постоянно меняющемуся миру.



Е.В. Старостин (ИАИ РГГУ): Все зависит от того, как мы толкуем слово «архив». Дело в том, что в 1983 г. собрались лучшие эксперты ЮНЕСКО и ООН на конференцию по государственным архивам и государственным долгам. Они неделю спорили и так и не договорились, что такое государственные архивы. Неделю! Лучшие умы.

Есть два определения – и в зависимости от того, какое мы возьмем, будем «плясать» в ту или в другую сторону. Архив – это собрание документов, сложившееся в процессе деятельности физического или юридического лица. Западное определение. Архив – государственное учреждение, комплектующее, описывающее, сохраняющее документальное наследие. Наше определение. Если мы выберем первое – это одна позиция, если второе – другая.

! И.И. Глебова: Все это так. Но ведь Вы, Евгений Васильевич, выступаете с позиции более высокого, что ли, порядка. Вы говорите об архиве как институте памяти. Но тогда и общество должно быть более высокого порядка, чтобы породить такой институт. Не секрет, что у нас преобладает понимание архива как чего-то технологического, управленческого, информационного. Такая «подсобная» интерпретация архива ориентирует его на задачи первого (не скажу низшего) уровня – исключительно технологические. Это задачи выживания (этакий технологический минимум), но не развития. Если же мы говорим о культурно-гуманитарной интерпретации – об *архиве, гуманизирующем общество*, – это более высокая планка, развивающая ориентация. И надо понять, что же соответствует нашему обществу, на какую модель архива оно ориентировано и что в связи с этим можно о нем сказать? Итак, уважаемые коллеги, есть ли вопросы к докладчикам?

! А.Д. Степанский (ИАИ РГГУ): У нас, коллеги, сейчас такая проблема: мы – архивисты в библиотеке. О соотношении архивов и библиотек сегодня говорилось, но я хочу обратить внимание

на то, что не только меня непосредственно касается, но и всех нас сближает. Мы должны придать большее значение публикации исторических источников. Это очень существенное, «пограничное» направление: оно находится на грани, где смыкаются архив и библиотека. Может быть, стоит в дальнейшей работе Центра российеведения как-нибудь остановиться на этой проблеме – и с точки зрения книговедения, и с точки зрения исторической науки и архивного дела. Это некоторое дополнение к тому, о чем здесь уже говорилось.

?

В.Ю. Афиани (Архив РАН): У меня вопрос к Евгению Васильевичу Старостину. Что Вы скажете о ведомственной практике в архивах Франции? Вот, например, в Министерстве иностранных дел – каковы сроки передачи документов в Национальный архив?

 **Е.В. Старостин:** Франция – это страна, сидящая на убожеской, так скажем, централизации. Есть Национальный архив – и пять–шесть архивов в составе министерств, которые хранят у себя документы вечно. Они не передают документальные материалы в Национальный архив, а держат их у себя. Но во Франции есть понятие «публичные бумаги» (это что-то типа «народной» бумаги): архивы должны их использовать, т.е. они не имеют права держать их у себя и не предоставлять пользователям – в читальные залы и т.д.

Я понимаю, о чем Вы говорите: конечно, ведомственность жива и живуча во Франции. И, кстати, французы постоянно ее критикуют. Но можно одну маленькую деталь? Допустим, я прихожу в наш архив Министерства иностранных дел, меня принимает моя бывшая дипломница и спрашивает: «Евгений Васильевич, что Вам нужно?» Я и отвечаю: описи за 1918–1919 г., хочу узнать, как Чичерин относился к ленинскому декрету о централизации архивного дела. А она не выдает эти описи, а предлагает подобрать мне подходящие – с ее точки зрения – материалы. Такое решение проблемы доступа сильно отличается от французской практики.

?

И.И. Глебова: То есть получается конфликт – ведомственности и публичности. В рамках этого конфликта и возникают вопросы: что преобладает в нашем архиве – режим доступа

или режим охраны? Ориентация на открытость, публичность, не вредящая хранению, или на охрану? В чем наша норма – в режиме публичности, широкой доступности или в режиме охраны?



Т.С. Волкова (ИАИ РГГУ): Проблема доступа к архивам вообще представляется ключевой в организации и функционировании архивной системы в любой стране. Для России, как собственно и для других стран, норма должна быть в балансе, точнее – в соблюдении баланса режимов доступности документов и их охраны. Самое трудное – выработать правовые, административные, научные, финансовые, технические механизмы обеспечения такого баланса. Здесь полезно обращение к опыту теоретического и практического решения этой задачи в государствах, где открытость административного процесса рассматривается как гарантия ограждения граждан от произвола бюрократии, базовый демократический принцип жизнедеятельности общества, но где при этом установлены разумно обоснованные и понятные гражданам пределы гласности правительственной деятельности.

Представление о том, как проблема достижения баланса решается, например, в США, можно получить, просто взяв в руки архивное дело, содержащее официальные документы. В деле обычно встречается некоторое количество «вкладышей» яркого розового цвета. Я сейчас покажу вам ксерокопию одного из них, любезно предоставленную мне американскими коллегами в период стажировки в Мичиганском университете в Анн-Арборе в 1994 г. Это так называемый лист изъятия, имеющий специальный федеральный номер регистрации. В данном случае это «лист изъятия» документа в одном из дел, хранящихся в президентской библиотеке Дж.Р. Форда. «Лист изъятия» служит не только для учета изъятого из общедоступного архивного дела документа, имеющего режим ограниченного доступа, но и для информирования пользователя о существовании такого документа в принципе, а также о его возврате в сферу публичного доступа по истечении срока действия ограничений.

Причем важно, что пользователь не просто информируется. «Лист изъятия» является одним из важнейших инструментов в реализации прав пользователя, предоставляемых законом «О свободе информации». В частности, права подачи в суд иска к держателю информации на предмет проверки обоснованности изъятия доку-

мента из свободного доступа, даже если он изъят на основании принадлежности содержащейся в нем информации к категории секретных сведений. Именно «лист изъятия» содержит все необходимые данные о документе (причина изъятия, заголовок, вид, сведения об авторе и адресате, дата создания, объем, номера дела, серии, фонда и др.), необходимые для составления искового заявления по установленному судом образцу.

По опыту могу сказать, что у американцев очень много документов ограниченного доступа; архивные дела буквально нашлигованы «листами изъятия». Но все же они пытаются выдерживать баланс режимов доступности и охраны. Одним словом, без стремления к балансу невозможно решить проблему, проистекающую из глубокого внутреннего противоречия между интересами государства в обеспечении своей информационной безопасности и интересами его граждан в реализации права на доступ к информации.



Е.В. Старостин: Баланс есть баланс, но историку, как я понимаю, для того, чтобы написать работу, необходимо получить весь научно-справочный аппарат и все материалы. Иначе он – не ученый, он занимается самообманом. Совершенно очевидно: если из ста документов один может указать на ошибку или позволит подойти к разумному решению, все остальные окажутся своего рода макулатурой. Потому, наверное, баланс должен быть в пользу исследователя. У нас такие балансировки не складываются. Но, кстати, очень *симптоматично*, что определение «архив как институт памяти» зафиксировалось в языке, вошло в наш *вокабулярий*. Так формируется традиция, в рамках которой возможно некоторое изменение балансировок. Потому что *такое представление об архиве заставляет сам архив корректировать свои стратегии, открываться пользователю*.



Ю.С. Пивоваров (ИНИОН РАН): Я – первый из говорящих сегодня, кто к архивному делу никакого отношения не имеет. Поэтому смотрю на происходящее несколько со стороны. И вот, мне кажется, что архивные люди слишком много на себя берут, утверждая, что архив – это институт национальной памяти, инструмент формирования общественного сознания и т.д. Здесь *вы явно пользуетесь метафорами*. Мы сейчас находимся в здании Института научной информации по общественным наукам, который «ге-

нетически» связан с большой библиотекой – более 14 млн. единиц хранения. Если и здесь воспользоваться метафорой, можно сказать: архив – это память общества, а библиотека – это сознание общества. Сказать можно, но и то и другое будет неправдой. Это *нам* так хочется, *нам* так кажется.

Вы говорите, что архив – это национальная память, которая формирует общество... А я скажу: ерунда все это. Вот Вы, Евгений Васильевич <Старостин>, говорите – исследователю нужно знать архивы, чтобы написать правду. Лев Николаевич Толстой в Исторической библиотеке – это зафиксировано – прочел все, что тогда было написано о Бородинском сражении: на всех языках, ему доступных, и все книги, которые там собрали. И полное вранье написал про Бородинское сражение. Понятно, почему: то, что русские победили под Бородино, он знал заранее. Во всем мире это принято считать поражением русских, но после Толстого и Лермонтова ничего, никакие архивные материалы не вычеркнут из нашего сознания победное Бородино. Конечно, из истории военного дела точно известно, что русские несокрушимы, но все-таки под Бородино мы потерпели поражение – отошли, оставили столицу...

И с архивом – случай тот же, что с библиотекой. Для нас архив – это национальная память, библиотека – сознание общества. Но ведь наше-то общество читает вовсе не те книги, которые здесь, в научной библиотеке, хранятся. Понимаете, какая штука? Выйдите после этого семинара к метро и, если не очень холодно, увидите: там продают книги, которые формируют совершенно иное сознание.

Доступ в архивы, ведомственные или неведомственные, работа историков с архивными документами – и что? Вот, в 1990-е годы архивы приоткрылись, историки стали писать в опоре на них. Но по сей день народ как считал Сталина своим главным героем, так и считает. И т.д., и т.п. Мне представляется, что архив – это все-таки подсобное хозяйство, как и библиотека. А дело в том, что *обществу, в общем-то, архив не нужен*. Участь архивов, библиотек, музеев в нашем обществе, к сожалению, очень скромная. И очень скромно они формируют наше общество.

Ведь дело не только в состоянии и возможностях архивов или библиотек, или музеев. *Видимо, дело в природе самого общества, в его потребностях, запросе и заказе. Дело в том, что оно хочет или не хочет знать.* Если завтра по телевидению показать документы, разоблачающие товарища Сталина, вы думаете, те 95%,

которые его любят, перестанут любить? Будут все равно! И какие бы издания к нам в ИНИОН ни приходили, общество все равно будет читать книги Фоменко, изданные огромными тиражами. Если, например, В.П. Булдаков напишет новый труд о революции, его прочтет сто человек, а Фоменко – миллион. И как вы здесь сформируете общество, память? Как-то это все по-другому происходит. Архив – подсобное хозяйство пока, как и библиотека. Как вы понимаете, я специально заостряю проблему для дискуссии, так сказать, провоцирую вас.

– Шум и оживленные споры в зале –

 **Е.В. Старостин:** Нет, это в корне неправильная точка зрения. И я полагаю, она бытует в среде администраторов, которые управляют мэриями и т.д., кончая высшими нашими деятелями. Она появилась и прижилась с XVIII–XIX вв. Но за это время наша политическая аристократия как-то воспитывалась и пришла к мысли о том, что страна нуждается в обновлении. А обновить страну можно, только обращаясь к истокам. Архивы хранят элементы нашей памяти. И должны существовать автономно, чтобы не указывали «сверху», что уничтожать и что сохранять. Вот, например, когда нужны были полочки для документов совнархозов, администраторы взяли и уничтожили церковные документы.

Я понимаю, что *зацищать свою профессию чрезвычайно сложно*, потому что архивы не обладают большими бюджетами и значительной численной силой, вес архивистов в обществе совершенно ничтожный. Я выступал на одном конгрессе с докладом, где выделил несколько врагов архивов. Первый – это чиновник, который говорит: а, ну его – все эти хранилища памяти – к чертовой матери! Потом – историк, который говорит: мы можем о Бородинской битве написать гораздо лучше, чем Лев Николаевич Толстой. Наконец, сам архивист является противником, даже врагом, потому что он никогда ничего не просит, его всегда задвигают в дальний угол. Но парадокс заключается в том, что в любом случае *архивные документы – оставшиеся, сохранившиеся – являются нашим спасением, нашим якорем, который все-таки вытащит нашу идентичность на воздух*. Используя именно материалы архивов, мы лучше осознаем, кто мы, куда и зачем идем, какие ошибки совершили. *Иначе нам постоянно будут врать.*

! **И.И. Глебова:** Я бы не ставила на этом точку. Сможет ли архив, взгляд через архивную призму изменить наше желание «врать», как Вы выражаетесь, самим себе? Или приукрашивать себя, используя для этого какую-то часть архива и забывая о другой. Дело не в том, что нам врут (о прошлом и настоящем), а в том, что подавляющее большинство граждан хочет этой лжи. Точнее, никогда не разменяет их возвышающийся обман на «низкие истины». А это гораздо хуже, чем если бы людям лгали, а они понимали это и жаждали правды – о себе. Нам правда не по силам – она ни к чему ни управляющим, не управляемым. Наше время это демонстрирует очень ярко – по-своему не менее отчетливо, чем советская эпоха.

? **В.П. Булдаков (ИРИ РАН):** У меня вот какой – неожиданный, может быть, – вопрос. Наверное, всем известно, что в нашей социальной среде слово «архивариус» звучит несколько иронично. Это человек, который занимается чем-то непонятным и непонятно, для чего. Вот, скажите, пожалуйста, во Франции, в Штатах – я никогда не интересовался этим сам – так же относятся к архивистам или, может быть (надеюсь), как-нибудь по-другому? И вообще, возможно ли, в принципе, то общество, где к архивисту относились бы с некоторым пietetом?

? **И.Л. Беленький (НИИОН РАН):** Когда вы говорите о балансе между доступностью и ограничением, как обосновывается положение об открытости? Что такое открытость – представление о некоем доступе, нереальном или реальном? Ведь *никакой открытости в принципе быть не может. Ни в одной стране*. Поэтому что архив – социально-политический институт, который в каждом конкретном случае действует по-разному, но нацелен все-таки на сохранность любой ценой.

? **И.И. Глебова:** Но, позвольте, зачем же тогда хранить – для кого и для чего? В чем смысл сохранности любой ценой, если наша цель – закрытый архив?

? **В.П. Булдаков:** Минуточку, пожалуйста. Дополнение к вопросу Иосифа Львовича <Беленького>. Где-нибудь, в какой-нибудь стране существуют архивисты, которые горели бы желани-

ем предоставить материалы пользователю – как, грубо говоря, продавец предлагает свой товар: «Ради Бога возьмите, это хорошо и интересно»?

? **Ю.И. Игрицкий (ИНИОН РАН):** У меня вопрос, скорее, в дополнение к предыдущим. В силу своих редакторских обязанностей (*Ю.И.* – *редактор журнала «Россия и современный мир»*) я проявляю живой интерес к тем материалам (историческим и неисторическим), в которые введены архивные документы. И у меня всегда возникал вопрос: какова интенсивность использования тех или иных архивов? Когда мы говорим об обращении к архивам, естественно, возникают проблемы свободы доступа, некоммерческого использования. Но вот еще одна сторона вопроса: человек, который читает книги, статьи, обращает особое внимание на то, к каким архивам обращались авторы. Так у него формируется представление о важности того или иного архива. Есть ли данные, которые позволяют установить своеобразный рейтинг, судить о степени использования того или иного архива? Мне кажется, эта проблема очень важна для развития народа, страны, нации в определенном культурном контексте. Такого рода знание способствует формированию собственной культурной традиции: ведь в архивы идут для выявления каких-то исторических фактов, исторических тенденций, рассказа о нас самих, в конце концов.

 **Т.И. Хорхордина (ИАИ РГГУ):** По поводу вопроса об открытости архивов. В принципе, *спецхраны* – это не только российская специфика. Они есть в любом зарубежном архиве. В мировом архивоведении принята такая практика: комплексы документов засекречиваются до определенного времени (по условиям их владельцев) и сдаются в спецхраны. Это нормально, и архивисты обязаны выполнять условия владельцев документов.

В чем же наша, российская специфика? Во всем мире все очень просто: доступ исследователей к архивам осуществляется на основании действующего законодательства. Формально и у нас так. В разных странах существуют разные сроки секретности – от 30 лет до 50 (подчеркиваю: и в странах с демократическими традициями). Что же у нас произошло? В 1991 г. мы декларировали, что наши архивы открыты, публичны. Принцип публичности был зафиксирован в Постановлении «О временном порядке доступа к архивным

документам и их использовании» от 19 июня 1992 г., а также во временном Положении «О порядке доступа к архивным документам и правилах их использования» в конце 1992 г. И даже в 1993 г., в первом в истории отечественного архивоведения законе «Основы законодательства об архивном фонде РФ и архивах», был установлен 30-летний срок секретности. Мы, исследователи, плясали, можно сказать, от радости, что теперь можем поработать с документами, которые были ранее на секретном хранении.

Но тут сработала наша российская специфика: как это, к сожалению, не раз бывало в истории нашего государства, демократические нормы закона от 7 июля 1993 г. были уже через полмесяца перечеркнуты законом «О государственной тайне», принятом 21 июля 1993 г. Самое печальное, что этот закон *лишил российские архивы права самостоятельно рассекречивать документы, которые давно уже потеряли свою секретность*. Архивам было предложено рассекречивать их только с участием учреждений-фондообразователей. Но мы же с вами прекрасно знаем, какая ситуация сложилась в стране в начале 1990-х годов. После 1991 г. многие учреждения и предприятия приказали долго жить, а правопреемников не имели. И архивы оказались в тупике.

Документы, которых в каждом архиве скопилось несколько сот тысяч и больше, было предложено рассекречивать комиссиям по рассекречиванию, созданным при Президенте Российской Федерации, потом комиссиям по рассекречиванию документов КПСС и т.д., и т.п. По российской традиции, эти комиссии – вы только вдумайтесь, комиссии по рассекречиванию – работали до последнего времени в таком режиме секретности, что никакой информации об их деятельности научная общественность не имела. Это во-первых. А во-вторых, даже при всем желании члены комиссий, которые собирались раз в месяц, могли рассекретить десять, пусть даже сто дел (больше за одно заседание просто физически не получалось). Но это была капля в море, потому что в одном только Государственном архиве РФ (ГА РФ) скопилось несколько сот тысяч дел. С.В. Мироненко, директор ГА РФ, выступая на каждом форуме, на каждом «круглом столе», с болью говорит о ненормальной ситуации, которая сложилась с рассекречиванием документов. Он даже приводил пример: несколько лет назад он попробовал, несмотря на этот закон и другие подзаконные акты, предоставить материалы родственникам французских военнопленных (срок секрет-

ности этих документов давно уже истек – 60 лет прошло). Но, как он говорит, его буквально затащили по судам и конца края им нет. Вот такая ненормальная ситуация сложилась в российских архивах в деле рассекречивания документов. И здесь не вина архивов и архивистов. Они и рады бы рассекретить документы, срок секретности которых истек, да права не имеют. То есть *архивы оказались заложниками ситуации*.

Теперь что касается практики американских архивов, о которой говорила Тамара Серафимовна <Волкова>. Помните: если в деле есть какой-то секретный документ, то он просто заменяется чистым листком, на котором фиксируется вся информация (когда документ будет рассекречен, чему он посвящен и т.д.). У нас же, если в деле есть документ, находящийся на специальном хранении, то засекречивается, как правило, все дело. И исследователи здесь бесправны.



Т.С. Волкова: Здесь прозвучал вопрос об отношении к архивистам, архивному делу в других странах. У нас многих коробит слово «архивист», тем более «архивариус». С этим сталкиваешься даже в стенах Историко-архивного института, причем не в студенческой среде. Вспоминаю, например, такой случай. В середине 1990-х годов готовился новый пятилетний учебный план по специальности «историко-архивоведение». В одном из его вариантов, разработанных коллегами с исторических кафедр, первое слово в квалификации выпускника «историк-архивист» было набрано крупным жирным шрифтом – тем самым как бы подчеркивалась незначительность, второсортность, что ли, второго. И смех, и грех.

С таким отношением к людям нашей профессии в странах, где пришлось побывать, лично мне встретиться не довелось. В США, например, «управляющий документацией и архивами» – довольно уважаемый специалист. Это связано с тем, что само умение профессионально «вести» документированную информацию на всех стадиях ее жизненного цикла, т.е. создавать, хранить и использовать, там считают *важнейшей составляющей процесса управления*, сопоставимой с умением управлять финансами и людскими ресурсами. Более того, относят к показателям уровня развития *административной культуры*. Поэтому многие университеты США и Канады готовят соответствующие кадры высшей квалифи-

кации. Например, Мичиганский в Анн-Арбore, Британской Колумбии и другие университеты славятся магистерскими программами «Архивные исследования» (Master of Archival Studies). Их выпускники востребованы в архивохранилищах публичного и частного сектора.

Как, вы думаете, называется должность руководителя американского федерального архивно-документационного ведомства? – Архивист Соединенных Штатов Америки (и это закреплено законодательно). Архивист США относится к категории высших должностных лиц государства, назначаемых президентом «по совету и с согласия Сената». Это означает его прямую ответственность перед главой государства за порученное дело, дает ему право непосредственного обращения к президенту для обсуждения проблем отрасли без какого-либо посредника в лице вышестоящего министра и т.п. Это говорит о статусе профессии, об отношении к архивному делу и работе с документами вообще на самом высшем уровне. А внимание государства, конечно же, чувствуется обществом. О корректном отношении свидетельствует и создание благоприятных условий для выполнения архивами их «миссии», как там принято говорить. Достаточно увидеть комплекс зданий Национального архива в Вашингтоне, в Колледж-парке: архитектура, дизайн, оснащенность и т.п. Все это тоже воспитывает в гражданах *уважение к архивам*, способствует пониманию важности работы архивистов для общества.



Е.В. Старостин: Я дополню. Во Франции архивисты являются чиновниками Министерства культуры. И они получают заработную плату по рангу Министерства культуры. Они – госслужащие, их оплата приравнена к профессорской, к зарплате преподавателей и профессоров вузов. Поэтому они неплохо живут. Если они и ощущают свою экономическую второразрядность, то это *несравненно с нашей социальной приниженнстью*.



Т.И. Хорхордина: Прежде чем ответить на вопрос уважаемого коллеги о степени использования архивов, я скажу буквально реплику о ведомственности. Ведомственность ведомственности рознь. В нашем семинаре участвует уважаемый директор ведомственного архива – Архива Российской академии наук. Но это две большие разницы – ведомственность, скажем, Архива

Министерства иностранных дел и Архива академии наук. Академический архив очень любят исследователи на протяжении уже многих лет, потому что у него – давно сложившиеся научно-исследовательские традиции, свой коммуникативный стиль. И это отнюдь не случайность.

По поводу степени использования архивов. По моему, этот вопрос смыкается с вопросом о том, что архив – хранилище памяти. Я бы сказала так: все зависит от степени готовности общества. Продемонстрирую свою мысль на историческом примере. В 1956 г. вышло постановление о рассекречивании – «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств». Многие необоснованно засекреченные материалы, целые документальные комплексы были переведены на открытое хранение. И, казалось бы, историки, и определенная часть общества могли ждать всплеска публикаций. На самом деле этого не произошло. Хотя количество исследователей в читальных залах архивных учреждений и увеличилось с трех до девяноста тысяч человек, они как занимались дореволюционной историей, так и продолжали заниматься (притом что целые комплексы документов по истории XX в. уже были открыты).

Короткий период оттепели, в том числе и в архивном деле, показал, что реальность сложнее наших представлений о ней: не все зависит от исследователей или от состояния научно-справочного аппарата архивов. Прежде всего, *общество должно быть готово к определенным изменениям, к новым предложениям со стороны архива*. Известно, как в 1950-е годы в советской науке ощущалось давление конъюнктурных обстоятельств. Свободно изучать историю советского общества и публиковать правдивые научные труды было очень трудно из-за того, что историки испытывали прессинг господствовавших в то время идеологических установок. Что касается публикационной деятельности архивов, то архивисты постоянно сталкивались с объективными трудностями: в каждом конкретном случае оценивалось историческое и политическое значение документа, публикация должна была производиться без личных подписей так называемых врагов народа и т.д.

Но многое все-таки зависит еще и от архивов. Ведь чтобы исследовать какие-то проблемы или целые пласти истории, необходимо в идеале брать фонд во всей целостности и публиковать, учитывая генетические, логические, естественноисторические связи

составляющих его документов. И не специалисту очевидно, что это невозможно. Тогда нужно было бы публиковать весь архив, что просто физически нереально сделать. Поэтому я думаю, что *степень готовности общества принять в целостности свою историю, как и степень готовности архивов удовлетворить этот запрос, – величины взаимосвязанные*. Чем больше архив издает справочников, путеводителей, обзоров и т.д., т.е. обеспечивает исследователей качественным научно-справочным аппаратом, тем больше общество, ученые подготовлены к взаимодействию с архивом.



И.И.Глебова: У нас без ответа остались два вопроса: о «рейтинге» архивов и архивных стратегиях, цель которых – «поймать» потребителя. Я хотела бы попробовать на них ответить, если коллеги позволят. Мне кажется, эти вопросы тесно связаны, так как нацелены на выявление коммуникативной функции архивов. «Рейтинг» использования во многом есть отражение специфики хранения, т.е. «рейтинга» архивов в системе. Традиционно самыми востребованными у нас были (и остаются) архивы государственные (а не ведомственные, «общественные» или личные), центральные (а не местные). Это обусловлено централизованным характером хранения.

Хотя, конечно, случаются периоды, когда растет популярность региональных хранилищ (вместе с интересом к местной истории). Так же периодически интенсифицируется исследовательский запрос «на» определенные исторические эпохи и проблемы. Скажем, в 1920-е и 1990-е годы, на пике социальных изменений, чрезвычайно востребованной стала история «вчерашнего дня» – «романовского самодержавия», революционного движения, затем КПСС, советского общества и т.д. В такие моменты XX в. теснит «древность», «Средневековые», «Новое время», спрос на которые традиционно высок. Потом интересы так или иначе выравниваются. В любом случае документы эпох, хронологически близких к современности, разрабатываются менее интенсивно – это понятно. Существуют у исследователей и «проблемные» приоритеты. Так, традиционно любим был (и есть) РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). В целом сведения об интенсивности использования архивов собираются Федеральным архивным агентством. Не знаю, считает ли оно необходимым предавать их гласности. Резон в публичности таких данных, безусловно, есть.

Метафора «погони» архивиста за исследователем на практике реализуется в опережающих стратегиях информирования – об архиве и хранимых им документах. Как создается запрос, формируется пользователь? Просветительской деятельностью – выставки, работа со школьниками, студентами и пр. Если историко-документальные выставки стали в последнее время важным средством публичного продвижения архива, то «выращивать» пользователя пока не получается – нет ни встречного интереса, ни средств. Здесь, пожалуй, даже на местах (в рамках краеведения) больше возможностей, чем у центральных архивов.

Что же касается движения навстречу исследователю, его подготовки к встрече с архивным документом, то здесь все еще сложнее. Как можно формировать исследовательский спрос? Приведением в известность научно-справочного аппарата архива, его публикацией. Конечно, в 1990-е годы архивы (центральные и региональные, новейшего времени и «исторические») совершили значительный прорыв в этом направлении. Речь идет прежде всего о справочниках-путеводителях. Сложнее архивам выйти на уровень документа – через издание описей. Хотя и такие планы существуют: ГА РФ, скажем, занимается переводом бумажных описей в электронный формат. Это и есть агрессивные (в лучшем смысле) стратегии продвижения архивов, «заманивания» исследователей.

На этом пути есть, конечно, препятствия, в том числе культурного, ментального характера. Архивы по-прежнему отличает владельческая психология: я не только «держу» и «распоряжаюсь», но и «владею». Этот комплекс монополиста способствует сохранению конфликта архивиста и историка: один не хочет выдавать, другой не может получить. Преодолевается этот комплекс только на правовом пути. Действуют и социальные ограничения – и не только в отношении архива, но и исследователя. *Само общество готовит его спрос, ориентируя на определенные периоды, проблемы и формируя их восприятие.* В результате исследователь часто оказывается не в состоянии адекватно отреагировать на архивное предложение: архив открывается, запускает в научный оборот новые, неизвестные документы, а их нового прочтения не происходит. Социальное давление превосходит и нейтрализует те возможности, которые предоставляет исследователю архив. Об этом Татьяна Иннокентьевна <Хорхордина> уже говорила.



Е.В. Старостин: Давайте вернемся к проблематике памяти.

Я хотел подчеркнуть следующее. Сейчас речь идет о кризисе исторической памяти в целом. У меня много знакомых директоров архивов, и они говорят, что современные исследователи менее активно, чем раньше, работают с архивными материалами. Если руководящие верхи меньше обращают внимания на исторические прецеденты, это можно расценивать как кризис исторической памяти. Если публикуются материалы только на основании неокантианской парадигмы и «высасываются» сведения из трудов ближайших сотрудников, то это тоже кризис исторической памяти. Мне выход видится так: надо работать с источниками. Вот и все.



И.И. Глебова: Когда я училась в Историко-архивном институте, нам говорили, что у отечественных архивов есть проблемы («больные места»), которые надо «лечить», исправлять. Потом выяснилось, что такие же проблемы были у наших архивов и раньше; остались они и в постсоветское время. Какие это проблемы?

Во-первых, доступа, ликвидации ведомственности. Эта проблема органически присуща любому архиву, но у нас она ярко специфична. Понятно ведь, что и в рамках ведомственности можно выстроить эффективные коммуникации архива с обществом, выдерживая пресловутый баланс между необходимостью сохранить наследие и готовностью предоставить его пользователю. У нас ведомственность и режим доступа имеют целью предохранить человека от свободного владения информацией.

Но и весь социальный организм, все государственные структуры устроены так, чтобы обеспечить обязанности личности, а не ее права. Обязательства-долги – вот главное, что творит систему; права и свободы в ней факультативны. Это касается не только пользователя. Ведь и архив в отношениях с государством и обществом руководствуется обязанностями и не может добиться, чтобы обеспечивались его права. Все это единая коммуникативная система.

Наш архив, скорее, отчужден от человека, чем нацелен на него. Процесс комплектования и доступ к архиву преимущественно определяются политической необходимостью, экономической целесообразностью, общественными потребностями (вполне прогнозируемыми – как социальный запрос), государственными нуждами и только в последнюю очередь интересами конкретного человека.

Это отразилось и на составе хранимого – не случайно в эпоху «архивной перестройки» появился Народный архив.

В СССР–России не столько документ охраняется от ликвидации, от гибели, сколько архив охраняется от пользователя, от общества. Главное для традиционного «режима охраны» – контролировать доступ; задача сохранности документа, которой многое оправдывается, вторична. И мне представляется, что это не болезнь, а органика нашей системы. Здесь очевидна связь: ограниченный доступ предполагает неравнoprавие пользователей по отношению к архиву как государственному институту, а ведомственность предполагает неравноценность самих архивов в системе. Иерархия архивов, помноженная на ведомственные ограничения доступа, создает такую ситуацию, в которой говорить о единстве архивно-информационного пространства становится очень проблематично.

Следующее. В числе проблем студентам-архивистам в 1980-е годы называли (как называют и сейчас) улучшение технической базы и материального обеспечения архива, а также повышение социального статуса архива и его хранителя. Это какие-то вечно неразрешимые задачи архивного ведомства. Но, возможно, они действительно неразрешимы. *И то, что мы называем болезнями, на самом деле – наша норма?* Скажем, пресловутый низкий статус архива – не соответствует ли он общественной культуре, потребностям? У нас ограничен спрос на память, но есть спрос на информацию. *Архив нужен как поставщик полезной информации: обществу – для того, чтобы улучшить социальное самочувствие, а власти – для того, чтобы управлять обществом. Память, сверенная с «правдой» архивного документа, здесь несущественна – она может только помешать.*

Среди «вечных» архивных задач числятся воспитание в обществе «архивного сознания», а также минимизация репрессивной, контрольной функций власти в отношении архивов. Они потому вячны, что всегда актуальны – как будто их никто никогда не решал. Может, и это тоже наша норма? И тогда понятно, почему «заемная» идея об архиве как институте памяти – идея замечательная – воспринимается исключительно как метафора. У нас не приживается связанная с этой метафорой культурологическая, гуманитарная модель архива. Ведь что за ней стоит? Культурная свобода и институциональная независимость архива. Они у нас невозможны, а значит, и эта модель нам не подходит. Она соответствует свобод-

ному обществу, осознающему самоценность человека и его наследия. Все это для нас метафоры.

Норма жизнедеятельности нашего архива – в прогрессирующющей ведомственности, в низком статусе хранителей, в постоянном контроле использования извне, в подмене режима доступа режимом охраны. Не следует ли перестать рассматривать их как болезни, изъяны, подлежащие исправлению? Может, согласиться с тем, что это «родовые», естественные для нынешней архивной системы черты – и из этого исходить?

! **Е.В. Старостин:** Но Вы же понимаете, что это риторические вопросы.

! **И.И. Глебова:** Я так понимаю, что, отвечая таким образом, Вы, скорее, соглашаетесь со мной.



В.Ю. Афиани: Я – представитель не только архивного, но и «презренного» ведомственного «племени». Я бы предложил вернуться к той теме, которая сформулирована докладчиками. Мне тоже чрезвычайно импонирует идея о том, что архив, библиотека, музей являются институтами социальной памяти, национальным достоянием. Хотелось бы, чтобы все носились с архивом, назначали большие зарплаты и относились с уважением к его хранителям. Кстати, примеры подобного отношения в нашей стране есть. Моя первая научная конференция была в Армении. Ехали мы туда поездом. И когда очень неприятный мальчишка, который был на побегушках при проводнике, узнал что мы едем в Матенадаран, он восторженно сказал: «О, конференция в Матенадаране!» Мы сразу стали для него уважаемыми людьми. Потому что Матенадаран для армян связан с национальной памятью – исполняет роль хранилища национального наследия, национального архива.

Конечно, наши преподаватели обязаны говорить студентам такие красивые вещи: общество – память, архив – институт памяти. Но реальность несколько иная. Вот, здесь затрагивался вопрос об особой роли государства в архивной истории – в силу специфики развития нашей страны и ее архивного дела. Как известно, по разным историческим причинам – сейчас не будем в них углубляться – до революции и в послереволюционный период роль государства сильно отличалась от того, что принято в странах европейских. Со-

ответственно, несоизмеримы масштабы государственных бумаг – ведь государственным было все, гораздо больше, чем в какой-нибудь Франции. Что влекло за собой это огосударствление?

Никто из коллег не произнес малоинтересное слово «функция». Каждый государственный институт имеет набор неких функций. Одни являются главными, системообразующими, другие – второстепенными. В функциональном отношении государственный архив – это, во-первых, ведомственность, во-вторых, обеспечение администрации, власти. Вот главные функции отечественных архивов. Этим очень многое определяется: в ориентации на эти «государственные», «обслуживающие» функции все выстраивается в нашей архивной системе. Правильно это – неправильно, здесь мы можем спорить. Но это факт. Сейчас государство сильно потеснилось. Оно ушло из многих областей – в частности, из промышленности, экономики: появились акционерные общества, частные банки и т.д. Конечно, как правило, ситуация сохранности их документов, особенно на начальной стадии, далеко не всегда хороша. Но она меняется – в том числе потому, что иностранный капитал пришел в обработку архивов.

Вернемся еще к одной составляющей роли архива в обществе. О ней сегодня тоже много и красиво говорили, что мне было очень приятно. Это роль идентификационная: *архив, хранящий память, есть инструмент национального самоопределения*. Давайте отвлечемся от России и обратим внимание на наших ближайших соседей. Нужны им архивы для национальной идентификации – для самопонимания прежде всего? И если они используют архивы, то как? Ведь везде, на всем постсоветском пространстве, происходит одно и то же. *Архивы не являются источником исторической правды* – скорее, служат поставщиками лжи, фальсификаций. *Архивы не превращаются в фундамент понимания своего исторического пути*. Да, архив может служить неким документальным фундаментом – поставщиком информации для какого-то исторического исследования, хранищем фактов, которые можно извлечь и по-разному использовать. Например, широко этим пользуется телевидение. Историческая память уже стала отдельной темой для средств массовой информации. И здесь тоже вопрос: как она разрабатывается, чему служит.

Вообще, сегодня много проблем затронуто, очень важных проблем. Но мне кажется, что мы немножко ушли в сторону. Ко-

нечно, больных проблем много. Но общество у нас не является сугубо здоровым, абсолютно беспроблемным. А любой социальный институт отражает те проблемы, которые существуют в обществе. И здесь методологически важно не впадать в крайности – не проводить такой резкой грани между светом и тьмой: свет – в Европе, тьма – у нас. На самом деле, ситуация сложнее. Хотя по некоторым позициям, конечно, европейское архивное сообщество нас превосходит.

Национальный архив, национальная библиотека, национальный музей – это три столпа нации, которых у нас нет. И нам это, безусловно, мешает. Почему это произошло – вот вопрос? Может быть, у нас не стояла так остро проблема самоидентификации и выработки национального самосознания? После революции – понятно: тогда не формировалось национальное сознание, так как стояли интернациональные задачи. Потом поиск шел, но в явно извращенном виде. И в конечном счете своей *национальной самоопределенности в памяти мы не нашли. Попытка была в 1990-е.* Р.Г. Пихоя одно время был главным архивистом страны – его назначал Б.Н. Ельцин.

Что касается нашей административной системы, то архив, действительно, занимает в ней далеко не первое место. Но и другое верно: наш архив имеет точно такие же функции, как любой другой. Правда, происходят разные вещи. Вот, нашему архиву дали еще статус научно-исследовательского института, от которого нам только дополнительная головная боль – и никакой пользы. Правда, это особый случай, потому что мы – архив Академии наук – находимся в академической системе. Для меня, кстати, было новостью, что главный библиотекарь Академии не является научным сотрудником. И вот сейчас, когда зарплату повысили слесарям, главному библиотекарю тоже резко ее подняли. Ну ладно, это академическая система…

Что же касается архива в целом, то, невзирая на «особость» наших практики и традиций, мы имеем право осмыслить, что такое архив, какую роль он играет в обществе. Это в равной степени важно и для библиотеки, музея. Вероятно, в последнюю очередь – не в первую, а именно в последнюю – какую-то функцию сохранения и развития национальной памяти они выполняют.

И последнее – каким должен быть архив в будущем. Вот, говорят об информационном обществе. Я считаю, что *музей, библио-*

тека и архив, не теряя полностью своей специфики, все большие превращаются в центры хранения, использования и распространения ретроспективной информации. В полной мере это реализуется еще только в очень далеком будущем. Но это уже происходит и сейчас. С появлением новых технологических средств, новых информационных технологий, как мне представляется, снимутся проблемы с доступностью нашего архива. Ведь помимо ведомственности есть еще масса ограничений доступа – причем вполне естественного порядка: не каждый человек пойдет в архив, захочет научиться пользоваться им. *С внедрением новых технологий доступность на порядок возрастает.*

Это мы испытали на себе. С тех пор как мы своими силами создали (и сейчас развиваем) сайт архива Российской академии наук, уровень востребованности нашей информации вырос просто на порядок. Ну, сколько исследователей посещает наш читальный зал? За год двести человек бывает. А количество посещающих сайт за год прыгнуло на десятки тысяч. Это реальная возможность расширения (и интенсификации) доступности – и приведения ее в соответствие с тем, как понимаются новое место и роль библиотеки, музея, архива в информационном (читай: современном) обществе. Причем, эти процессы – медленнее, может быть, чем нам хотелось бы, – но меняют роль архива. Очевидно, что *востребованность ретроспективной информации увеличивается*. И ее использование в политических, пропагандистских целях растет. Соответственно этому медленно, но все же будет меняться роль этих социальных институтов, их востребованность в обществе.

И.И. Глебова: Спасибо. Может быть, кто-то еще хочет выступить? И мы будем завершать.

 **Ю.Л. Троицкий** (*Историко-филологический факультет РГГУ*): Можно конечно, конечно, ограничиться формулой «каждое общество имеет те архивы, которые...» Понятно, да? Но я думаю, это непродуктивно. Полемическая реплика Юрия Сергеевича <Пивоварова> по поводу крайности такой позиции на самом деле заострила проблему. Так вот, я думаю: здесь мы не можем даже обсуждать – за бесполезностью – высокие управленческие решения, связанные с архивами. Но мы все же можем поговорить о конкретных вещах, связанных с изменением общественной роли

архива и его коммуникативных стратегий, даже несмотря на убогое юридическое, материальное и прочее обеспечение. Если сравнить современную практику трех постоянно упоминаемых сегодня институтов – библиотеки, архива и музея, – то становится очевидно: музей – наиболее подвижная институция. Заметна близость музея и театра, например. Музейная экспозиция сейчас все больше и больше приближается к «стренному» статусу инсталляции. Это уже не собственно музейная экспозиция, а нечто другое. Библиотека же все больше и больше входит в союз с кафе, книжным магазином и т.д.

Мне кажется, *архивы* – несмотря на всю свою специфику – могли бы изменить характер своего позиционирования и тем самым коммуникативные отношения с внешней средой. Новые способы продвижения известны – Интернет, виртуальные каналы. Почему бы, например, не подумать о создании такого суперпроекта – наподобие американского «Память Америки». Я помню, как в первый раз поразился, когда нам это все показали. Конечно, это дорогущий проект, десятки миллионов оцифрованных единиц... Но все-таки, можно было бы сыграть в будущем на формировании пресловутой национальной идеи, а заодно сделать полезное дело. Рабочее название проекта – «Память России». Можно назвать и по-другому – неважно. Мне кажется, такой проект позволяет обратиться на соответствующем управленческом уровне к руководителям фондов – РГНФ, РФФИ. Сейчас предлагается масса исследовательских программ по музеям – и практически ничего нет по архивам. Почему бы не предложить научным фондам целевые, конкурсные исследовательские программы по архивному делу? Мне кажется, это вызвало бы активность исследователей, возникли бы интересные предложения. Тем более что профессиональная конъюнктура (если говорить об историках) вполне благоприятна. В Институте русской истории только что закончилась конференция (даже конгресс, который подготовили Л.П. Репина и ее коллеги) по интеллектуальной истории. Там было целое направление (серия докладов) в русле так называемой новой интеллектуальной истории. Докладчики особо подчеркивали: интерес сейчас вызывают не просто документ с его контентом, а весь его образ – вплоть до внешнего вида: бумага, графика текста, отсылки, маргиналии и пр. Наверное, этот запрос – не только историков, но и общества в целом – вполне могут использовать архивисты.

Можно было бы подумать над созданием некоторых гибридных форм общественного позиционирования архивов, шире привлекать, скажем, студентов. Я постоянно просматриваю дипломные работы студентов нашего факультета и замечаю опасную тенденцию: все меньше и меньше студентов используют неопубликованные материалы, все больше и больше привлекают опубликованные документы. Это, конечно, не основной показатель качества работы, но все-таки тревожный сигнал.



Е.В. Старостин: Дело в том, что есть такие проекты, программы. Действует, например, компьютерная программа описания архива Сталина. Выполнен прекрасный проект, который вызвал восхищение зарубежных коллег, – описание документов Коминтерна. Завершена программа по описанию документов еврейского народа в архивах России, Украины, Белоруссии. Есть программа, которую ведет наша кафедра; архивы Русской православной церкви. Удельный вес небольшой, но для таких программ вполне достаточен. Другое дело, что общество (даже Русская православная церковь) не проявляет особого, выдающегося интереса к таким программам. Нам говорят: «Пожалуйста, подарите». И все. Однако следует учитывать главное – за любой программой стоят люди, источники финансирования. Мы, скажем, хотели бы вести программы по истории архивов буддизма, ислама. Это очень важно для страны, но заинтересованных сил пока не нашлось.



И.И. Глебова: Мне все же кажется, что перекос между должным и сущим при оценке потенциала отечественных архивов у нас есть. Вот, Юрий Львович <Троицкий> говорил о программах. Но любая программа, как указал Евгений Васильевич <Старостин>, нуждается в средствах. Средства же распределяются в соответствии с той иерархией, которая сложилась в системе управления. Архив в этой иерархии занимает далеко не первое место. Если вернуться к идеи архива как института памяти (т.е. национального достояния – памятника, но очень специфического), следует признать: ну, не получается у нас полноценного института памяти. О чем это говорит? Об отсутствии полноценного, самостоятельного, разнообразного, внеположного власти общества. *Пока не вырастет общество, не будет и архива как полноценного института памяти.*

Мне кажется, что перспективы нашего архива таковы: он останется государственным учреждением, обслуживающим социальные нужды, и институтом памяти власти. Если она выделит ему деньги или согласится поддержать какие-то архивные проекты, только тогда они и будут существовать. Полезны будут культурные проекты для нужд власти, тогда она поддержит начинания архива.

Пытаясь говорить об архиве как институте памяти, мы забываем, что у *нас воспроизвелась модель советского архива в новых исторических условиях*. А о советских архивах присутствующие всё хорошо знают: они ориентированы не на публичность, а на охрану, причем охрану от пользователя. В них минимизирована просвещенческая функция, гуманитарная и культурная связь с пользователем. Они и сейчас затруднены. Советские доминанты в постсоветском архиве сохранились.

Правда, в нашей истории случаются такие нехарактерные эпохи, которые потом называют смутными, распадными и анархическими. Мы забываем, что в 1990-е годы перемены были названы «архивной революцией» (**В.Ю. Афиани уточняет: архивно-археографической революцией**). Они были связаны с либерализацией архивной системы, так как были ответом на общественную либерализацию.

От той архивной революции остался некий набор общественных свобод и несколько либерализировавшийся советский архив. Видимо, этим объясняются его перспективы. *Наш архив (вместе с обществом) двигается в возвратно-поступательном ритме: рывок в «светлое будущее» – откат в «светлое прошлое» – «покой», как-то примиряющий революционные и консервативные тенденции. Нынешний «покой» – это шаг вперед от советского архива. Но два шага назад от архива эпохи «архивно-археографической революции».*

На его перспективы влияет зацикленность современного общества на идеи стабильности, обращающей его в прошлое. Наше общество требует «изобретения» поддерживающих его, снимающих комплексы, умиротворяющих традиций. Поэтому в нем актуализируется идея архива – собрания подлинных документов, как бы «гарантирующих» историческую правду. В действительности *речь сейчас идет о виртуализации правды истории – и идеи архива. По существу, это близко советской практике фальсификации истории – с помощью архива.*



Ю.С. Пивоваров: Могу я, как человек сугубо не архивный, прокомментировать то, что здесь произошло? Вот, Тамара Серафимовна <Волкова> восхищалась зданием Национального архива в Вашингтоне. Так у них там и здание суда хорошее и вообще хорошие здания. Все, что вы рассказываете, касается всех сфер нашего общества. Можно поменять слово «архив» на слово «суд» – и будет все то же самое. Все, что случилось с архивами, происходит сейчас с судами, парламентом, выборами (собственно их больше нет), политическими партиями, профсоюзами. *Архивные проблемы – это проблемы всего российского общества.* Мне это совершенно очевидно. *И эти проблемы не решатся программой «Память России».* Можно создать такую программу – одноразовую и прекрасную – и даже будет захватывать дух от того, как все здорово выглядит. Но в целом ситуация не изменится. Можно построить великолепное здание Верховного суда, но суд будет таким же отвратительным, как суды предыдущих десятилетий. *Все дело в нашем обществе. А оно не хочет ни суда, ни парламента, ни архива, ни библиотеки.*

Вот, говорят: в архив стали меньше ходить и меньше вводить архивные документы в научный оборот. И в библиотеку стало меньше людей ходить. Не потому, что библиотека стала хуже, нет. Значит, в обществе происходят какие-то процессы – очень глубокие, очень серьезные. Уважаемые докладчики говорили об информационном обществе, разработке коммуникативных стратегий архива в таком новом мире. *Наше общество, конечно, может стать современно-информационным, но только по названию.* Потому что останется при этом абсолютно лишенным знания – настоящего, глубокого, серьезного. *И понимания самого себя.* Поэтому я думаю, что сегодняшняя беседа очень хороша для тех целей, которые ставит Центр россиеведения ИНИОН РАН: выслушивать и обсуждать различные темы и преобразовывать дискуссии в какие-то работы, статьи, посвященные как отдельным профессиональным проблемам, так и общей теме – выявлению российской «эссенции».

И.И. Глебова: Спасибо. Центр россиеведения и ИНИОН РАН признательны уважаемым докладчикам и коллегам, которые к нам пришли. Мы надеемся, что вы будете у нас еще не раз и наше общение будет плодотворным.

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

(Семинар 18 декабря 2008 г., ИНИОН РАН)

И.И. Глебова (*ИНИОН РАН*): Тема сегодняшнего семинара Центра россииеведения – «Революция как проблема русской истории». Докладчик, Владимир Прохорович Булдаков, уважаемые коллеги, вам известен; в специальном представлении он не нуждается. Нашу работу предлагаю построить в традиционном варианте: доклад – около получаса, затем – вопросы и обсуждение.



В.П. Булдаков (*ИРИ РАН*): Хотя на предложенную тему мне не раз приходилось говорить, не уверен, что смогу уложиться в 30 минут. Вряд ли помогут тезисы – они мне кажутся довольно корявыми. Поэтому хотел бы на всякий случай отослать заинтересованных лиц к моей одноименной статье в «Вопросах философии» (2009, № 1) и будущей более объемной публикации «Революция как миф и проблема российской истории», подготовленной для ежегодника нашего Центра¹. Сегодня на проблеме революционного мифа останавливаться не буду – это отдельная, весьма путанная, хотя и по-своему веселая тема. Нет смысла разбирать существующие теории, концепты и концепции – они слишком тесно сопряжены с мифами. Рассказ об историографии революции

¹ См.: Булдаков В.П. Революция как миф и проблема российской истории // Труды по россиеведению. – М.: ИНИОН, 2009. – С. 68–116.

также получился бы непомерно объемным. Попробую поэтому сфокусироваться на существе проблемы.

Всякий посторонний человек, взявшись разбираться в проблемах революции, сразу же погрязнет в эмпирическом материале. Я постараюсь дистанцироваться от привычного набора фактов и их интерпретаций. Речь пойдет не о конкретной революции – Февральской, Октябрьской. Я буду говорить *о системном кризисе сложноорганизованной имперской системы, его повторяемости в российской истории*. Где истоки такой кризисности, носит ли она генетически предопределенный, «врожденный» характер? Или, может быть, Россия действительно оказывается жертвой периодических заговоров, как принято считать в известных кругах? Вот об этом и пойдет речь.

На мой взгляд, проблема революции (системного кризиса) – это проблема стабильности (или нестабильности) исторического существования определенного типа государственности. Хочу подчеркнуть, что я начинаю именно с власти, государственности, хотя давно предпочитаю заниматься социальной историей – историей людей, человека.

Что же такое российская государственность с точки зрения ее уязвимости? Представляется, что проблема революции, или, точнее сказать, смуты (я эти понятия разделяю, но в данном случае это не имеет принципиального значения), может быть сведена к поиску в социальном пространстве России элементов, так или иначе провоцирующих и продуцирующих социальный хаос. Тех самых элементов, которые обеспечивают рост так называемых малых возмущений, приобретающих в конечном счете антисистемный масштаб.

Анализ особенностей российской государственности я начал бы с призыва варягов – или, что точнее, соответствующего мифа. Постараемся представить, что власть в России, несмотря на откровенно патерналистский характер ее самопрезентации (и соответствующее восприятие снизу), на самом деле изначально являлась внешней – инородной – для российского социального пространства силой и уже поэтому особенно упорно пыталась казаться «своей», «отеческой», отличной от всякой другой. Строго говоря, «чужая» династия – обычное в истории дело, но в России момент внешнего воздействия играл особую роль. Вспомним слова Владимира Соловьева о русском государстве, которое «было зачлено варягами и оплодотворено татарами». Можно сказать в связи с этим, что ви-

зантийско-православный проект приобрел неадекватную ему монгольскую «кочевническую» систему приказного управления. Говоря об «кинородности» российской власти, стоит вспомнить и о том, что со временем бюрократический строй империи стал рекрутироваться из немцев (сначала в широком, затем в узком смысле слова), которые даже во внешнеполитическом ведомстве и в армии занимали весьма основательные позиции (символично, что этот фактор столь мощно сработал накануне 1917 г.).

Хотел бы обратить внимание еще вот на что. Как бы мы ни относились к власти, мы постоянно испытываем колебания амбивалентного ее восприятия: какая она – «наша» или «чужая», «хорошая» или «плохая», «настоящая» или «подмененная»? Мы постоянно чего-то ждем от власти: то хорошего, то дурного. Это психология «ожидания чуда», отчетливо ориентированная на власть. Представления же о власти как о механизме, который действует от нашего имени в наших интересах (а по-другому и быть не должно), у нас так и не сложилось.

Стоит задуматься и о другом. Для Российской государственности, возникшей на необъятных просторах, которые требовалось так или иначе упорядочить, всегда колossalное значение имел самый что ни на есть прозаический фактор: наличие свободных средств для оперативного реагирования на те или иные угрожающие ей события или явления. Попросту говоря, для России, как тысячу лет назад, так и сейчас, колossalное значение имела проблема сбора налогов: народ беден, а расходы для его защиты непомерно велики. И здесь татары сыграли весьма конструктивную роль: эту проблему они решили, как успешно (для своего времени) решили и проблему коммуникаций. Для такого рыхлого демотерриториального пространства, как Россия, эти два фактора – основательный бюджет и развитые коммуникации – всегда имели колоссальное значение. И в связи с этим постоянно возникали трудности, которые могли приобрести системный (точнее антисистемный) характер.

Здесь присутствует мой давний знакомый Сергей Алексеевич Королев, известный философ... В свое время он высказал простое, но принципиально важное соображение. Задача Российской власти состояла в том, чтобы превратить пространство территорий и социальное пространство в контролируемое и управляемое пространство власти. Иногда это удавалось, иногда эти пространства выходи-

ли из-под контроля. На мой взгляд, именно неустойчивое равновесие между крайностями (от застоя к смуте) лежит в основе исторического существования российской государственности, ее временных успехов и периодических кризисов. В той мере, в какой удавалось контролировать эти пространства – территории и пространства людских душ, – удавалось добиваться стабильности системы. Россия всегда балансирует на грани «застоя» и «смуты» – достичь динамичного инновационного развития не удавалось. Замечу: смута – это не совсем революция (или совсем не революция), во всяком случае, любая революция в России вписывается в более длительную полосу «смутного времени».

В связи с этим возникает вопрос: есть ли аналоги такой государственности? На мой взгляд, в современной истории их нет. Если говорить об отдаленном прошлом, то их можно обнаружить. Я имею в виду самую архаичную, самую примитивную форму государства – государство-склад. Это когда власть забирает весь прибавочный, точнее, произведенный продукт, а затем раздает его по закону первобытной справедливости (в первую очередь, естественно, тем, кто обслуживает процесс сбора-распределения). На мой взгляд, наше государство до сих пор строится на таких архаичных основаниях: собирает (или обирает), а потом раздает. Понятно, что далеко не всех такая государственность устраивает в форсажорных обстоятельствах.

Из государства-склада естественно вырастает так называемое патерналистское государство (или, что точнее, его образ). Это также весьма архаичная форма господства над людьми – та, которая делает вид, что всех кормит. Она напоминает нечто знакомое по истории восточных деспотий, где все блага жизни воспринимались как персональный дар правителя. Своего апофеоза «социалистический» патернализм у нас достиг во времена Сталина, но и без него образ «кормящей власти» в российском псевдо-политическом пространстве неизменно доминировал и доминирует. Соответственно этому, для самосохранения государства-склада требуется особый тип веры. По сути дела государственность в России сама превратилась в веру. Конечно, можно рассуждать о православии, относительной веротерпимости имперской власти, но над всем этим, на мой взгляд, довлела вера в саму власть – государственность (относительно независимо от конкретного правителя) подспудно превращалась в объект религиозного почитания.

Каковы исторические ипостаси этого явления, думаю, объяснять не надо, – присутствующим это понятно. Патерналистские системы порождают амбивалентность оценок власти. В любом случае такие специфически иллюзорные представления о ней обычно оборачиваются надеждами на возможность ее мгновенного преображения – в частности, в связи с заменой правителя своего рода переворотом.

Хотел бы обратить внимание на еще один принципиально важный момент. В России общества как такового вообще не могло сложиться. Современные разглагольствования о «гражданском обществе» – это типичный российский эстетический блеф. Дело не только в том, что государство само формировало либо «служилые», либо «тягловые» сословия, либо их гибриды. В российских пространствах общества, как такового, объективно сложиться не могло. Могли сформироваться социумы общинного типа, всевозможные сообщества, «светское общество» (как эрзац-общество), «добровольно-принудительные» общества (вроде ДОСААФ), но общества как такового, основанного на гражданской независимости от власти, на мой взгляд, нет до сих пор (назначение сверху Общественной палаты – отличное тому свидетельство). Нынешние разговоры о гражданском обществе – это обычная для нас попытка выдать желаемое за действительное. «Потемкинские деревни» – это тоже наше фирменное know-how. Не вижу никаких оснований принимать всерьез подобные симулякры.

Власть, которая пытается контролировать ею же выстраиваемую социальную систему, сама провоцирует непременные приписки и всеохватывающую коррупцию. Если все делается через власть, то всякий избыточно (по понятиям власти) активный служилый человек с несколько пошатнувшимися моральными устоями (а к этому подталкивает аморализм самодержца и его ближайшего окружения) испытает соблазн обмана этой самой власти. Если приказная бюрократически-полицейская государственность вызывающее тупа, то искушение надуть ее неистребимо.

Кстати сказать, в последнее время приказную систему основательно идеализируют, упирая на то, что она основывалась не на безличностно-формальных, а на «человеческих» взаимосвязях. Да, действительно, в некоторых случаях приказная система могла быть эффективной. Но для этого необходимы два условия: либо «подмазать» снизу («подъячий любит калач горячий»), либо «надавить»

сверху («взять на контроль»). Вот тогда эта система работает относительно эффективно. В иных обстоятельствах ее преимущества сомнительны. Конечно, в силу своей «асимметрии» она порой оказывалась более гибкой, чем министерская регулярная система. Но это не является свидетельством ее исторической перспективности.

Хотелось бы обратить внимание и на другой момент. Существует, как известно, представление о соборном устройстве российской государственности. Я считаю, что это один из мифов, созданных то ли самой властью, то ли ее идеологами. На мой взгляд, налицо стремление романтических холуев власти выдать желаемое за действительное. Когда нет альтернативы, когда в низах отсутствует представление о возможности иного устройства власти, возникает именно такая социально-психологическая ситуация. Выдавать нужду за добродетель нам очень и очень свойственно. Соответственно этому власть постоянно выдает желаемое за действительное.

Надо учитывать и то, что обслуживание государства-склада порождало жажду идеала «дающей» или даже «отдающей» власти. Происходила подмена реального воображаемым, чреватая «смутой в умах». В таких условиях жизнеспособность государства могла поддерживаться только особой этатизированной верой. Но такая вера в критические моменты не обеспечивала конкретного правителя остро необходимой сакрализующей подпиткой. Вакуум веры всегда восполняется всевозможными суевериями – к этому мы тоже очень склонны. Всевозможных слухов и домыслов относительно власти у нас всегда было в избытке. Как правило, в критических обстоятельствах россиянин начинает бунтовать и против опостылевшей государственности, и против казенной веры, каких-то близких «препятствий» – во имя некой идеальной власти и веры, не говоря уже о сообществе земных ангелов, ради которых можно уничтожить «чужого». В современных условиях мы это также хорошо ощущаем.

Уже не раз было сказано, что наиболее революционным словом в России была, есть и остается российская интеллигенция. Насколько уникalen этот феномен? Наверное, уникalen: российская государственность попросту не допускает существования независимого от нее человека. Лица свободных профессий неконтролируемые, а потому терпимы лишь в ограниченном количестве. В лю-

бом случае они кажутся «опасными». Лица, независимые от государства, российской власти не нужны.

Как зародилась российская интеллигенция? На этот вопрос ответить сложно (помимо традиционных эквиоков относительно указа о вольности дворянству), но так или иначе *интеллигенция превратилась в фактор, провоцирующий российскую смуту*. Механизм возникновения смуты известен: маргиналы, диссиденты, диссиденты «сверху» провоцируют маргинализуемые низы. Кстати, Ленин это хорошо понял.

Конечно, когда мы говорим о возникновении революционной ситуации в России, возникает вопрос: с чего все это начинается, когда делается необратимым? Лично я исхожу из того, что искать пресловутую точку бифуркации, при прохождении которой возврат к прежней «стабильности» уже невозможен, – занятие безнадежное и ненужное. В критических обстоятельствах система, подобная российской, становится слепой: не способна распознать опасности, которые ей угрожают. Она самоубийственно устремляется к собственной гибели. Но не видят этого и ее подданные. Мы, как всегда, не ведаем, что творим.

В российской смуте, в системном кризисе архаичной империи можно выделить лишь отдельные стадии или уровни ее протекания. Об этом я писал не раз.

Прежде всего, я обращал внимание на этический компонент кризиса, за которым следует идеологический, затем политический (точнее псевдополитический) этап развала системы. Принципиальное значение приобретает организационный хаос, за которым следует социальный этап кризиса. И, конечно, после прохождения точки бифуркации наступает полоса господства толп – охлократическая составляющая кризиса империи.

Что случается после этого? Всем известно – ничто так не провоцирует автократию, даже тиранию, как охлократия (явление всегда преходящее). Перебесившиеся массы могут произвести только нового вождя, нового деспота. С этого начинается рекреационное восстановление системы.

В итоге власть (с нашей помощью) воспроизводит самое себя в новом обличье. В *хаотичном самовоспроизведении сложившегося типа государственности*, на мой взгляд, состоит суть и проблема русской революции. В XX в. мы уже пережили две такие ре-

волюционные метаморфозы, но никак не можем поверить, что по природе своей они однотипны.

Конечно, сегодня многие авторы соглашаются, что Россия пережила три системных кризиса – первый в начале XVII в., два последующих – в начале и конце XX в. Кстати, вялотекущий характер последней смуты связан со «старением» населения. В начале XX в. мы имели нечто противоположное: «омоложение» населения в результате демографического взрыва. К этому надо добавить, что если кризис начала века был вызван Первой мировой войной, то в конце столетия более основательно оказались внутренние последствия холодной войны. Проиграв холодную войну, Россия все еще пребывает в состоянии непреодоленной смуты.

Можно последовательно показать однотипный характер протекания всех российских смут. В нескольких словах я попытаюсь это сделать.

Что такое этический кризис власти? Он начинается с того, что кто-то во всеуслышание заявляет верховному правителю: ты правишь не по-христиански, не по-людски. Тут можно выстроить ряд знаковых фигур, начиная с Андрея Курбского, включая Радищева, заканчивая Солженицыным (также призвавшим «жить не по лжи»). Разумеется, нравственный натиск на систему имел очень ограниченное конкретно «революционное» воздействие. Он оказывается в полной мере позднее, при определенных условиях. Вот тогда моральное обличение власти приобретает идеологическое качество. Затем власти представляется некий конкретный план ее трансформации. Происходит политизация нравственного императива. Мне трудно судить детально о том, что происходило в XVII в., но применительно к началу и концу XX в. картина ясна. Авторитаризму противопоставляется демократия, точнее – миф о демократии.

Кризис углубляется по мере того, как в борьбу вступают политические партии. Надо сразу заметить, что реальной альтернативы существующей власти они предложить не могут – им не на что опереться, кроме околовластных структур. Партии воспроизводят картину интеллигентского мировосприятия, а не жизненные реалии, не интересы несуществующего общества, а иллюзии разрушаемых сословий и мнимых классов. Но они выступают мощным катализатором организационного развала системы. Можно показать это на простом примере. В период Первой мировой войны территория Российской империи оказалась поделена на зоны военного

и гражданского управления. Помочь власти были призваны Земский и Городской союзы, а также военно-промышленные комитеты. Возник парадокс: либералы за казенный счет начали изнутри критиковать систему управления. Конечно, в таких условиях государство со своими обязанностями не справилось.

Во время войны колоссальное значение приобрела сложнейшая для России проблема снабжения населения. Инфраструктура оставалась слабой. А между тем требовалось переориентировать основные (прежде всего хлебные) грузопотоки с востока на запад (раньше в европейской части империи они шли преимущественно по линии север–юг). Эта проблема осталась неразрешимой, что повлекло за собой продовольственные неурядицы. (Подобная ситуация, кстати, знакома нам по недавним временам – кризис распределения не случайно влечет за собой новый развал системы.) Реакция масс оказалась характерной. Последовала серия бунтов, обернувшихся кризисом самой власти – в критический момент она не смогла ни накормить, ни защитить, ни даже создать иллюзию того и другого. Вслед за тем те или иные социальные слои пытались перейти на режим самообеспечения. Это не удалось. И вот тогда наступил охлократический период смуты, когда власть способна только имитировать свое присутствие (причем массы ей в этом невольно, но активно помогают).

И только когда энергия социального хаоса исчерпана, начинается рекреационный период смуты – власть набирает силу. Происходит «чудо власти». Связано это с тем, что интеллигенция творчески иссякла, массы исчерпали потенциал самоорганизации – и без того слабый. И когда массы обессилены, радикальные лидеры обескровили друг друга, власть постепенно вновь становится Властью.

Все это настолько напоминает 1990-е годы, что от комментариев можно воздержаться.

Можно сказать, что проблема российской революционности связана с «революционностью» самой власти – ее бесконтрольность оборачивается тем, что неосторожные шаги становятся шагами в пропасть; через интеллигенцию она невольно, но постоянно провоцирует народ на смуту. Возникает вопрос: есть ли этому альтернатива? На мой взгляд, она все еще не просматривается. Если нет общества, людям не на кого надеяться, кроме правителя.

Власть-диктатор, она же власть-хамелеон, лишенная нормальных общественных институтов, изначально неустойчива (хотя ей приписывают тоталитарные качества). Иной она быть не может, ибо соседствует с хаосом, а не ведет диалог с обществом. Система, о которой шла речь, может качественно преобразоваться – не важно, будет это революция или нет, – лишь на клеточном уровне. Только люди, которые знают, как можно организоваться помимо власти, независимо от власти, вопреки власти, могут постепенно создать структуры и иерархии, которые действительно станут опорой государственности.

На этом, пожалуй, все.

И.И. Глебова: Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы.

• **О.Ю. Малинова (ИИОН РАН):** Спасибо за очень интересный доклад. Хотелось бы уточнить. Ваша схема – это видение ситуации, так сказать, изнутри: есть некий социальный организм – и мы прослеживаем логику его существования. Я бы даже не назвала это эволюцией: ведь получается, что он воспроизводит одни и те же способы существования во времени. Что-то, конечно, меняется, но какие-то структуры вновь и вновь возобновляются. Мой вопрос связан вот с чем. Хорошо, допустим, что в России есть такая тенденция к воспроизведству. Но ведь Россия существует не сама по себе. Это пространство, географическое и социальное, включено в сложные мировые связи. И совершенно очевидно, что на протяжении тех промежутков времени, о которых мы говорим, окружающая среда менялась. Как, по-Вашему, происходившее в России и с Россией связано с тем, что происходило вовне? Поясню вопрос. Мне-то кажется, что феномен русской революции может быть понят только в связи с тем, что она включена в определенные связи. Вне этого контекста очень сложно выявить природу именно данного социального явления.

 **В.П. Булдаков:** Я Вас понял. Спасибо за подсказку, этот момент в докладе я упустил. На мой взгляд, ответ довольно просто. Поскольку система строится на самодостаточных автаркистских принципах, любое внешнее воздействие изнутри нее воспринимается как «чужое». В этом есть доля истины: *инновации*

способны сыграть разрушительную роль в архаичной социальной среде. Уцепившись за русскую почву, «чужие» идеи действуют подобно вирусу, против которого нет иммунитета. Воздействие оказывается особенно разрушительным, когда система находится в ослабленном состоянии. Власть это всегда сознавала и сознает. Отсюда культивирование образа врага. Без образа врага – не только внешнего, но и внутреннего – российская власть существовать по-просту не может. Если его нет, она его создаст. На эту тему можно привести массу примеров, включая курьезные, когда совершенно ничтожные явления воспринимаются как серьезная угроза – муха вырастает до размеров слона. Власть в России постоянно пребывает в напряжении, постоянно чего-то боится. Из чувства опасности со стороны она постоянно мимикирует, копирует внешние образцы, чтобы скрыть свою примитивную природу. Конечно, правители хотят выглядеть и цивилизованными, и современными. Но это не меняет сущности власти. Я даже употреблял такой термин: государство-хамелеон, государство-симулякр. К этому остается добавить, что, если внешний кризис срезонирует с кризисным ритмом российской истории – последствия будут катастрофичными.

?

И.И. Глебова: Вы сказали, что власть (такой тип власти) постоянно находится в напряжении, не может существовать без образа врага. Но ведь запущенный властью образ врага находит какое-то встречное – изнутри социума – напряжение. Можно ли сказать, что властный образ врага не может существовать без типологически подобного народного образа врага – и наоборот? То есть это общие, объединяющие образы, позволяющие говорить о единстве социальной природы, о внутреннем подобии власти и народа? Ведь народ тоже все время в напряжении, чего-то боится и способен мимикировать. Что это – одноприродные явления или власть симулирует эту одноприродность? У нас ведь все время говорят: всё власть, власть плохая, она ведет – и известно куда заводит. И из этой ситуации совершенно вытеснен народ: он пассивен, объектен, безвинен. А вся Ваша «Красная смута», Владимир Прохорович, – она о народе¹. И очень он некрасиво выглядит в той смуте, страшно, я бы сказала. И в 90-е, уже в другой смуте, он выглядел некра-

¹ Речь идет о книге В.П. Булдакова «Красная смута: Природа и последствия революционного насилия» (М.: РОССПЭН, 1997; 2-е изд. – 2010).

сиво. Так вот, мой вопрос: властные и народные образы врага – это единая система? И как такие образы формируются – снизу или сверху?



В.П. Булдаков: Образ врага, конечно, формируется и снизу, и сверху, иначе быть не может. Он и без того постоянно присутствует внизу, в традиционном сознании. Наше «общество» (социальное пространство) до сих пор традиционно, в этом ничего самоуничтожительного нет. Японское общество, к примеру, куда более традиционно, но оно высокоорганизованно, причем формируется на совершенно иных, неевропейских основаниях – через организацию пространства и этатизацию семейных связей. Это куда ближе патерналистским «идеалам». У нас такого нет. В любом традиционном или посттрадиционном обществе в большей или меньшей степени доминирует так называемое синкретичное сознание, в котором рациональное и магическое не отделены друг от друга. Отсюда образ врага, всегда изоморфный нечистой силе. Наше массовое сознание – это питательная среда для постоянного воспроизведения образа «чужого». Если образ врага в нужный момент подсовывается властью, большинство готово проявить себя в рамках известного сценария: «Не читал, но знаю». В этом ничего удивительного.

Относительно того, что в моей «Красной смуте» народ выглядит не очень прилично... Ну, кто и как в это дикое время будет прилично выглядеть? Одиночки-идеалисты? «В революции в человеке просыпается не только зверь, но и дурак» (П. Сорокин). И во все не удивительно, что на этом фоне произрастают самые «светлые» утопии. Синкретичное сознание это допускает – более того, требует существования рядом с Богом дьявола. Все это естественно и закономерно.



А.С. Сенин (ИАИ РГГУ): У меня два вопроса, разных. Вы, наверное, знаете, что Герберт Уэллс писал о России: если бы любая европейская демократическая страна оказалась в таких условиях (внутренних и внешних), как Россия, то правительство действовало бы точно так же. Я хотел просто комментарий услышать.

И другое, самое главное. Когда мы говорим – власть, то подразумеваем, что это какие-то конкретные люди. И мы видим, что накануне смут всегда появлялись люди из окружения власти, из

бюрократии, которые четко предсказывали, как будут развиваться события. Так, например, накануне «смуты 90-х» собрались хозяевственники в Алма-Ате и буквально по месяцам расписали, как все будет происходить. Все так и случилось. Почему власть к своим не прислушивается, к своему кругу? Понятно, что людей из оппозиции можно проигнорировать. Но ведь свои же предупреждают, часть этой же элиты.



В.П. Булдаков: Начну с проблемы предсказаний. Наша власть, конечно, обладает колоссальной инерционностью (под стать нашему собственному сознанию). Ну, допустим, сценарий дурного развития убедительно предсказан. Но что делать? И тут выясняется, что механизма ухода с предсказанного пути к определенному моменту уже не существует.

Да, сценарий 1917 г. был предсказан, все его знали. Во времена Горбачева было то же самое. Его предупреждали, но он гнул свое: мы на правильном пути, альтернативы нет, «верной дорогой идете, товарищи». И это не просто череда «мистических» совпадений. Действуют механизмы, слишком сложные для наших нынешних аналитических возможностей. Но можно сказать, что к определенному моменту власть уже не знает, как уйти от опасности, как объехать камень или мину на «верном» пути. Да и не может. Возникает ситуация «кролик перед удавом». Это состояние ступора власти, психосоциальный механизм которого для меня не ясен.

Что касается правительства (имеется в виду демократическое), которое действовало бы в определенных обстоятельствах на манер большевиков... Ничего удивительного: демократическая власть вырастает из более примитивной системы, и в «туниковых» обстоятельствах, которые люди постоянно создают, требуется откат назад. Другое дело, что демократическая власть умеет себя ограничивать, лишь временно усиливая свою авторитарную составляющую. Выход из кризисной ситуации бывает примитивным, по преимуществу силовым, это естественно. Но, если в авторитарной системе на это согласятся из незнания иного выхода из кризиса, то в демократическом обществе авторитаризм терпят как нечто временное – вроде горького лекарства. Там возврат к демократии происходит словно сам собой. Напротив, наша система постоянно производит новые формы авторитаризма или оттачивает старые. Вот так я мог бы ответить на этот вопрос.

• **Ю.И. Игрицкий (ИНИОН РАН):** У меня два вопроса. Один относится к ключевой, важнейшей теме – место России в мире. Один из аспектов темы – влияние мира на Россию. Собственно, этот вопрос уже был озвучен и на него дан ответ. Второй, еще более важный аспект этой темы – соотношение, взаимосвязь процессов, которые происходят в России и в мире. Это проблема аналогов, которую Вы затронули, сказав, что в мире мало аналогов Российскому государству и общества у нас не было. Стало быть, было то, что условно можно назвать биомассой или чем-то еще, но это совсем не то общество, которое знает европейский мир. Это вопрос концепций, терминологии. Вообще говоря, это важнейшая терминологическая проблема. Более конкретный вопрос: а есть ли в мире аналоги смуты? Ибо если государство Российское не имеет аналогов, если не было еще смут таких, как в России, то где же мы оказываемся? И настолько ли мы уникальные и особенные, что к нам нельзя применить никакие концепции и теории? Ведь если так, то теории революции и теории государства, которым нас учили, к нам просто неприменимы. Как быть?



В.П. Булдаков: Действительно, как быть с терминами, порожденными иной социальной средой, в наших условиях? Вопрос «значения значения» возникал всегда и везде в любой культурной, особенно кросскультурной среде. Надо обладать определенными ментальными навыками, чтобы в обстановке терминологического словоблудия не растерять реальные смыслы. Можно говорить «революция», а подразумевать русскую смуту; можно говорить «общество», зная, что настоящего общества нет. Это скорее проблема гибкости мозгов, нежели проблема понятийная. К сожалению, мы склонны «материализовывать» то, что относится к области идеальных типов. «Цены метафоры» мы не ощущаем.

Относительно аналогов в истории. По-моему, западное Средневековье дает массу аналогов российским смутам. Возьмем большевистскую революцию – намного ли она отличается от богомильского эксперимента или анабаптистской ереси? Всем известный Андрей Платонов в сущности описал русскую революцию на языке анабаптистского экстремизма. Такие метафоры оправданы применительно к любой взбесившейся (с помощью утопии) архаике. Духовных «аналогов» русской революции очень и очень много, особенно применительно к западной истории XII–XVI вв. Другое дело,

что надо постоянно иметь это в виду и мысленно корректировать понятия, которыми мы обычно оперируем. Вот и все.

?

А.В. Гордон (ИИИОН РАН): А почему аналоги только средневековые? А Новое время? Французская революция – это не аналог?

 **В.П. Булдаков:** Русскую революцию постоянно сравнивали с Французской. Я пытался делать то же самое. На мой взгляд, Французская революция куда более рационалистична и целинаправленна. Различные сословия выстраивали свои собственные «революции», они куда лучше знали, чего хотят, и, главное, куда меньше надеялись на власть. При всей близости утопий верхов разница между конкретными лозунгами французских и российских низов весьма существенна. Во Французской революции идея нации совершенно не случайно родилась из перетряски сложившихся сословий. Напротив, российская революция – это смена декораций, прикрывающих тело традиционной империи. Убрали негодных помещиков и чиновников, дали землю крестьянам. Что изменилось? Советская номенклатура, как и колхозное крепостничество, – явления знаковые.

?

И.Л. Беленький (ИИИОН РАН): Разве интеллигенция не входила в состав служилого сословия?

 **В.П. Булдаков:** На мой взгляд, совершенно не случайно в советское время интеллигентов причислили к служащим. Рядом оказывались и парикмахеры, и официанты, и чиновники, и просто образованные люди. Так было удобно власти. На деле интеллигенция постоянно отпочковывалась от слоя образованных людей. И она по-прежнему делает это вопреки власти и даже собственному желанию. Тот, кто пытается мыслить независимо (независимо от образования), уже рискует оказаться интеллигентом.

Ясное дело, писатель, который сочиняет романы, не принадлежит к чисто служилому сословию. Точнее – он не вполне служащий, ненадежный служащий, «потенциальный Пастернак». Я как-то писал, что интеллигент в России «челночит» между двумя состояниями: от наемника власти, восхваляющего ее с кафедры государственного вуза, до собственно интеллигента, пьющего чай на

кухне и от души поносящего ту же самую власть. На службе он делает то, что ему положено, пусть ругая начальника, который заставляет это делать. Вернувшись домой, он превращается в «настоящего» интеллигента, который начинает обличать весь существующий строй, а не просто начальство. Очень известное состояние. Власть иногда это использует, ничего удивительного, так бывало всегда. Приглядев некоего «диссидента», сделает его губернатором, глядишь, получится неплохой служилый человек, который своих бывших товарищей быстро и умело скрутит в бараний рог. Обычная история, к сожалению. Но часто бывает наоборот: кому-то в известное время начинает надоедать служить негодной власти – сановник становится дисидентом.

?

В. Аксенов (МИРЭА): Вы в своих тезисах сказали о повторяющейся революции (или смуте). Вносит ли при этом российская история в каждую новую смуту что-то принципиально иное? И если что-то новое появляется, есть ли смысл у смуты и в чем он? На кого смута направлена? Кого она должна чему-то научить – власть, общество, какие-то средние слои?



В.П. Булдаков: Что касается истории – не только нашей, но и вообще, – то, на мой взгляд, это обучающий процесс. Она «учит», но не находит достойных учеников, умеющих правильно прочесть предложенный текст. Во всяком случае – нужного их количества. И до сих пор история мало чему научила. Научит ли че-му-либо в будущем – трудно сказать. Человеческий век очень короток – большое историческое время воспринимается с трудом. Существует наивная психологическая убежденность, что каждый живет в «особом» времени. Как вообще в быту руководствоваться критериями и понятиями большого исторического времени? Онтологически это кажется неразрешимым. А потому мы постоянно наступаем на грабли, притаившиеся в траве забвения. Не только мы, в России, – все и везде. Не хочешь получать по лбу – учись, учись и учись. Ленин правильно сказал. На мой взгляд, это единственное, что он сказал выдающегося. Разумеется, если убрать из известной фразы слово «коммунизм». Но как освоить весь предыдущий опыт человечества, если герменевтике в школе не учат?

? **В.П. Любин (ИИОН РАН):** В самом начале своего замечательного доклада Вы назвали параметры системного кризиса, который, наверное, представляет собой перманентное явление в российской истории. Естество берет свое, как тот же самый Андрей Платонов, процитированный Вами, сказал.

В отношении кризиса Вы предложили следующие определения: врожденный, случайный или заговор. Из вашего доклада получается, что врожденный. Значит, если говорить о 1917 г., мы отмечаем элемент случайности? Т.е. Ленин – это не случайная фигура и слишком просто все объяснить заговором, «золотым немецким ключом» большевиков?

И второе. Правда, коллеги уже задавали эти вопросы. Конечно, Россия существует не в пустоте, не в вакууме, поэтому интересен сравнительный анализ. Есть же сравнительная политология – можно и сравнительную историю методологически подключить к объяснению феномена революции. Скажем, бельгийская революция 1930 г., отделение Бельгии от Нидерландов – очень похожее явление. Или феномен патернализма, присущий европейским государствам – скажем, той же Италии, особенно южной ее части (в северной – другая история). Вот, в Италии сейчас очень моден роман «Gomorra», где весь этот патернистский контекст освещается. Наверное, скоро и до нас дойдет – частями он уже опубликован в «Иностранной литературе». Это анализ литератора – как существует и действует современная экономика, но анализ социологически очень интересный. Фильм по этой книге, кстати, уже какой-то первый европейский приз получил. Вот, интересно посмотреть, как в других странах задействованы те же самые патернализм и другие параметры, провоцирующие кризис. Как Вы думаете?



В.П. Булдаков: Я могу прокомментировать все это очень просто. Наши мозги устроены по «принципу узнавания» – обращаясь к чужому опыту, мы находим больше аналогий, чем их существует в действительности. К тому же мы всегда скользим по внешней канве событий – аналогии оказываются поверхностными. То же самое относится к сфере соотношения случайного и закономерного. Я всегда говорил, что закономерность напоминает о себе через случайность. Случайность – это намек на возможность расшифровки всего сущностного текста истории. Случайность, что Ле-

нин родился во вполне благополучной семье (мгновенно ставшей неблагополучной)? Скорее это не случайно, а символично. Он был востребован российским хаосом в качестве разрушителя, хотя от рождения ему было написано, казалось, совсем иное. На очень короткое время был востребован и Троцкий, человек также из состоятельной семьи. Оба они не столько маргиналы, как диссиденты, — люди, «отвязанные» от своей среды. В определенные времена едва ли не всех «среда заедает», в другие — появляется целая туча эмоциональных разрушителей окружающего социального пространства. За ротацией случайных, на первый взгляд, революционных лидеров (которые в своей среде смотрятся вовсе не случайно) скрывается некий объективный процесс.

Из этого возникает простой, но для нас «вечный» вопрос: а куда отнести заговорщиков и заговоры? Они всегда существуют, сомнений нет! Ну и что? План какого-нибудь антиправительственного заговора можно сочинить хоть сейчас. И что из этого получится? Киносценарий? В истории настоящие заговорщики должны быть востребованы (правда, тогда они уже больше не заговорщики). Перед Февральской революцией Россия кишила слухами о заговорах, но это было пустое сотрясение воздуха — крах подобрался к династии совсем с другой стороны. Тем не менее *нашему сознанию нужны коварные, вездесущие и всемогущие злодеи, как дикарю нужна нечистая сила*. Именно поэтому мы готовы из ничтожной фигуры исторически бесхозного инсургента сотворить всесокрушающее инфернальное существо. Я сам бы охотно подался в конспирологи (в нашей одурелой среде это выгодное занятие!), если бы не был убежден, что за любой конспирологической «теорией» революции стоит доисторический испуг троглодита перед непонятным для него окружающим миром. Такова врожденная особенность, если не родовая травма нашего сознания. Пора от этого избавляться. А желающих перевернуть мир всегда хватает — человек так устроен.

Относительно исторических «пережитков» или «возвратов» патернализма везде и повсюду. Они неизбежны, как неизбежны откаты от цивилизационных (в том числе и формально-демократических) «переусложнений» к простым и более понятным отношениям власти–подчинения.

? С.А. Королев (*Институт философии РАН*): Можем мы более жестко дифференцировать государство и власть? И нужно ли это делать? Понятно, что это дело непростое. Естественно, любая власть стремится идентифицировать себя с государством. Это совершенно очевидно. Но в российской истории мы можем определить несколько точек, где очень четко фиксируется противоположность интересов власти и государства. Я назову три таких точки: опричнина, т.е. разрушение государства гипертрофированной властью, затем Ленин с Брестским миром и гипотетически, может быть, начало 1990-х, когда власть сумела сохранить себя ценой разрушения государства. Последнее гипотетично, поскольку это еще слишком близко, т.е. пока не история. Я могу предположить, что революция, помимо всего, – это отношения государства и власти. И в рамках этой темы, как мне кажется, есть какой-то исследовательский резерв. Для меня важна дифференциация этих вещей. Вот, Владимир Прохорович <Булдаков> говорил о пространстве власти. Но для меня этот термин имеет смысл только в том случае, если мы дифференцируем государство и власть. Потому что пространство власти – это территория, стратифицированная технологиями. В России это, прежде всего, локализация. Крепостное право – это технология локализации, которая применена на местности.



В.П. Булдаков: Даже и не знаю, с чего начать. В российских условиях четко дифференцировать власть и государственность довольно сложно – в действительности все очень зыбко. Именно потому от сложностей реальной жизни мы зачастую прячемся за всевозможные абстракции и антитезы. И тем не менее я согласен, что за властью и государством даже у нас стоят более или менее фокусируемые смыслы. Если власть – это в основном ощущение силы, то государство – это главным образом технологии управления. Сравните английские *power* (сила, мощь, власть, держава) и *state* (состояние, положение, государство). Разумеется, эти понятия и у нас являются разноплановыми: проще сказать, что со времен князя Потемкина мы имеем власть-театр и власть-аппарат. Но во времена, о которых идет речь, власть обычно воспринимается как идеал, а государство как ее несовершенное (и даже негодное) воплощение. Я не берусь судить, насколько власть и государство разошлись во времена опричнины – в конце концов, я не

специалист по этой теме, а историков, которые бы четко ответили на этот вопрос, я не знаю. Но, боюсь, если бы мы заглянули под черепную коробку Ивана Грозного, у нас пропала бы охота разделять власть и государство. Мне кажется, что с точки зрения тогдашней власти опричнина была технологией укрепления государства. Это сегодняшним правоведам может показаться, что для тогдашней власти это был чистый раздрай, нелепость.

Надо учитывать и то, что в основе смуты, о которой я говорю, лежит синергетический процесс «смерти-возрождения» системы. А уместно ли самоорганизующийся хаос описывать на языке формально-юридических понятий?

Позволю себе несколько подробнее остановиться на ситуации Брестского мира. Возможно, это и есть пик русской революции: бунтующий охлос напоролся на российское историческое представление о власти. Конкретной же революционной власти (кстати, и в большевистском ЦК и СНК сидели одни и те же люди) пришлось решать уравнение с многими неизвестными. Ленин сделал ставку на сохранение государственности (и собственной власти) любой ценой. Идея власти с идеей мировой революции здесь основательно разошлась. Возможно, Ленин и Троцкий были уверены, что Германия непременно проиграет. Что делать в таких условиях: продолжать держаться затратного курса на мировую революцию или очертировать пространство собственной власти, т.е. не просто сохранить, но и усилить ее в тех же самых глобалистских интересах? К тому же надо учитывать, что тогдашняя власть мыслила себя не в категориях государственности, какого-то механизма – она ощущала себя в ином (революционно-разрушительном) измерении. Конечно, Брестский мир – важнейшее событие русской революции.

Что касается современности, то здесь гадать сложно. Во всяком случае, я не взялся бы утверждать, что власть сумела сохранить себя ценой разрушения государства. Можно сказать по-другому: для нашей власти государство – это аппарат ее самообслуживания, с которым можно поступать соответственно («назначенчеством»). Современный российский правитель может быть крайне недоволен (на манер Ленина) аппаратом управления, т.е. государством. И этот – весьма сложный и болезненный – конфликт возникал и возникает постоянно. Российская власть (вместе с подпирающей ее государственностью) сама по себе внутренне конфликтогенна, о чем я уже, кажется, говорил. Что касается жесткого

дифференцирования власти и государства, боюсь, такие схемы в нашем псевдополитическом пространстве познавательно малопродуктивны.

?

С.А. Королев: Вы сказали, что очень сложно говорить о современности. Мне-то кажется, напротив. Предположим, мы принимаем положение: государство – это в значительной степени система институтов, а власть – это система технологий. Тогда мы увидим, как на протяжении последних десятилетий демонтируется вся система государственных институтов, которая как-то связана с гражданским обществом: выборы, парламентские институты, партийная система и т.д. С демонтажем государственности гипертрофируется власть, укрепляется политический режим. Это же очевидно. И что здесь такого сложного, о чем нельзя сказать достаточно определенно?

 **В.П. Булдаков:** Я только и делаю, что доказываю: наша власть постоянно занимается одной и той же процедурой – пилит сук, на котором сидит, полагая, что «укрепляет вертикаль». Откуда такие самоубийственные замашки? Как такое может быть? Может потому, что государство (аппарат), построенное сверху, всегда будет стремиться действовать в своих ближайших интересах. От однообразия процедуры постоянного обмана и самообмана, конечно, можно свихнуться. К тому же власть также предпочитает самообслуживание, полагая, что это вернейший способ служения интересам народа. Все точки недовольства могут сойтись на государстве. Наши правители говорили и говорят: «Аппарат у нас негодный!». Совершенно так же рассуждают обыватели по поводу чиновников. Строго говоря, и правитель, и народ хотели бы общаться без посреднического аппарата. Почему, откуда сей парадокс? Потому, что наша система, вновь подчеркну, выстроена *сверху* на крайне примитивных основаниях. Обществоведы, описывая ее на языке современных социологических понятий, занимаются самообманом.

И.И. Глебова: Коллеги, мы подменяем вопросы обсуждением. Давайте, завершим один этап работы, а потом перейдем к другому. Предлагаю выяснить, есть ли еще вопросы.

?

В.М. Шевырин (ИНИОН РАН): Доклад Владимира Прохоровича <Булдакова> имеет свои достоинства, а о его недостатках я могу сказать только самое хорошее. Он в лучшем смысле слова провоцирует на размышления. Поэтому, вероятно, задавалось так много теоретических вопросов. Говорят, нет практики без теории. А последняя потому нас так тревожит, что практика «достает». Однако я вернусь к конкретике, к близкой мне теме. Мне очень импонировало то, что Вы упомянули Земский и Городской союзы. Это огромный пласт конкретной истории. Мне хотелось бы услышать, какую роль сыграли Земский и Городской союзы в той страшной катастрофе, которая произошла в 1917 г. Мне приходилось читать западные газеты того времени. Англичане, например, говорили: если бы у нас были такие Земский и Городской союзы, если бы вся власть поднялась до таких высот, которых достигла российская общественность, у нас все было бы иначе – мы гораздо раньше и с меньшим напряжением сил выиграли бы войну. Действительно, Земский и Городской союзы сыграли, на мой взгляд, огромную роль. Мне бы хотелось услышать мнение такого специалиста, как В.П. Булдаков, по этому вопросу.

 **В.П. Булдаков:** Мне следовало бы переадресовать этот вопрос Вам: из чего состояли бюджеты Земского и Городского союзов? Пожертвования – раз...

!

В.М. Шевырин: Государственные средства, действительно, играли самую большую роль. Но это еще ни о чем не говорит. Ответственные за распределение этих средств говорили, что готовы дать в десять раз больше, лишь бы Земские и Городские союзы строились на принципах гражданского общества. Ведь это давало возможность создать административную систему, которая пользовалась бы автономией и была независима от губернаторов и пр.

 **В.П. Булдаков:** В своем ответе я могу опираться на труды самого В. Шевырина и еще, пожалуй, на работы нашего японского коллеги К. Мацузато. Последний детально проследил, как разрастался этот «гражданский» бардак. У меня несколько иной ответ на этот вопрос. Мне кажется, обладай Земский и Городской союзы много большими, а главное, не казенными средствами, тогда можно было бы говорить об альтернативе существующей государств-

венности. А поскольку было с точностью до наоборот... Любят ли у нас тех, кто дает деньги на какой-то проект? Деньги любят, но дарителей...

Стоило бы учитывать и еще один весьма специфичный момент. Мы постоянно говорим о земском и городском *самоуправлении*. Но ведь оно в действительности было частью *государственно-го управления*. Самоуправление у нас было довольно специфичным – целиком и полностью находилось под контролем государства. Утверждать, что эта система была огосударствлена, как, например, большевики огосударствили профсоюзы, конечно, нельзя, но сходная тенденция ясно просматривается. Всю общественную самодеятельность государство всегда старалось поставить под собственный контроль и доводило это до абсурда. Земские и городские деятели прекрасно понимали, с кем имеют дело.

Со своей стороны, министры, которые давали деньги «общественности», искренне считали, что в союзах сидят либералы, заговорщики, антигосударственники – они ненавидели тех, с кем вынуждены были сотрудничать. В такой обстановке общественники, конечно, начинали работать против бюрократов, используя государственные деньги.

?

Ю.С. Пивоваров (ИНИОН РАН): У меня два вопроса.
Вы сформулировали тему доклада «Революция как проблема российской истории». При этом говорили в целом и о российской истории, и о наших революциях. А что, вся русская история настолько едина и неизменна, что о ней можно говорить как о некой постоянной «величине»? Если она не менялась, тогда истории, собственно говоря, нет. Без изменений вообще ничего нет. О чем тогда говорить? Если все обусловлено и изначально циклично – революция и смута (имеются лишь какие-то разные их формы), – то что, собственно, тогда изучать? Мы ведь все уже знаем. Так ли это? Вот, говорят в ряд, через запятую: опричнина, Смутное время, смута 1917 г. – это что, всё одно и то же? Мой вопрос: меняется ли все-таки что-то в русской истории?

Второй вопрос, более мелкий. Революции в нашей истории – что, тоже одинаковые? Для меня, например, 1905 г. и Февраль 1917 г. – совершенно разные революции. А Октябрь 1917 г. – это вообще что-то совершенно другое. А когда, кстати, еще была рево-

люция в России? Имеет ли смысл вообще говорить о революции как вечной проблеме российской истории?

Причем революция – это же довольно опасный термин. Вот, мы сегодня говорили о государстве и власти. А почему государство должно быть парламентским или демократическим? Это касается и революции – на каком основании мы называем одним словом совершенно разные явления? Что тогда революция? Если революция – всегда одно и то же, зачем ее изучать – мы же знаем все. История и революция – это вечные и определенные формулы. Все. Вот, как Вы – Владимир Прохорович Булдаков, так русская история и революция – просто данность. Точка, приехали – просто не о чем рассуждать, нечего изучать. Заметьте: эти вопросы я задаю автору «Красной смуты» – не просто лучшей русской, но и вообще лучшей книги о революции.

?

И.Б. Чубайс (РУДН): Я из Центра по изучению России РУДН.

● Не могли бы Вы выделить хотя бы два типа революций? Если пользоваться Вашей терминологией, получается, что один тип – это смута: государство нормально работало, но вдруг произошел какой-то сбой, и механизм понадобилось подтолкнуть. Вот, прекратилась династия Рюриковичей, а Романовых еще не было, – нужно было их избрать. Второй вариант – когда государство перестает работать; его не подталкивать надо, а производить какие-то радикальные изменения. Тогда то, что происходило в 1917 г., – это не продолжение того, что было. Вероятно, нужна была глубокая реформа, либо полный разрыв с прошлым. Если, конечно, не было альтернативы. На мой взгляд, была: если бы Столыпин (как явление) «победил», мы бы жили в другой стране.

 **В.П. Булдаков:** Юрий Сергеевич <Пивоваров>, в ответ на Ваш вопрос о том, что менялось и не менялось в результате революции, мне проще было бы процитировать М. Волошина (<Северо-Восток>). «Знаки и заглавья» менялись – так и было. Я с ним солидарен. Возможно, он – безответственный поэт. Тогда я – безответственный исследователь. Но почему обществоведы имеют обыкновение убегать от метафор? Вероятно, потому, что они выходят за рамки их аналитических способностей. У нас постоянно меняется форма, но что касается существа... Конечно, проще верить в то, что форма соответствует содержанию. Но не принимаем

ли мы при этом всерьез очередную «потемкинскую деревню»? Конечно, *трудно поверить, что все мы находимся (пока) во власти традиционной цикличности, хотя ее внешние проявления различны*. Менялись и меняются лозунги, но надо ли их прочитывать буквально? Российские смуты надо изучать и изучать, а мы вместо этого подменяем их хаотичные реалии химерами собственного (политологического, как раньше марксистского) воображения. Лицо мне кажется, что *во всех российских смутах куда больше сущностного сходства, чем внешних различий*.

Конечно, хотелось бы верить, что мы сами все-таки меняемся – это единственная гарантия качественного развития. Однако исследователь былой смуты, пережив очередную смуту, вряд ли поверит в ближайшую возможность принципиальных политических изменений в России.

Что касается типов революций… В школе я учил, что бывают революции буржуазно-демократические, но лучше их – социалистическая. Занявшись изучением и той и другой, я понял, что события 1917–1920-х годов укладываются в некий единый процесс «смерти-возрождения» империи – нечто подобное случилось в XVII в. Падение самодержавия можно назвать той «точкой невозврата», после которой Октябрьская революция сделалась практически неизбежной. Впрочем, это даже Солженицын заметил.

Другое дело, что этот процесс мог развернуться по-разному. Не будь, к примеру, выступления Корнилова, спровоцированного самой властью (как Горбачев своим поведением спровоцировал ГКЧП), возможен иной вариант раскрутки событий. Ясно, что после Корнилова непременно должен был прийти Ленин (как после ГКЧП – Ельцин). Кстати, и в том и в другом случае многие это видели и понимали.

? **М.С. Пальников (ИНИОН РАН)**: Каковы, с Вашей точки зрения, наши перспективы – Ваш, так сказать, прогноз на воспроизведение русской смуты? Почему я задаю этот вопрос? У нас очень плохая демографическая статистика – вымирает население. Официально – примерно 750 тыс. человек в год. В то же время все ведущие кардиологи страны утверждают, что смертность только от сердечно-сосудистых заболеваний составляет миллион триста человек в год. Это существенная разница. Так или иначе население

стремительно исчезает. Появится ли в ближайшее время какая-то критическая масса, чтобы еще какую-то бучу устроить?

 **В.П. Булдаков:** Относительно «плохой» демографии хотел бы заметить следующее. Тут есть, чем себя утешить. После Гражданской войны последовал резкий рост рождаемости, хотя очень заметно выросла и суицидальность населения. То есть социальная среда ответила на потери и стрессы Гражданской войны действием неких компенсационных механизмов. Как они работают – ответа нет до сих пор. Между прочим, последствия революции (смуты) надо искать и в демографическом измерении. И они могут оказаться весьма неоднозначными. Ну, а нынешняя российская демографическая проблема – это часть проблемы всей современной цивилизации. Как ее решить, не знает никто, хотя создаются объемистые сочинения о том, как повысить рождаемость в России (мне они кажутся сборниками благих намерений). На что здесь уповать – я тоже не знаю. Вероятно, на естественные репродуктивные процессы – народ России пока не созрел для социального хосписа. Ждать от власти, что она будет вести стимулирующую демографическую политику, увы, не приходится. Формально она может проводить те или иные «правильные» мероприятия. Дело, однако, в том, что сейчас наступило время, когда она (в отличие от прошлого) стала независимой от количества и качества людей, которыми управляет. Объективно ей нужны только «мартышки», которые будут качать нефть, и «обезьяны», которые будут охранять трубу, по которой она потечет в обмен на продовольствие. Вот и все. Я об этом уже писал.

Казалось бы, воспроизвести очередной виток русской смуты некому. Но это не совсем так. Современная власть слишком «истончилась», несмотря на привычку «топать ножкой». К тому же власть у нас не столько свергают, как она рушится сама.

И.И. Глебова: Коллеги, мы все время срываемся в обсуждение. Давайте не будем себя ограничивать и наконец перейдем к нему. У кого-то есть реплики, суждения?

 **И.Б. Чубайс:** Я по поводу Брестского мира. Это не мое открытие – это совершенно четко установил профессор Базаров. В чем причина Брестского мира? Россия была обречена на победу,

потому что Антанта выиграла войну. Даже если бы Россия ничего не делала, – она все равно выиграла бы. То, что сделал Ленин, – это государственное преступление. Почему он это сделал? Две причины. Одна – откат немцам: он получал от них деньги и надо было что-то отдать им. А вторая причина в том, что Россия совершенно не принимала большевизм. Выборы в Учредительное собрание это показали: большевики на выборах проиграли. Опросы в армии свидетельствуют: несмотря на бесконечную пропаганду, армия не поддерживала большевиков. Две трети было против.

Армия угрожала не немцам. Она была угрозой Ленину, поэтому ее следовало распустить и создать новую, рабоче-крестьянскую Красную армию. И по Брестскому миру Россия должна была распустить армию (хотя реально приступила к этому еще до него).

?

С.В. Беспалов (ИНИОН РАН): У меня полу вопрос-поправка. Вы закончили свое выступление, сказав: если у нас когда-нибудь закончится смута, это будет связано с изменениями на клеточном уровне. С этим сложно спорить, если понимать общество на органическом уровне, как, судя по всему, Вы его понимаете. Но если фиксировать любой момент истории развития этого организма, мы, наверное, сможем увидеть какое-то количество клеток, которые пытались перерождаться, но отторгались системой. В начале XX в. таких переродившихся клеток было много. И, может быть, если бы не случилась Первая мировая война, процесс перерождения принял бы необратимые формы. Как Вам кажется, что необходимо, чтобы по новой запустилось клеточное перерождение?

!

В.П. Булдаков: У меня нет таких рецептов.

?

А.А. Ильюхов (Государственный университет управления): Я тоже занимаюсь проблемой революций, – в частности Октябрьской и вообще 1917 г. И пришел к выводу, который, собственно, не является открытием: в 1917 г. никаких двух революций не было. Я взял еще лет 15 назад, сопоставил события Французской революции и посмотрел динамику революции российской. Мне показалось, что это совершенно одинаковые процессы. Что касается внутренней динамики, то она идет справа налево. Теперь о событиях Октября 1917 г. – была ли там альтернатива. У

государства альтернативы не было – только диктатура: левая или правая – монархическая или военная. Скорее, даже военная, учитывая, что здесь были реальные силы. Вообще внутренняя диалектика революции прослеживается везде, хотя, конечно, обстоятельства разные. Например, между Жирондой и якобинцами – четыре года, а у нас между Февралем и Октябрем – всего шесть или семь месяцев. Так вот, я считаю, что была одна Великая революция 1917 г. Как ваше мнение, Владимир Прохорович?



В.П. Булдаков: Я согласен – в 1917 г. была одна революция, которая вписана в более масштабный цикл смуты. Кстати, хотелось бы продолжить ответ на вопрос о Брестском мире. Я, конечно, завидую Игорю Чубайсу. С Брестским миром ему все ясно. А мне – нет. Деяния прошлого нельзя судить по современным законам.

Легче всего сказать, что Ленин совершил предательство из самых низменных (наиболее доходчивых для массового сознания) побуждений и горько сожалеть, что из-за него мы хороший кусок победителей в мировой войне для себя не оттяпали. Но он исходил из совершенно других, не всем нам известных, как оказывается, побуждений. Еще последний военный министр Временного правительства признал, что армия воевать больше не может. Даже те солдаты, которые еще не сбежали с фронта; ударники также не могли противостоять немцам. Впрочем, Брестский мир состоит из многих неизвестных. Взять хотя бы проблему левых эсеров и левых коммунистов – они вели себя как «государственники»-самоубийцы, подталкивая Ленина и Троцкого к затягиванию (бесперспективному, как видно сейчас) переговоров. У нас забывают и о таком неожиданном и для Ленина, и для Вильгельма факторе, как украинская Центральная рада. Если уж говорить о «предательстве», то его, скорее, совершила она, а не Ленин. Хотя на деле все руководствовались логикой выживания в самими же затяянном хаосе.

Возможно, Ленин учитывал и другое: ту «разложившуюся» силу, которая работает на разрушение системы, нельзя повернуть вспять. Она помимо бегства с фронта способна только грабить и мародерствовать. Единственный способ умиротворить стихию – дать ей выдохнуться. Звучит цинично, но так и было. Разрушительные силы начали работать на самоистребление. Во Французской революции случилось то же самое; это общая социально-

психологическая проблема, а не вопрос о принципиальном сходстве двух революций. В конечном счете, власть выиграла от того, что маргиналы и диссипанты обескровили друг друга. Все это звучит не очень вдохновляющее, но случилось именно так.

И.И. Глебова: Еще какие-то мнения, вопросы?

 **О.Ю. Малинова:** У меня – короткая реплика в порядке дискуссии, которая в какой-то момент возникла при ответах на вопросы. Был задан вопрос о понятиях, к которым мы прибегаем для описания. В ответ было сказано: западными понятиями можно пользоваться с известной долей условности, как бы подставляя значения. *Мне кажется, что понятия – это очень большая проблема. Я не согласна с прозвучавшим тезисом, что эта проблема не онтологическая. На мой взгляд, совсем наоборот.* Вот посмотрите: у нас есть всего два варианта для описания, а иного инструмента, кроме как найти слова и описать, у нас нет. Один вариант – это использование языка, на котором говорили участники событий: мы можем фиксировать тот язык, анализировать наши наблюдения и с помощью этих методик попытаться что-то понять. Второй способ – мы можем попробовать изобрести какой-то «наш» язык, основанный на неких абстракциях.

Здесь что-то говорилось о непригодности для нас того языка, который изобретен западной наукой. Но мы все равно им пользуемся. Это одно. Другое: давайте посмотрим, что получается, когда мы пытаемся обойтись без этого. Описывая события в России, мы очень активно используем язык метафор, причем эти метафоры, я бы сказала, двоякого ряда. Метафоры органического ряда – это метафоры антропоморфные: мы рассуждаем о процессе, как бы проходившем с живым существом – приписываем ему какие-то поведенческие практики, рациональность и описываем намерения, интенции. Второй ряд – это метафоры, которыми мы пользуемся, рассуждая как бы о стройном механизме со встроенным интеллектом. В том и другом случае мы пользуемся очень уязвимым языком: он не объясняет, а скорее, затуманивает очень многие вещи, не давая нам их понять.

Больше всего меня настораживает, когда мы начинаем рассуждать о социуме, т.е. большом количестве людей, по-разному проживающих свои жизни, так, как будто это один человек, какое-

то одно существо. Я – историк по образованию, но политолог по принадлежности к профессиональному научному сообществу. Я понимаю всю уязвимость западноевропейского языка, но в нем все-таки есть рациональность: когда западноевропейская наука рассуждает об обществе, она исходит из того, что общество – это сложносочиненный организм, состоящий из отдельных индивидуумов, групп, слоев, страт. Эта логика кажется мне более правдоподобной. Даже на обыденном уровне не может быть так, чтобы такой сложный субъект, как Россия, мог исчерпывающе описываться языком органических антропоморфных метафор. Все гораздо сложнее устроено и надо искать слова для описания, адекватные этой сложности.

Мне кажется более оправданным и разумным осторожное пользование языком западноевропейской социальной науки, чем создание собственного языка. Мне, правда, это упражнение не очень близко. Я занимаюсь иным: наблюдаю за языком, на котором и с помощью которого люди осмысливали происходившие события. Так действительно можно кое-что понять, хотя и эта методика ограничена.

В конечном счете, если мы говорим о россиеведении, т.е. об изучении этого социума, следует признать: есть проблема языка описания и она реальна.

И.И. Глебова: Есть еще желающие выступить?

!
И.Б. Чубайс: У меня реплика в дополнение предыдущего выступления. Все дело в том, что та социальная (точнее, псевдосоциальная) социологическая теория, которая была создана в СССР, совершенна ненаучна. И это закономерно: у нее была только одна задача – доказать победу коммунизма. Но когда Советский Союз рухнул, никто в ней не разочаровался.

!
Ю.С. Пивоваров: Уточняю. Не было задачи доказывать. Они же вещали от «лица» только им известной истины.

!
И.Б. Чубайс: Не буду спорить, но суть в том, что исходная установка была абсолютно лживая, иллюзорна. Однако когда система рухнула, никто не прибежал со своим академическим ди-

пломом и не сказал: все, мол, я ничего не понимал. Наоборот, сейчас все больше рассказывают, какие были успехи у советской философии и т.д. Конечно, нужна совершенно новая теория, новый подход. Кстати, в одной из последних моих статей я показываю, что в СССР не было социальной науки, а потому сложившиеся представления о нашей стране в XX в. совершенно неправильны.



Ю.С. Пивоваров: Смотрите, что сказал Игорь Борисович <Чубайс>: государство рухнуло, была лживая социальная наука. А ведь большевики предупреждали: государство отомрет. К слову сказать, не надо, господа, недооценивать большевиков. Они как раз выполнили все, что обещали: обещали разрушить церкви – и разрушили, обещали, что государство рухнет...

Я думаю, что и доклад Владимира Прохоровича <Булдакова>, и то, что сказала Ольга Юрьевна <Малинова> по поводу метафор, – все это вещи действительно очень серьезные. Ведь когда мы говорим о революции, нас переполняют эмоции, и эта избыточная эмоциональность нам мешает. Конечно, это естественно: революция всех нас так или иначе затронула.

Ольга Юрьевна <Малинова> ставит чрезвычайно важный вопрос: а как в самом деле это изучать? Вообще-то мы можем все загубить метафорами. Сказал же Владимир Прохорович <Булдаков>: для понимания революции читайте Волошина. Ну, будем мы читать Волошина – и ничего не узнаем о происходившем на самом деле.

Ольга Юрьевна <Малинова> предлагает изучать с помощью западных понятий. Но они ведь возникли не просто так. С их помощью описывается реальность, которую видят у себя западные ученые. Представим, что здесь, в России, такой реальности нет. Владимир Прохорович <Булдаков> сегодня рассказывал, что у нас не было (и нет) общества. То есть, по его мнению, характерной чертой русской истории является отсутствие общества. Кстати, странный путь: мы пытаемся понять нечто, констатируя его отсутствие, вместо того, чтобы говорить о том, что есть.

Мой тезис таков: нам нужен язык. Владимир Прохорович <Булдаков> написал совершенно восхитительную книгу «Красная смута». Все, наверное, читали. Но там, где он начинает строить концепцию, – там не получается. Ведь если в России все так цикличично, идет по кругу, в чем тогда проблема? Видимо, как-то иначе все происходит. Но для понимания этого «иначе» у нас нет инст-

рументария. Здесь еще раз подчеркну: мы также не можем описывать наше общество через констатацию того, чего у нас нет. Или заявляя: все другие общества меняются, а русское – нет. Я – бывший германист и могу вам ответственно сказать, что Германия на протяжении только XX в. очень сильно изменилась. Что же, с Россией все иначе?

Теперь к революционной теме. Да нет ничего общего между революциями 1917 и 1991 гг.! Там правящий слой гибнет, а здесь, наоборот, побеждает; он жертвует системой ради своего дальнейшего процветания. Не буду дальше говорить об этом, это совершенно другая тема.

Вернемся к началу XX в. Нам втемяшили, что революция 1905 г. была неудачной. А ведь все как раз наоборот. Но дело даже не в этом. Между той революцией и революциями 1917 г. нет почти ничего общего. Это различные типы социальных, ментальных и прочих событий. И Октябрь из Февраля прямо не вычитывается. У них различные исторические «биографии». А.И. Солженицын, кстати, не понял этого. Февраль стал громадной неудачей, всю вину за которую свалили на Временное правительство. А ведь в него вошли представители самого делового поколения русских интеллигентов и интеллигентов – самого умелого, прошедшего все эти Земские и Городские союзы, партии и т.п. Это были люди практики и дела. Но и они не сумели удержать вал «почвенной революции». Их задавил «век масс».

Все это нужно понять. А для этого необходимы адекватные языки, теория. Без этого мы постоянно будем оперировать метафорами. Игорь Борисович <Чубайс>, например, говорит о классах, пользуясь западным языком. Ну, не было у нас классов в западном смысле, не сложились они в России!

У нас другой тип сознания и реальность иная. Для нее нужен свой язык. На мой взгляд, задача центров, которыми руководят И.Б. Чубайс, И.И. Глебова и др., – попытаться найти, выработать свой научный язык, свой понятийный аппарат. Они будут приняты при условии, что сообщество с их помощью сможет что-то анализировать. Только те лекарства используются, которые приносят пользу.



О.Ю. Малинова: Юрий Сергеевич <Пивоваров>, Вы говорите, что понятие «класс» к России неприменимо. А ведь люди в

России его использовали для описания нашей социальной реальности и, оперируя им, меняли эту реальность. Это социальный факт. Потому-то мне и кажется возможным анализ языка, которым современники описывают свою реальность. Акцент делается на то, какой смысл люди того времени вкладывали в определенные понятия и, пользуясь ими, означивали реальность.

И еще несколько слов по поводу того, как приживается изобретаемый нами язык. Я не разделяю оптимизма Юрия Сергеевича <Пивоварова>. Наука – это тоже сообщество людей, определенным образом устроенное. Уважаемый докладчик говорил, что у нас не было и нет общества. Я, конечно, полностью этого мнения не разделяю, но, безусловно, некий дефицит социальности, о котором еще П.Н. Милков писал, имеется.

Это сказывается на организации и активности научного сообщества. Поэтому так актуальна задача выстраивания сообщества, налаживания необходимых для этого коммуникаций. Эту задачу мы все корпоративно должны решать. Без этого ничего не получится, какой бы язык мы ни изобрели.

 **И.И. Глебова:** Меня наше обсуждение наводит на довольно простую мысль: революция – чрезвычайно сложный объект исследования. Стратегии его освоения должны быть адекватны его сложности. Чем больше точек зрения, ракурсов описания мы находим, тем объемнее (стереоскопичнее) наше представление об объекте. И наличие разных, конкурентных языков описания объекта – это, скорее, плюс, чем минус. *Наша проблема – не в избыточности, а в недостаточности и упрощенности познавательных подходов.*

Революция остается проблемой и истории, и историков, и общества – в том смысле, что она остается непонятой и потому непонятной. На нее не выработан какой-то солидарный взгляд, отличный от советского. И дело здесь вовсе не в метафоризации языка описания революции, а в ее продолжающейся идеологизации. Социальная заданность исследовательской позиции приводит к тому, что процесс «добычи смысла» (т.е. понимания) этого сложного события превращается в процесс «убывания» (и даже «убивания») смысла. Порочны сами исследовательские стратегии, нацеленные не на понимание, а на упрощенную идеологизированную оценку революции. Это, с одной стороны. С другой – *взгляд на революционные*

события остается государственно- (или, скорее, власте-) центрическим – в противоположность антропоцентрическому. Наше понимание революции не центрируется на человеке. Мы почти не задаемся вопросом: способствовала ли революция свободному и позитивному самоосуществлению человека и гуманизации общества.

Революция – это в конечном счете не история неудачного, слабого царя и безответственных интеллигентов, падения доверия к власти и роста общественного активизма и претензий, не история «самораспада» монархии и «саморазвала» имперской системы. Это история того, как удержаться от всеобщего насилия, анархического торжества всех над одним и не допустить насилия над социумом, деспотического торжества одного над всеми. То есть *проблема русских революций (то, что их объединяет) состоит в том, как совместить порядок со свободой, не разрушив социальную организацию, культурные нормы и балансировки и не ушибив при этом человека, не «умалив» личность.*

Давайте попробуем с таких позиций взглянуть на пред- и постреволюционную Россию. Тогда николаевское самодержавие следует характеризовать не столько как аутичную («глухую», «слепую» и безнадежно тупую) власть, но как власть, вписанную в социальный порядок, который, по крайней мере, не мешал свободной самореализации и культурному росту личности. Это не насилищающая, не ломающая через колено, не культивирующая худшее в человеке власть. Доказательство тому – явление общественников: на закате эпохи Грозного или Петра I, не говоря уже о Сталине, реформаторы (как и заговорщики) не рождаются – это продукт либеральных порядков. И в этом смысле пугающим выглядит наше агрессивное (и какое-то даже брезгливое) неприятие Николая II на фоне возвеличивания Сталина. *Любовь к власти-насилию – это вырожденческий социальный проект.* Мы не способны отдать должное власти, «которой нет», – а ведь только с ней возможны диалог и компромисс, а на этой основе – рост общества в России. Этого и общественники не поняли, за что и были наказаны: они сбросили слабую николаевскую власть, а им «ответили» большевики с освобожденным народом (так декабристы восстали против «мягкой» власти Александра I, а рассчитался с ними Николай I).

Кстати, и на общественников (т.е. в широком смысле – на интеллигенцию) можно по-разному смотреть: как на «смутный» (антисистемный) элемент и на основной культурный, модернизацион-

ный потенциал системы. Ведь главный отрицательный итог революции – не «спад» государства и ужатие пространства, а уничтожение важнейшего традиционного слоя и образа жизни: системы ориентиров, норм, опыта и культурного запаса, которые нес в себе просвещенный, европеизированный, интеллигентный элемент. Следствием этого стал цивилизационный откат и закрытие многих прошлых социальных перспектив. Однако такой смысловой ракурс высвечивается, только если смотреть на революцию с антропоцентричной точки зрения.

Скажу несколько слов об иных ракурсах понимания революции и типологизации революционного процесса XX в.

Во-первых, очень сложно сравнивать позднесамодержавную и позднесоветскую эпохи. Ситуация в России накануне 1917 г. была прямо противоположна той, что сложилась в СССР к середине 1980-х годов. В начале XX в. речь шла о сохранении равновесия в рамках системы, признавшей универсалии западной социальной модели (рынок, частная собственность, ограничение власти, права и свободы человека) и осознавшей сложность, плюральность, противоречивость собственной социальности. Системным недостатком были неразвитость, незрелость общецивилизационных форм и процессов (иначе говоря, элементарная отсталость, бедность, культурная ограниченность). Из-за этого перспективы стабильности системы были чрезвычайно ограничены: внутренние конфликты или внешние угрозы могли легко разрушить новые и еще не очень эффективные институциональные рамки. В конце XX столетия СССР был поставлен перед необходимостью создания (а не воссоздания) таких форм и процессов, причем на качественно ином, более сложном цивилизационном уровне. Историческую рамку для инновационных задач создавало советское наследие: долгий опыт беспрецедентного для западного мира авторитаризма, подавлявшего все источники цивилизованного развития и требовавшего от населения только пассивной адаптации к заданным условиям существования.

Поэтому и революции начала и конца XX в. – плохообъединяемые явления, хотя в них, безусловно, были (формально и по существу) сходные тенденции. Одна из внешних, бросающихся в глаза – определенная цикличность революций по типу социальный кризис/взрыв – компенсаторный откат (в политическом отношении проявляется как революция/реставрация). Отсюда – цикличность в прочтении революции: от хаотизации власти (властесмыты) – к со-

циальному взрыву и анархии (общей смуте) – к стабилизации власти (властепорядку) – к социальному упорядочиванию.

Кстати говоря, между революциями возможна и такая смысловая перекличка. В начале XX в. за счет немногих были расширены социальные перспективы подавляющего большинства. Оно затем расплатилось за захват и передел (земли, фабрик, квартир и проч.) многомиллионными жертвами, фактически утратой себя (собственной идентичности). Ответом на революцию большинства стала революция подавляющего меньшинства конца XX столетия, обогатившегося за счет всех. В этом смысле революция «верхов», снявшая всякие ограничения с их эгоистической самореализации, обессмыслила революцию «низов», похоронив ее основные завоевания.

Во-вторых, при помещении русских революций в общеевропейский контекст в них высовчивается «европейский фактор». Так, в феврале 1917 г. явно сработала общая для России и Европы тенденция – эмансипационная, требовавшая осовременивания, либерализации всех сфер жизни, демократизации политики. В большевистской же революции победили тоталитарная тенденция к торжеству массы над культурным меньшинством, над личностью и социалистический тренд (большевики – действительно авангард мирового социалистического движения, нашедший точки соприкосновения с примитивным «почвенным», общинно-социалистическим мировоззрением).

И наконец, последнее. *Специфика вполне современной (по времени прохождения) русской революции – в том, что она против современности, ее достижений и ее людей.* Отсюда, кстати, ее антиевропейскость. Она – антиинституциональна, антикультурна. Она низвергла социум в дикость, раскрыла в людях все худшее, что содерживалось культурой и государственным насилием, вывела на поверхность худшие, т.е. наиболее отвязные человеческие типы. Русская революция современной эпохи привела к такому торжеству архаики, которого не заметно в более ранней, Французской, т.е. к Смуте. Поэтому вполне адекватным кажется ее прочтение как выход в хаос, торжество русской аморфности, массовых хаотических движений. Расплавляются все и всякие структуры, срываются нормы, происходит обвал культуры. О чем «Красная смута»? Об этом расковывании, расплавлении. Поэтому основные сценарии будущего во многом оказались обращены в прошлое. Отсюда, как мне кажется,

ся, – аналогии со Смутой начала XVII в., европейскими средневековыми народными движениями. Но это не вся правда о революциях 1917 г. Народная смута – это только часть большого революционного процесса, в котором действовали разные социальные силы, работали разные смыслы.

Вот что я хотела сказать. Уважаемые коллеги, свое время мы практически исчерпали. Может быть, будем завершать? Владимир Прохорович <Булдаков>, Ваше последнее слово сегодня.

 **В. П. Булдаков:** Я не собираюсь много говорить. Разумеется, на высказанные замечания у меня есть контрдоводы, но приводить их – значило бы пустить дискуссию по второму кругу. Для меня важно другое. Я сам имею обыкновение вольно или невольно (обычно невольно) провоцировать ученое сообщество. И если в ответ слышу нечто провоцирующее меня самого – считаю это полезным. Смута в России – своего рода «открытый текст», допускающий множество инверсий и толкований. Хотелось бы в связи с этим особо подчеркнуть согласие с неоднократно прозвучавшим здесь тезисом: для российской смуты (и не только для нее) мы все еще не имеем адекватного языка описания. Ну и, как всегда, страдаем от того, что наши эмоции готовы в очередной раз превратиться в «теории».

Благодаря нашей дискуссии я понял, что, прежде чем говорить о смуте в России, следовало бы сочинить трактат на тему «стабильность по-русски». Насколько комфортно изнутри это состояние?

Надеюсь, что присутствующим было сегодня не скучно – это уже хорошо. Мне самому скучно не было. За это – спасибо.

И.И. Глебова: Спасибо, уважаемые коллеги, за участие в сегодняшнем семинаре. Он был, как мне кажется, весьма небесполезным.

ВЛАСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ

*(Семинар 9 апреля 2009 г., ИНИОН РАН,
с участием журнала «Политическое образование»)*



Ю.С. Пивоваров (ИНИОН РАН): Спасибо, что дали мне первое слово, как директору. Это некоторым образом подтверждает то, о чем я собираюсь говорить, – *об особенностях русской политической культуры*. Свое выступление я рассматриваю не как научный доклад, а как своего рода «разогрев» перед остальными выступлениями. Я думаю, избранная тема очень удачна: когда в России говорят о власти, то имеют в виду очень многое – политику, экономику, транспорт и т.д. «Через» власть можно понять все; она – ключ к природе нашей социальности. Я буду говорить о русской власти как о некоем идеальном типе.

Что касается политической культуры, то на протяжении многих лет в ИНИОНе идет спор между Юрием Сергеевичем Пивоваровым и Борисом Сергеевичем Орловым о том, как ее трактовать. Ю.С. Пивоваров настаивает на узком понимании в стиле Г. Алмонда. Борис Сергеевич предлагает интерпретировать понятие гораздо шире. Так вот, Борис Сергеевич, сегодня я буду говорить в Вашем духе, иначе получится слишком «узкий» разговор. Хотя классический термин и будет выглядеть как «облако в штанах», политическая метафора.

С моей точки зрения, и термин «русская цивилизация» – тоже метафора. Не знаю, существует ли русская цивилизация, но русская культура точно есть. Если бы меня попросили определить ее основное качество, я бы сказал, что она властецентрична. Тогда как современная западная культура, по-моему, антропоцентрична. Это, кстати, зафиксировано в конституциях: западные представляют собой консенсус по поводу прав человека, русские – консенсус индивидов по вопросу осуществления власти.

Важнейшее качество русской власти – ее неполитический характер. Несколько лет назад я и мой коллега назвали ее метафизической (см. работу Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова «Русская система»). И сегодня я сказал бы то же самое – русская власть имела (и имеет сейчас) характер метафизический. Кроме того, она насилиственная: это не власть-договор, не власть-конвенция, а власть-насилие – по природе и методам осуществления. В какие-то периоды она может быть более мягкой: так, В.О. Ключевский писал, что Алексей Михайлович не очень напрягал свою самодержавную волю, а вот его сынок, Петр Алексеевич, напрягал чрезвычайно. Одним словом, степень насилия (проявления насилиственной природы власти) во многом зависит от ее персонификатора. М.С. Горбачев, например, не очень старался в этом смысле, другие – даже слишком.

Русская власть не договорная, в отличие от европейской, – ей просто не с кем договариваться. Тот же мой коллега и я когда-то назвали русскую власть моносубъектом русской истории. От этого определения я тоже не хотел бы отказываться. Конечно, это некоторый перехлест, но по существу верно. А с кем может договариваться моносубъект? И в этом смысле формула Павла I (однажды он сказал французскому послу: в России что-то значит только тот, с кем я разговариваю и покуда я с ним разговариваю) актуальна и по сей день.

Наконец, русская власть обязательно персонифицирована. Что это значит? Морис Дюверже и Жорж Бюрдо, виднейшие французские политологи, неоднократно писали, что одним из важнейших элементов человеческого прогресса является отделение идеи власти от лица, ее представляющего. На Западе это произошло – там власть абстрактна. Конечно, это тоже идеалтический конструкт, но все же власть отделена от лица. В России же она персонифицирована, и в этом – огромная проблема: персонификация – это всегда физическое лицо. А если власть метафизическая, то возникает конфликт между физическим лицом и метафизическими природой власти. И то, что ряд русских царей – Иван Грозный, Пётр Великий – уничтожали своих наследников, служит подтверждением этого вывода.

Русская власть имеет дистанционный характер. Она не порождена обществом, а как бы придана ему извне и управляет им на дистанции. Так сложилось еще в те времена, когда русские князья

ездили за ярлыками в Золотую Орду. С таким типом управления связана периодическая смена столиц в российской истории. Скажем, Петру в Москве не дали бы проводить реформы – их просто удушили бы бояре со стрельцами.

Русская власть есть субстанция – в смысле тезиса Спинозы, содержащегося в «Этике»: то, что не требует определения через что-то другое, но определяется через самое себя. Российская власть – это субстанция, все остальное – ее функции. Будучи моносубъектом и субстанциальной силой, власть имеет двуосновный характер. Русская власть, как заметил один наш мыслитель, – это Папа и Лютер в одном лице. Она имеет природу как репрессивно-подавляющую, так и революционно-реформистскую. Вспомним слова А.С. Пушкина, сказанные им великому князю Михailу Павловичу: «Вы, Романовы, все революционеры». Один Петр – это вся Французская революция. И в этом смысле России не «нужны» партии, структуры гражданского общества, поскольку власть за нас все решит. Она может быть любой – социальной, антисоциальной и т.д.

Все это закреплено в правовом порядке: в российской Конституции 1993 г. фигура президента вынесена за рамки разделения властей (чего нет ни в одной другой конституции мира). Говорят, что у российской Конституции есть что-то общее с французской. На мой взгляд, это не так: во французской президент вписан в систему разделения властей, а в российской он стоит над этой системой. И это традиция, которую Конституция 1993 г. унаследовала от первой русской Конституции 1906 г., а обе они вырастают из конституционного плана М. Сперанского 1809 г. (главная новация состояла в том, что глава государства поставлен над системой разделения властей).

В заключение подчеркну: наша власть – не девиантна; мы же все время хотим ее исправить. Нам следует исходить, как говорил известный правовед Георг Еллинек, из «нормативности фактического». Российская власть прошла три исторические стадии: самодержавную, советскую, и нынешнюю – сейчас не буду ее характеризовать за недостатком времени. Но остается по своей сути равной самой себе и никакой другой становиться не хочет – даже после двух очень серьезных попыток демократических преобразований в начале и в конце XX в. Приходится исследовать и иметь дело именно с этой властью. На этом я поставлю точку.



К.Г. Холодковский (ИМЭМО РАН): Я хочу обратить ваше внимание на *нерешенные проблемы политической культуры России*. Почти четверть века назад Ю.В. Андропов, только что избранный генеральным секретарем ЦК КПСС, опубликовал статью, в которой заявил – и не без оснований, – что мы не знаем страны, в которой живем. Думается, что сейчас, спустя немалое время, после череды бурных событий, положение в этом смысле уже несколько иное. Мы приобрели большой политический опыт, нашими учеными получены важные данные и выполнены их неплохой научный анализ, так что мы уже значительно лучше представляем себе реальную ситуацию. Это, конечно, совершенно не означает, что такого рода знание носит исчерпывающий характер – слишком сложна и многогранна специфика страны, слишком много неожиданностей подстерегает нас и в будущем.

Сказанное целиком и полностью относится к такой важной характеристике российского общества, как его политическая культура. Благодаря трудам Ю. Левады, Б. Грушина, Б. Дубина, Л. Гудкова, А. Ахиезера, Ю. Пивоварова, И. Глебовой и других исследователей мы знаем основные характеристики политической культуры – того ее ядра, которое, как показал исторический анализ, сохраняется на протяжении многих веков. Мы знаем, что эта политическая культура отягощена тяжелым наследием не переработанного критически прошлого.

Это культура не современна для нынешней Европы – консервативно-персоналистская и патерналистская культура подданных. В то же время она аккумулирует деструктивную, разрушительную, взрывную социальную энергию. Такого рода культура мешает превращению россиян из подданных в полноправных и инициативных граждан, не способствует эволюционному развитию властной системы.

Гораздо меньше мы знаем об изменениях, которые, возможно, не преобразуя общую картину, все же произошли в рамках этой культуры за последние несколько десятилетий, и особенно за последнюю четверть века, отмеченные серьезными общественными потрясениями. О чём здесь может идти речь?

Говоря о российской традиционалистской культуре столетней давности (и более раннего времени), мы имеем в виду прежде всего крестьянскую культуру – культуру подавляющего большинства тогдашнего населения. Даже среди формировавшегося рабоче-

го класса преобладал крестьянский тип культуры с его достаточно прочными патриархальными устоями. С тех пор основное население России стало городским. Как это повлияло на политическую культуру?

В первом приближении можно сказать, что в соответствии с более разнообразными (по сравнению с сельскими) групповыми характеристиками городского населения эта культура, не выходя за пределы общих параметров патерналистской «культуры подданных», стала, видимо, многообразнее, породив своего рода разновидности. Одно дело – политическая культура чиновничества, мелкого «служилого люда», другое – военных, третье – рабочих, четвертое (с переходом к рыночному хозяйству) – мелких и средних предпринимателей, пятое – маргинальных элементов. Кстати, этот последний компонент общества в советское и постсоветское время особенно разросся, распространив свое психологическое влияние на другие слои населения, что дало повод одному исследователю (Е. Старику) выделить особую субкультуру – «барачную». Возможно, допустимо выделение и других субкультур – разновидностей преобладающей политической культуры, в каждой из которых усиливаются или ослабеваются те или иные ее характеристики, а что-то из общего «фонда» традиционного психологического наследия выходит на первый план.

Разрушение крестьянского мира, произошедшее за последние десятилетия, повлекло еще одно последствие. Ушел в прошлое крестьянский патриархальный колlettivizm (пресловутая «соборность»), явившийся одним из оснований традиционной политической культуры. Он уступил место индивидуализму. Но это не европейский индивидуализм, который уравновешивается взаимным доверием, социальной ответственностью и солидарностью, а индивидуализм атомизированного человека, лишенного осознанных социальных связей.

Как это обстоятельство сказалось на политической культуре россиян? Можно предположить, что оно, с одной стороны, сблизило нас с ценностным строем людей Запада, утончило перегородку, отделяющую российский социокультурный тип от западноевропейского. Но, с другой стороны, оно же затруднило «западный» тип поведения – учет интересов других людей, доверие к ним, объединение с ними, солидарное поведение.

И еще одно последствие. Рост образовательного уровня, непосредственно связанный с «огороживанием» населения, повысил удельный вес и роль рациональных мотивов в сознании и поведении в ущерб эмоциональным. Возможно, что в принципе это хорошо, но в российском общественном контексте это привело к затрудненному переходу индивидов от осознания к действию, особенно в тех случаях, когда осуществление этого действия сопряжено не только с «сопротивлением материала», но и с известными рисками материальных или даже физических утрат.

К этому, по-видимому, добавилось на подсознательном или даже на генетическом уровне воздействие тех колossalных людских потерь, которые в XX в. лишили российский народ прежде всего наиболее активной его части. В результате в политической культуре и общественном поведении россиян, похоже, стало больше инертности, меньше пассионарности, чем это было несколько десятилетий назад.

Но этим изменения политической культуры, конечно, не ограничиваются. Возвращаясь к содержательной стороне, можно заметить, в частности, что, в отличие от начала XX в., демократия стала для россиян, по крайней мере на вербальном, словесном уровне, одной из несомненных ценностей. Другое дело, что представления о демократии в массовом сознании, как правило, остаются весьма туманными. Для большинства россиян главное содержание демократии – социальная справедливость, забота государства о «простом человеке».

Иногда это просто синоним «хорошего правления». Правда, в представления о демократии входит уже и часть ее реальных ценностей – свобода слова, свобода передвижения. Но одновременно в последние полтора десятилетия происходил и процесс дискредитации демократии, ассоциирующейся для многих с произволом и «беспределом» переходного периода конца XX в. Дискредитация демократии, равно как и разного рода имитации демократических институтов, характерные для России начала XXI в., затрудняют едва начавшийся процесс наполнения вербальной ценности реальным содержанием.

Эволюция российской политической культуры в последние десятилетия – чрезвычайно важная и пока что малоразработанная тема научного исследования. Но есть и еще одна сторона пробле-

мы, которую нельзя упускать из вида при оценке перспектив общественного развития России.

Дело в том, что российская политическая культура – это не только культура традиционалистского большинства. Это еще и субкультура «продвинутого», «просвещенного», «активного» меньшинства. Роль этого меньшинства в общем контексте российской политической культуры, несомненно, требует уточнения. Не подлежит сомнению, что эволюция культуры большинства – это в том числе (хотя не только) и результат воздействия субкультуры меньшинства. Причем здесь речь идет не о простой «учительной» функции, как понимали это воздействие интеллигенты царской России и партийные деятели советского времени. Потому что следует говорить как о позитивном, так и о негативном влиянии, и вообще о сложном процессе, не сводящемся к элементарному заимствованию.

Между тем изучение этого процесса важно еще и потому, что именно среди просвещенного меньшинства проявляются важнейшие направления общественно-политических размежеваний, проходящих через всю историю России последних двух-трех столетий. Это размежевание по осям консерватизм – модернизация, западничество – самобытность, авторитаризм – демократия, элитарность – социальность. Культура большинства не в состоянии самостоятельно сформулировать эти противопоставления, поэтому человек, принадлежащий большинству, чаще всего далек от того, чтобы занять здесь какую-то осознанную позицию. В той или иной мере представления об этих конфликтах проецируются в массы (в виде слабого, легко искажаемого эха) из интеллектуальной элиты, обычно при посредстве средств массовой информации, вносящих в них существенные искажения. Легче всего (и понятно, почему) осознается конфликт по линии элитарность – социальность.

Важность фактора влияния субкультуры меньшинства заставляет задаться еще одним вопросом: расширился или сузился в последнее время социальный субстрат этой субкультуры? От этого во многом (хотя, по-видимому, непрямолинейно) зависят возможности ее воздействия. С этим связан и вопрос о путях и перспективах такого воздействия.

В первую очередь таким субстратом являются те слои общества, которые в исследованиях социальной структуры именуются «элитой» и «средним классом». Кавычки здесь не случайны: мно-

гие ученые не без основания считают, что и тот и другой слой в российских условиях «не дотягивает» до того уровня, на котором они находятся на Западе, где впервые были обозначены. Последнее исследование Г. Дилигенского («Люди среднего класса», 2002 г.) показало, что лишь «креативное меньшинство» в этом слое сознает свою социальную ответственность, воплощает в себе потенциал гражданственности, выступает с социальными инициативами, т.е. в своей практике является реальным представителем просвещенной субкультуры.

Противоречивые результаты дали недавние исследования российской «элиты». Первое из них («Проблема «элиты» в сегодняшней России»¹), проведенное коллективом «Левада-центра», возглавляемым Л. Гудковым и Б. Дубиным, содержит весьма обескураживающие выводы о том, что политическая культура и политическое сознание большинства верхушки элитарных групп – чиновничества, офицерского корпуса, бизнеса, интеллектуалов – не слишком отличны от культуры большинства. Проведенное по несколько иной методике исследование под руководством М. Афанасьева² показало, что внутри верхушечного слоя есть две группировки: «элита господства», занимающая командные позиции и настроенная на сохранение *status quo*, и «элита развития», настроенная на демократические преобразования. Воздействие последней на ситуацию, однако, ограничивается минимальным влиянием на власть (и, соответственно, на СМИ) и все той же атомизацией, дефицитом солидарности. Преодоление этих слабостей видится на путях развития гражданского общества, начиная с самых элементарных, низовых его форм, влияющих на повседневную жизнь людей.

Краткий обзор малоизученных проблем эволюции политической культуры россиян показывает, как много проблем встает перед учеными за рамками кардинального вопроса о российской исторической специфике. Важно, чтобы работы, начатые исследователями в этих направлениях, были продолжены.

¹ Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней России: Размышления над результатами социологического исследования. – М., 2007.

² Афанасьев М. Российские элиты развития: Запрос на новый курс. – М., 2009.



А.А. Галкин (*журнал «Политическое образование»*): Тема моего выступления – *общественное сознание как элемент политической культуры: российский вариант*.

В публицистике, да и в некоторых научных работах под политической культурой нередко понимают умение и готовность значительной части населения придерживаться общепринятых правил политического поведения, т.е. необходимого минимума политической цивилизованности. Разумеется, соблюдение политических правил игры, принятых в государствах с развитыми демократическими институтами, представляет собой существенный элемент политической культуры. Однако этот элемент образует лишь один из ее слоев, причем далеко не главный. Сама же политическая культура гораздо шире. Объединяя совокупность разнообразных элементов, она является важнейшим фактором поступательного развития общества, одним из условий его самосохранения.

В данном случае под политической культурой понимается спрессованный в общественном сознании институциализированный и неинституциализированный исторический и социальный опыт национальной или наднациональной общности, оказывающий определяющее воздействие на формирование ценностных систем, общественных ориентаций и в конечном счете на поведение индивидов, малых и больших социальных групп. Иными словами, в моем понимании, политическая культура – это зафиксированная в законах, обычаях, оценках и подходах к общественным явлениям память о прошлом, сохранившаяся в обществе в целом, а также у его отдельных элементов, в первую очередь у национальных групп (в мультинациональном обществе) и социальных слоев.

Такая память определяет совокупность подходов к внутренним общественным институтам, рассматриваемым сквозь призму перипетий прошлой социальной и политической борьбы, последствий побед и поражений, а также распространяется на сферу отношений с внешним миром – другими народами и странами. Важная составная часть политической культуры – исторически обусловленное, устоявшееся, специфическое восприятие происходящего, в том числе новых явлений, возникающих проблем и, следовательно, методов их решения.

Есть ли основания, исходя из предложенной трактовки, рассматривать политическую культуру как своего рода инвариант? Представляется, что ответ на этот вопрос может быть только отри-

цательным. При всей устойчивости политической культуры, уходящей корнями в далёкое прошлое, она не может не модифицироваться. Человеческое сообщество непрерывно приобретает новый опыт, который либо совпадает с предыдущим, либо противоречит ему. Одни элементы этого опыта укрепляют сложившиеся представления, другие – изменяют их. Особенно заметно это на тех этапах исторического развития, для которых характерны интенсивные преобразования.

Формирование, развитие и изменение политической культуры во многом зависят от ее взаимоотношений с политической системой, а следовательно, с политическим процессом. Эти взаимоотношения крайне сложны и противоречивы. Политическая система, как и политический процесс, обычно являются порождением определенной политической культуры. Вместе с тем на базе одной и той же политической культуры могут возникать и действовать различные модели политической системы. Немалое значение имеет то, что политическая система, как и политический процесс, будучи обладанными в броню нормативных установлений и институтов, обладают относительной независимостью от политической культуры. Это открывает возможность возникновения разрыва между ними.

Когда такой разрыв становится значительным, политическая система с помощью имеющихся у нее инструментов власти пытается ликвидировать его, модифицируя политическую культуру, навязывая составляющим общество социальным группам новые ценности и образцы поведения. Обычно это удается лишь частично, ибо политическая культура оказывает сильное сопротивление подобным усилиям, стремясь по возможности приспособить политическую систему и политический процесс к существующим структурам и стереотипам сознания. Тем не менее недооценивать возможности воздействия политической системы на политическую культуру и политический процесс не следует.

Переменам в политической культуре в значительной мере способствует то, что исторический опыт передается каждому следующему поколению не в чистом, а в превращенном виде, главным образом через совокупность закрепляющих его идеологических представлений. Они же нередко являются гибкими. В целом опосредующие механизмы межгенерационной передачи политической культуры действуют как консервирующий фактор. Однако, как только уровень противоречий между реальными интересами и

идеологизированными формами их осмысления выходит за критическую точку, политическая культура преобразуется. Возникают новые, весьма существенные ее элементы, которые не тормозят, а, напротив, стимулируют перемены.

Многие важные особенности политической культуры обусловлены гетерогенностью ее внутренней структуры. В ней можно выделить два основных слоя: общесистемный и групповой. Общесистемный слой составляют ценности, установки, мнения и образцы поведения, сложившиеся на основании опыта, накопленного общностью в той мере, в какой она может рассматриваться (и рассматривает себя) как единое целое. Групповой слой образуют ценности, установки, мнения и образцы поведения, которые отражают специфику опыта отдельных групп, составляющих систему. Такая специфика может быть как национальной (если общественная система является мультинациональной), так и социальной. При определенных обстоятельствах групповые различия порождаются принадлежностью к разным (обычно конкурирующим) культурно-идеологическим традициям, прежде всего религиозным конфессиям.

Глубокие различия в главных параметрах политической культуры национальных, социальных и идеологических групп, составляющих единую систему, делают оправданной постановку вопроса о политических субкультурах. В одних случаях они остаются в рамках общей политической культуры. В других – настолько отличаются от нее, что вправе рассматриваться как самостоятельные.

Важно иметь в виду также то, что различным политическим культурам свойственна разная степень открытости переменам. При высокой степени такой открытости они адаптируются к переменам без особых напряжений и издержек. В иных случаях такая адаптация сталкивается с серьезными сложностями. При этом изменения в политических культурах не являются ни непрерывными, ни однозначно поступательными. Под влиянием внешних обстоятельств они нередко приобретают дискретный и зигзагообразный характер.

По степени открытости переменам в политической культуре обычно различают относительно устойчивое ядро, образуемое основополагающими ценностными установками, и внешнюю оболочку, формируемую поверхностными влияниями. Главным элементом оболочки является текущее общественное сознание. Будучи неотъемлемой составной частью политической культуры, оно тем

не менее обладает определенной автономностью, обусловленной более высоким уровнем реактивности.

Обратимся теперь непосредственно к российской ситуации, сделав при этом упор на оценку динамики общественного сознания, и прежде всего отношения граждан России к власти.

Ядро доминирующей в России политической культуры сформировалось под влиянием давних, исторически сложившихся укладов, свойственных народам, создавшим впоследствии русский этнос. Анализируя это влияние, крайне важно не поддаваться бытующим мифологическим оценкам, способным серьезно исказить реальную картину. Одна из таких оценок покоится на представлении, будто историческое прошлое русского народа, на протяжении многих столетий находившегося под гнетом иностранных захватчиков и своих собственных абсолютных властителей, пережившего длительную полосу крепостных отношений, выродившихся на последнем этапе в неприкрытое рабство, не имевшего никаких традиций самоуправления, выработало у него устойчивый менталитет, основные черты которого – терпеливость, покорность, непротивязательность, неверие в свои силы и общественная пассивность. Предполагается, что подобный менталитет исключает появление у индивидов и, соответственно, у их совокупности качеств, на которых обычно зиждется политическая культура гражданственности.

Обращаясь к прошлому, сторонники этого мифа обычно весьма вольно трактуют российскую историю, выдергивая из нее отдельные эпизоды. Разумеется, в истории России было немало тяжелых и даже трагических страниц. Такие страницы не проходят бесследно для общественного сознания. Они откладывают на него глубокий отпечаток, формируя массовые стереотипы восприятия и поведения. Но реальная история состоит не только из этих страниц. Непредвзятое обращение к российской истории позволяет выявить в ней множество событий и эпизодов, вырабатывавших в общественном сознании россиян качества, противоположные тем, которые приписывает названный выше миф.

Огромные пространства, на которых расселялись восточнославянские и близкие им племена, сложившиеся впоследствии в русский народ, суровые условия существования не только способствовали (как это иногда утверждают), а в ряде случаев, напротив, препятствовали чрезмерной централизации и, следовательно, доминированию государственного всевластия. Отсюда широкое рас-

пространение уже на ранних этапах становления национальной идентичности начал общинного самоуправления и социальной активности.

Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно присмотреться к общественному устройству регионов, ставших впоследствии главными очагами древнерусского национального самоопределения. Укрепление государственности, сопровождавшее становление Древней Руси, постоянно наталкивалось на решительное сопротивление вольнолюбивых поселенцев. Даже на гораздо более поздних этапах, после того, как российская государственность уже окончательно сложилась, противодействие самовластному насилию продолжалось, принимая самые различные формы. Экспансия московских великих князей, стремившихся объединить вокруг себя русские земли, наталкивалась на ожесточенное сопротивление не только местных князей и боярства, но и простого люда, решительно отстаивавшего свои права, обычай и вольности.

Народные бунты и смуты случались на протяжении всей истории Российского царства. Бунтовал простой московский люд (соляной и медный бунты), жители окраин, бунтовали стрельцы. О неискоренимом стремлении русских к свободе свидетельствовали крестьянские движения, связанные, в частности, с именами таких исторических деятелей, как Разин, Булавин, Болотников, Пугачев.

Именно на российских просторах возник такой специфический социально-политический феномен, как казачество, формировавшееся за счет беглых крестьян, не желавших терпеть крепостнический гнет и создавших на рубежах России своеобразную форму самоуправляющихся демократических общин. О масштабности этого явления можно судить хотя бы потому, что к концу XVI – началу XVII в. казачество стало социально-политической силой, наложившей глубокий отпечаток на судьбы России в целом. XIX век характеризовался целой серией крестьянских волнений, подорвавших устои крепостнических порядков. В свою очередь XX век стал временем глубочайших революционных потрясений, сказавшихся далеко за пределами России.

Под воздействием этой стороны истории русского народа в его сознании (и, соответственно, поведении) утвердились такие черты, как вольнолюбие, стремление к самостоятельности в решениях и действиях, настороженно-негативное отношение к власти и вообще к начальству, пренебрежительно-насмешливое отношение

к поступающим сверху указаниям и законам, склонность к анархизму и т.д. И все это весьма причудливо переплеталось с теми качествами, на которые делают упор сторонники изложенного выше мифа. Отсюда крайняя противоречивость русского национального характера и, соответственно, политической культуры, объединивших в себе самые различные, иногда противоречивые черты. В их числе терпеливость и нетерпимость, покорность и бунтарство, пассивность и взлеты крайней активности, нередко выходящей за рациональные рамки. При этом в тех или иных группах общества эти черты, в зависимости от ситуации, проявляются в различных сочетаниях.

Другая мифологическая оценка, во многом вытекающая из первой, исходит из того, что традиционно сложившийся тип взаимоотношений между «верхами» и «низами» имплицитно предполагает заложенное в глубины сознания преклонение перед властью, готовность беспрекословно следовать ее предназначениям. В действительности это совсем не так. Готовность «обожествлять» власть, приписываемая русским, не является абсолютной.

Она обычно сосредоточивается исключительно на личности, возглавляющей пирамиду политической власти. Вместе с тем в силу противоречивости исторически сложившегося массового сознания эта установка органически сочетается с восприятием даже вполне легитимной власти как силы, в принципе противостоящей и даже враждебной индивиду и обществу в целом. Отсюда ставшая традиционной формула, описывавшая отношение к власти следующим образом: «Держись от нее подальше».

Модификации политической культуры и, соответственно, общественного сознания на протяжении более близких нам этапов истории России при всей своей существенности не изменили этой черты, определявшей отношение общества к власти. С учетом колебаний, характерных для общественного сознания, в нем сложился устойчивый пласт предпочтений и ожиданий, обусловленных:

- традиционным укладом, в котором наряду с крепостничеством и другими видами докапиталистического социального неравенства сохранялись сильные патерналистские и общинные формы жизнеустройства;

- более чем 70-летним опытом государственного социализма с жесткой системой централизованного планирования и распределения, гарантированным скромным уровнем потребления для всех

работников единого синдиката, ориентацией на социальное равенство, похожее на уравниловку, при ограничении политической свободы;

– краткосрочным «прорывным этапом» демократических преобразований горбачевской перестройки;

– разнородными, во многом катастрофическими последствиями правления радикал-либералов, поставивших целью полное разрушение существовавших структур и капитализацию общества в соответствии с образцами, утвердившимися в странах Запада.

Годы государственного социализма с его попытками навязать обществу проект насильтвенного «осчастлививания» оказали на российскую политическую культуру противоречивое воздействие. Само становление общественной системы, сопровождавшееся чередой бурных и неоднозначных революционных событий, способствовало накоплению своеобразного анархического демократизма и эгалитарных ценностей. Последовавшее за ним утверждение сталинского деспотизма, сопровождавшегося крайними формами бюрократизации общественных отношений, во многом реанимировало традиционные отношения общества и власти.

«Оттепель» второй половины 1950-х – первой половины 1960-х годов, послужив стимулом пробуждения общества от «спячки», имела одним из следствий ценностный и политический раскол политической культуры на две своеобразные субкультуры: традиционалистов («консерваторов») и прогрессистов. Последующие попытки реанимировать сталинизм дали лишь ограниченные результаты. Раскол общества был отодвинут в тень, но сохранился. Вместе с тем прогрессирующая бюрократизация и все более явственное перерождение правящего слоя стимулировали дальнейшее отчуждение значительной части населения России от понятия социализм, отождествляемого с тем, с чем она сталкивалась в реальной жизни.

Недовольство оставалось в то время аморфным. Его наиболее рельефное выражение – подчеркнутая отстраненность от власти. Большинство населения не было готово к активным акциям протesta, но и не проявляло намерения выступать в защиту «начальства» от тех, кто его атакует. Не было сколько-нибудь ясного целеполагания и у активной части граждан. Существовало представление о том, против чего следует бороться. Гораздо сложнее было с ответом на вопрос, чего следует добиваться? Тем не менее уже в то

время наметились первые признаки дифференциации движения за перемены на идейные течения, располагавшие специфической системой ценностей: обновительно-социалистическое, традиционалистко-националистическое и неолиберально-западническое.

В целом, однако, семь десятилетий существования государственного социализма в преимущественно крестьянской стране с доминированием патерналистских и патриархально-общинных ценностей сформировали в массовых слоях, вне зависимости от политических симпатий или антипатий, специфические представления о предпочтительном общественном укладе. Для него характерны: ориентация на высокую стабильность достигнутых условий существования; повышенные социальные ожидания, связанные с деятельностью государства; отношение к бесплатному образованию и здравоохранению, к дешевому жилью и отдыху как неотъемлемым составляющим образа жизни; неприятие чересчур заметного разрыва в условиях существования различных групп населения. К этим представлениям можно по-разному относиться, но не считаться с ними, по крайней мере при анализе, практически невозможно.

То же можно сказать о годах перестройки. Отношение к ней в российском обществе неоднозначно. Вне зависимости от этого отношения следует признать: хотя обновление страны, предпринятое в ходе перестройки, оказалось более сложным, чем предполагалось вначале, за ее недолгий срок страна совершила исторический прорыв, открывший ей путь к развитию, соответствующему императивам новой эпохи.

В свое время – по мере углублявшегося отставания СССР от наиболее развитых стран Запада, ассоциируемых с капитализмом, – в сознании многих граждан Советского Союза сложился идеализированный образ «Запада» как «острова благоденствия», на котором царит справедливость, отсутствуют социальные барьеры и общедоступны высококачественные материальные блага. Этот образ и воспринимался как современный капитализм. Утвердившееся в советское время негативное отношение к этому понятию сменилось нейтральным, а во многих случаях позитивным. Отсюда эйфория, с которой была воспринята многими идея коренных общественных перемен. На первом этапе речь шла о совершенствовании социализма, однако вскоре произошел решительный поворот в сторону капитализма.

Спустя несколько лет завышенные ожидания сменились у многих разочарованием. Обещания, данные строителями капиталистического строя в момент их прихода к власти, выполнены не были. Общество распалось на выигравшее меньшинство и проигравшее большинство. Последнее утвердилось в негативном отношении к «российскому капитализму», отрицающему социальные обязательства государства перед индивидом. При этом в массе населения сохранился приоритет ценностей социальной ответственности власти, имеющих традиционные общинно-коллективистские корни.

На социальном самочувствии стали все острее сказываться и обусловленная общим кризисом потеря уверенности в будущем, и всестороннее ухудшение материальных условий существования, и утрата социальных гарантий, и развал существовавших прежде форм общественных контактов, и т.д. Все это, в свою очередь, создало питательную почву для возрождения и углубления традиционного для российской политической культуры отчуждения общества от власти.

С приходом к управлению государством новой команды это отчуждение несколько ослабело. Власть обрела кредит доверия. Обращалось она с ним, мягко говоря, недостаточно бережно. Высокомерие власти, проявлявшееся при принятии даже правильных решений, ее увлечение административными играми, обернувшими-ся новым всплеском бюрократизма, ослабление системы обратной связи и разгул коррупции вновь породили отчуждение между нею и обществом. Понимание этого верхами, во всяком случае наиболее продвинутой их частью, налицо. Так же как и намерение поискать новые пути к установлению более доверительных отношений с обществом.

До сих пор социологические опросы, позволяющие оценить состояние общественного сознания, как бы воспроизводят традиционную для России закономерность: сохранение высокого доверия населения к представителям верховной власти при одновременном недоверии к политическим институтам и власти на местах. Однако в какой мере эту ситуацию можно рассматривать как устойчивую, оценить пока трудно. В то же время очевидно, что стержневую основу массового сознания – в том, что касается основ проводимой политики, – до сих пор образуют следующие установки:

– устойчивое убеждение, что сложившаяся в стране политическая система отражает интересы богатой части общества и игно-

рирует потребности и запросы менее зажиточного большинства и, следовательно, любые исходящие от нее импульсы несут этому большинству потери;

– представление, что крупная собственность, появившаяся в стране в 90-е годы прошлого века (прежде всего попавшая в руки так называемых олигархов), – результат махинаций, нанесших неисчислимый урон обществу и государству;

– опасение, что в сложившихся условиях не приходится расчитывать на создание (или хотя бы частичное восстановление) в стране такой системы социальных амортизаторов, которая позволит каждому члену общества надеяться на то, что компенсацией за его позитивный трудовой вклад в общее дело будут гарантии приемлемых условий существования на всех этапах жизни;

– понимание того, что шансы простого гражданина на вертикальную социальную мобильность, несмотря на все его усилия, при нынешних обстоятельствах минимальны и сейчас, в ситуации глубокого экономического кризиса, речь может идти лишь о примитивном выживании;

– представление, что в обществе, в основе которого лежит совокупность правонарушений, право не может считаться регулятором взаимоотношений между гражданами и поэтому с ним можно не считаться.

Растущее озлобление по отношению к действительным или мнимым виновникам ситуации, воспринимающейся в лучшем случае как неблагополучная, реализуется в различных формах. Одна из них, как уже отмечалось, основана на представлении, что во всех бедах, свалившихся на большинство граждан России, виновны воры и взяточники, засевшие во властных структурах. Отсюда широкая – и вполне обоснованная – поддержка идеи их «всеобщей чистки». Другая форма, не столь распространенная, но тем не менее все более заметная, замешана на ксенофобских предрассудках, питаемых, как и во многих странах Запада, массовым притоком иммигрантов из стран с более низким уровнем жизни.

Специфическую форму сублимации социального недовольства образует все более заметная враждебность населения российской «глубинки» к столичным мегаполисам, и прежде всего к Москве. Почву, на которой произрастает эта враждебность, образуют, с одной стороны, все более заметный разрыв в условиях существования провинциального и столичного населения, а с другой – уси-

ление унитарных настроений в федеральных структурах власти, нашедшее проявление в постоянных попытках урезать права и компетенции субъектов Федерации. Отсюда утверждавшееся в российской «глубинке» представление, что относительное благополучие столичных жителей основано не на том, что в столицах сосредоточены главные центры производства и финансов, но прежде всего на том, что Москва и в какой-то степени Питер «обирают» остальную Россию, «жируют» за ее счет.

На этой основе формируется протестный потенциал. Надлежит учитывать, что само по себе недовольство властью не рождает общественной активности. Первоначально наступает индивидуальное отчуждение от политики. Потом начинает нарастать социальное раздражение, сопровождаемое унынием и предчувствием близящейся катастрофы, которые, в свою очередь, подталкивают к уходу от реальности (массовое пьянство, наркомания и т.д.).

Соответственно, возрастает уровень криминализации населения. При этом нередко происходит замещение объекта недовольства. Социальное раздражение сублимируется в повышенную агрессивность, направленную на искусственно сконструированного «врага». И только затем прорезывается всеобщая откровенная граждебность власти, способная вылиться в более или менее осознанные проявления протesta. Однако до тех пор, пока власть не переходит границы, за которыми терпеть уже физически невозможно, основная масса граждан – вне зависимости от ее отношения к правящим политическим силам – не выйдет за пределы конституционного поля. Исторический опыт, зафиксированный в общественном сознании, сформировал у населения России стойкое убеждение, что такие действия не принесут решения назревших проблем, а лишь ухудшат условия существования.

При глубоком недоверии институтам власти, традиционном отчужденно-пассивном отношении к политике и высоком уровне социального недовольства в обществе накопился большой потенциал скрытой гражданской активности, которая пока не находит адекватного выхода. Поэтому небольшие колебания социально-экономической или политической ситуации могут мгновенно преобразить политическую и гражданскую отстраненность в активизм, в том числе в самых оstryх формах. Если это произойдет, то крайне важно – прежде всего для судей самой России, – чтобы этот ак-

тивизм реализовался по каналам гражданского общества, а не перехлестнул их.

Особенно сильна такая опасность в условиях, когда из-за несостоятельности власти кредит доверия к ней исчерпан. Население становится особенно восприимчивым к примитивным объяснениям событий, предельно простым способам решения проблем. Упрощая, можно сказать, что на высоком уровне кризисного развития общественное сознание как бы жаждет быть обманутым и поэтому охотно открывается любому ловкому политику.

Первоочередной задачей в связи с этим следует считать преодоление опасной отчужденности между гражданами и властью. Оно возможно лишь в том случае, когда обществу будет представлено убедительное свидетельство готовности верхов кардинально изменить проводимый ранее курс. Таким свидетельством, насколько можно судить на основании опыта других стран, являются институциональные изменения, открывающие большие, чем прежде, возможности влияния общества на политические решения, и радикальные кадровые перемены, предполагающие выдвижение на видные государственные позиции деятелей, обладающих безусловным общественным авторитетом.

Первостепенное значение имеют и внешние атрибуты поведения верхушки правящей элиты. Ее образ жизни и структура потребления должны демонстрировать то крайне важное для общественного сознания обстоятельство, что представители высших эшелонов власти не считают себя небожителями, возвышающимися над обществом и призванными «владеть и править», но осознают свою роль чиновников, наделенных определенными функциями и несущих ответственность перед гражданами за исполнение своего служебного долга.



А.Н. Медушевский (журнал «Российская история»):

Я буду говорить о взаимодействии общества и политической власти, установлении обратных связей между ними в реализации Основного закона. Актуализация этой темы связана с формированием в России явления конституционного параллелизма: фактического существования двух конституций, одна из которых зафиксирована в тексте Основного закона, принятого в 1993 г., другая – представляет собой систему неформального (реального) функционирования политической системы, властных институтов и

их взаимоотношений с обществом. Этот феномен не является исключительно российским: повсюду в мире существует определенный разрыв между конституцией как общественным идеалом и так называемой «рабочей конституцией», которая в концентрированном виде отражает механизм политического режима, практику судов, ситуационные условия деятельности политических партий, общественных организаций и гражданского общества в целом. Однако соотношение между формальной и реальной конституциями может быть совершенно различным.

Представим эти различия в виде трех моделей: формальная и реальная конституции могут дополнять друг друга (ситуация функционирующей демократии); находиться в конфликте между собой (ситуация нестабильных демократий); наконец, вступать в непримиримое противоречие (авторитарные режимы). Постсоветская ситуация вполне может быть отнесена ко второй модели: результатом конституционной революции 1993 г. стало принятие либеральной Конституции РФ 1993 г., которая опережала развитие политической системы и была принята в известном смысле «на вырост». Она фиксировала институты, которых просто не было в реальности (как, например, частная собственность). Внутреннее противоречие между установленными нормами позитивного права и политической практикой, носившей квазиконституционный характер, было неизбежно для общества переходного периода.

Очевидно, что это противоречие может быть разрешено двумя способами: подтягиванием социальной реальности до уровня конституционных норм (и тогда формируется первая модель) или пересмотром Конституции под старую реальность. Тогда возникает параконституционализм, при котором либеральные положения Конституции становятся все более декларативными, все менее соответствуют политической практике, а со временем просто устраняются из Основного закона. Демократический переходный период при таком развитии событий (как показывает опыт многих развивающихся стран) заканчивается установлением авторитарного режима. Эта тенденция в России последнего десятилетия, очевидно, набирает силу, что актуализирует механизм обратных связей: если гражданское общество и властвующая элита признают факт эрозии демократических ценностей и считают его опасным, они должны пойти на диалог и найти адекватное институциональное и политическое решение проблемы.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: является ли Конституция общественным договором между обществом и государственной властью, содержание которого может быть обсуждаемо? Действительно, исторически идея конституционализма вытекает из теории, объяснявшей возникновение гражданского общества и государства заключением договора между индивидами или обществом и властью. Несмотря на метафизический характер теории (т.е. ее неподтвержденностей историческими фактами), она оказала превалирующее влияние на становление конституционных систем. Конституции являлись письменной фиксацией общественного договора; в их структуры вводился важнейший элемент договора – декларации прав человека и гражданина.

В современной политической лексике «общественный договор» – это, скорее, метафора, обозначающая наличие определенного консенсуса в обществе. Как правило, она указывает на достижение согласия между политическими партиями, общественными организациями и властными группами по определенным, стратегически приоритетным направлениям развития или вопросам интерпретации конституции. Не случайно актуализация этой терминологии приходится на эпохи демократического перехода в странах Южной Европы 1970-х годов или Восточной Европы 1990-х, когда основные приоритеты вырабатывались с учетом мнения власти и оппозиции («Пакты Монклоа» и принятие Конституции 1978 г. в Испании или «круглые столы» в некоторых странах Восточной Европы периода «бархатных революций»). Понятие «общественного договора» становится значимым в концепции консociативной демократии, предполагающей поиск приемлемых демократических решений в расколотом обществе путем диалога элит (Канада, Южная Африка и т.д.).

В России договорная модель разрешения острых социальных конфликтов никогда не была востребована. Это подтверждает историческая судьба институтов согласования конфликтных интересов – Демократического совещания, Предпарламента и Директории 1917 г., Учредительного собрания в 1918 г. Не сложилась договорная модель и в момент политического кризиса конца XX в. Об этом свидетельствует процесс принятия Конституции России 1993 г. и судьба институтов поиска социального консенсуса: проекта договоров о согласии общественных и политических сил, Демократического совещания, Гражданского форума и др.

Причинами сворачивания деятельности институтов согласования интересов являются общая слабость и аморфность гражданского общества, неартикулированность партийной системы, а также правовой нигилизм населения и элит. Для того чтобы Конституция действительно стала «общественным договором», необходимо заставить работать институты примирения конфликтов в рамках правового поля, преодолеть ценностный раскол в обществе в отношении конституционных норм, выработать общепринятые стандарты демократического участия, т.е. фактически радикально изменить всю политическую культуру нашего общества.

В какой мере российское гражданское общество готово к решению этих проблем? Когда мы говорим о гражданском обществе, необходимо выделить три основных параметра: степень его организованности, уровень осознания его представителями своей политической идентичности, возможности коммуникации с государственными институтами и элитами. По первому параметру можно констатировать определенный позитивный сдвиг, особенно если учитывать полное подавление гражданского общества в советский период.

Когда мы говорим о слабости гражданского общества, то имеем в виду не только количественно выраженные параметры, но и ценностные ориентиры, далекие от принятия демократических стандартов. Принципиальный показатель – негативная оценка значительной частью общества преобразований 90-х годов XX в. Конечно, это в значительной степени реакция на экономические трудности и утрату имперского могущества. Однако в целом такая оценка совершенно игнорирует факт политического раскрепощения – приобретение обществом в результате уничтожения однопартийной диктатуры фундаментальных прав и свобод. Это очень напоминает оценку бывшими крепостными Великой реформы Александра II. Массы, политически деградировавшие в советский период, не могут смириться с отсутствием жесткой руки. Как показывают социологические опросы, более 50% населения считают сталинизм позитивным явлением русской истории (что, впрочем, не в последнюю очередь является отражением приоритетов современной информационной политики). Поэтому не вызывает удивления факт общественного раскола в отношении действующей Конституции.

В обществе есть силы, которые хотели бы реставрации прежней системы – вплоть до восстановления номинального советского конституционализма. Мнимые «друзья народа» научились использовать демократические нормы для пропаганды недемократических порядков. Продолжается поиск «особого», отличного от мирового пути России к демократии. Суррогатные институты квазипредставительства называют парламентаризмом «особого рода», совершая элементарную подмену понятий.

Таким образом, готовность гражданского общества к полноценному политическому участию есть не результат, но процесс: она формируется по мере осознания им своей социальной идентичности, способности оппонировать антилиберальным тенденциям и развития каналов коммуникации, позволяющих определять условия «общественного договора», т.е. характер социального консенсуса. В России, однако, всегда побеждает идея отложенного консенсуса, который принимается не как категорический, а скорее как гипотетический императив (т.е. сама возможность его установления сопровождается известными оговорками).

Чем определяется возможность политического участия гражданского общества? Стратификация гражданского общества по такому критерию, как политическое участие, наиболее информативна для выявления общего вектора его развития. Исследователи говорят о существовании ряда социальных слоев и групп: собственно гражданского общества (как наиболее широкого понятия) и далее, по степени сужения объема – политического класса, правящего класса и властвующей элиты. Все эти слои в неодинаковой степени вовлечены в политику.

Население в России традиционно было вне политики. Она являлась уделом незначительной части общества. Сейчас в России политика делается на уровне элит при некотором участии политического класса. *Гражданское общество отсутствует в схеме*. Но это – очень узкие рамки. Даже если обеспечить систему обратных связей в таком узком пространстве, она будет иметь ограниченный характер. Однако любая политика, тем более в условиях кризиса, предполагает поиск социальной опоры. Эта задача не так проста, как может показаться на первый взгляд, поскольку она не сводится исключительно к раздаче привилегий или технологическому манипулированию социальными группами. Стержень этой политики – в отыскании основы консенсуса: тех ценностных ори-

ентиров, которые способны обеспечить стабильность и предсказуемость политического процесса. Задача состоит в том, чтобы активизировать все компоненты широкого гражданского общества. Это предполагает либерализацию политического режима.

В отношениях общества и государственной власти в современной России вновь проступает патерналистская составляющая (что все чаще рассматривается как долгожданное возвращение к историческим «истокам»). Каналы коммуникации между гражданским обществом и политической властью хорошо известны: это всеобщие выборы на многопартийной основе, эффективный парламентаризм, развитая структура активных неправительственных организаций (НПО), независимые и профессиональные судьи, пользующиеся доверием общества, активные СМИ, доводящие до общества реальную информацию о политическом процессе и дающие его критический анализ (в современном обществе именно пресса обеспечивает необходимые каналы коммуникации и систему обратных связей).

Если эти институты по тем или иным причинам перестают работать, возникает потребность в их имитационном воспроизведении. В эту конструкцию вполне вписываются слабый парламентаризм и такие в сущности суррогатные институты, как Общественная палата (ставшая механизмом селекции общественных инициатив), общественные приемные (выражающие традиционную патерналистскую легитимность), а также напоминающая монархические традиции практика встреч главы государства с представителями «цензовой» демократической общественности (показательно, что у нас обсуждается лишь вопрос о том, насколько регулярными будут эти встречи, но не сам формат диалога).

Концепция «управляемой демократии», возможно, дающая определенный мобилизационный эффект в краткосрочной перспективе, в длительной перспективе ведет к сужению каналов обратной связи и в конечном счете к стагнации. Как показывает опыт брежневизма, стагнирующие режимы при внешней крепости оказываются чрезвычайно непрочны в ситуации кризиса. Напротив, режимы, сохраняющие конкурентную политическую среду, при внешней непрочности оказываются более стабильными и гибкими по отношению к внешним вызовам.

Можно ли выделить какие-то системные особенности отношений общества и государства в России, в принципе исключающие

демократический и конституционный векторы развития? Нет. Следует говорить об исторических особенностях российской политической системы и связанных с ними культурных стереотипах, но нельзя делать на этой основе вывод о принципиальной невозможности либерального конституционного проекта в России. Сам факт воспроизведения авторитарного режима на разных стадиях исторического процесса служит для некоторых публицистов почвеннического направления неопровергимым доказательством того, что в России сложилась особая система власти, которая не поддается реформированию и отторгает конституционализм, так сказать, на системном уровне. Одни сожалеют об этом, другие, напротив, приветствуют, усматривая в этом феномене выражение «самобытности» российской государственности, которую не следует перекраивать по западным лекалам. Сравнительная типология политических режимов, однако, позволяет найти вполне убедительные аргументы против этого вывода. То, что признается главной исторической «особенностью» российской системы власти, выступает таковой лишь при сравнении с развитыми западными формами конституционализма.

Следует подчеркнуть, что конституционализм – самостоятельный элемент политической модернизации. Более того, основной элемент такой модернизации в Новейшее время. Можно даже сказать, что это наиболее рациональная технология построения современного демократического государства. Поэтому всегда существует выбор: принимать эту технологию или нет. Сравнение двух немецких государств – Западной и Восточной Германии, двух китайских государств – КНР и Тайваня, двух корейских государств – Северного и Южного – хорошо иллюстрирует этот вывод. При сходных экономических, социальных и религиозных исторических традициях осознанный выбор технологии построения государства приводит к диаметрально противоположным результатам и в конечном счете оказывает эффективное обратное воздействие на экономический и социальный строй.

Выбор вектора развития совершенно свободен, здесь нет никакой фатальности (если, конечно, элиминировать фактор внешнего воздействия на ситуацию выбора). В известной формуле Гегеля следует подчеркнуть вторую ее часть: «Все разумное – действительно». Поэтому выбор между демократией и авторитаризмом в России имеет вполне прагматический характер.

История, конечно, многое объясняет и без нее нельзя понять современную российскую ситуацию, но из этого не следует, что она всегда служит хорошим ориентиром на будущее. Не нужно механистически объяснять недостатки современной политической системы и тем более стратегию развития ее пороками в прошлом. Есть в истории такое наследие, от которого лучше отказаться и не переносить в будущее. Для общества поэтому чрезвычайно важна критика исторического опыта, понимание того, от какого наследия мы отказываемся и почему.

В истории России уже предпринимались попытки радикального переустройства политической системы. В связи с этим возникает вопрос: в какой мере исторический опыт российского конституционализма информативен для решения современных проблем? Прежде всего, нужно опровергнуть два крайних суждения: об органической невосприимчивости России к конституционным ограничениям власти, с одной стороны, и противоположное утверждение – о том, что в России конституционализм существовал всегда, но имел особую природу, отличную от западных его форм, – с другой. Первое утверждение опровергается тем фактом, что в России существовала длительная история дебатов об ограничении монархической власти, восходящая к конфликтам боярской аристократии с государями еще в период формирования централизованного государства. Следует также помнить о традиции конституционных проектов: они регулярно создавались оппозицией в Новое время начиная с XVIII в. (первый оформленный проект – Кондиции Верховного тайного совета 1730 г.). Наиболее разработанными документами такого рода стали проекты русского либерализма, подготовленные Конституционно-демократической партией в канун революции 1905 г. и заложившие основу трансформации абсолютизма в дуалистическую монархию.

Второе утверждение – в России всегда был конституционализм, но «особого рода», основанный на соборности и симфонии общества и власти, вечевых традициях, общинах, институтах, земских соборах, так называемом правительственном конституционализме, – также не соответствует действительности. Здесь очевидна логическая подмена понятий: в традиционных институтах (как и в институтах номинального конституционализма советского периода, представлявших их испорченную копию) речь шла не о подлинном ограничении политической власти со стороны общества.

ва, но лишь о попытках легитимации власти путем совета с «землей». Сторонникам этой позиции следует напомнить римскую формулу: «An nescis longas regibus esse manus» («Разве ты не знаешь, что у царей длинные руки?»).

Конечно, проблема России заключается в том, что реальный переход к конституционному строю начал осуществляться очень поздно, в начале XX в., с большим опозданием по сравнению с другими государствами Европы и даже Азии (например, Конституция Мэйдзи в Японии) и очень быстро был остановлен большевистским режимом однопартийной диктатуры, принципы которого оставались неизменны до 90-х годов XX в. Поэтому на протяжении большей части истории Нового и Новейшего времени у нас не было даже тех эфемерных форм конституционализма, которые существовали, например, в странах Южной Европы и Латинской Америки.

В условиях абсолютного преобладания государственного начала над обществом и крайней слабости последнего решение проблем политического переустройства всегда было неустойчиво и напоминало колебания маятника: от анархии до авторитаризма в разных формах – монархического абсолютизма, советского однопартийного режима с культом личности или, наконец, сверхпрезидентского режима, вызывающего ассоциации с цезаристско-бонапартистской традицией.

Как можно объяснить эту негативную динамику, почему периоды движения к конституционализму сменяются возвратными движениями? Историческая динамика российского конституционализма представляет собой специфический вариант цикличности. Я предлагаю теорию конституционных циклов, которая, по аналогии с теорией экономических циклов Кондратьева, раскрывает механизм конституционных изменений как смену трех основных фаз: отказ от прежней конституции (деконституционализация), принятие новой (конституционализация) и трансформация последней под влиянием социальной реальности (реконституционализация). Это, в свою очередь, связано со сменой социально-психологического состояния общества.

В России выделяются три больших цикла конституционализма: протоконституционализм начала XVII в., конституционные циклы начала и конца XX столетия. Их отправной точкой является конституционная революция (радикальный отказ от предшествую-

щего Основного закона), высшая фаза представлена принятием новой конституции, а завершение связано с трудным процессом согласования Основного закона с социальной реальностью. На этой третьей фазе в России исторически всегда доминировала та или иная форма авторитаризма.

Следуя этой логике, мы должны признать, что современный период должен быть определен как заключительная фаза третьего цикла, начатого конституционной революцией конца XX в. Как и в ходе предшествующих циклов, мы становимся свидетелями трудного поиска соотношения новых конституционных норм (отчасти заимствованных извне, отчасти соответствующих предшествующим либеральным традициям) и меняющейся социальной реальности.

Так возникает феномен конституционного параллелизма, который вновь ставит нас перед дилеммой демократии и авторитаризма, выбора вектора будущего развития политической системы. Именно на этой фазе закладывается основа той политической системы, которая может просуществовать достаточно долго. Вопрос заключается в том, удастся ли на этот раз преодолеть традиционный выбор в пользу авторитаризма или он вновь окажется доминирующим и цикл получит привычное завершение.

 **А.Н. Аринин** (*журнал «Политическое образование»*): Остановлюсь подробнее на взаимоотношении власти и общества в России в 1990–2009 гг. При характеристике политической культуры России следует, на мой взгляд, исходить из двух положений.

Во-первых, политическая культура постоянно развивается и меняется: это не застывшая социальная плаズма, а живое творчество граждан, реализующих свой свободный выбор и отвечающих за него. Цель такого творчества – совершенствование человека и общества, что есть объективный закон общественного развития. Этот закон в принципе исключает возможность существования замкнутых, неизменяющихся систем власти и политических культур при общности глобальных условий жизни народов мира и универсальности вызовов человечеству.

Во-вторых, в информационную эпоху процесс изменения политической культуры идет гораздо стремительнее, чем раньше. Информация, передача знаний стали сейчас фундаментальным источником развития общества. Это мотивирует людей активнее уча-

ствовать в жизни своего государства, энергичнее защищать собственные права и свободы. Люди получили возможность выбирать варианты решения тех или иных проблем. Их участие в жизни государства заключается в активном гражданском контроле над деятельностью власти. Информационная эпоха, таким образом, стимулирует общество устанавливать обратную связь с государственной властью с целью повышения ее эффективности.

Исходя из этого и следует характеризовать отношения власти и общества в России в 1990–2009 гг. За эти годы Россия прошла условно два этапа преобразований. Первый этап (с июня 1990 г., момента принятия Декларации о государственном суверенитете России, по август 1998 г.) характеризуется, с одной стороны, демонтажем плановой экономической и советской политической систем, а с другой – формированием новых экономических, политических и общественных отношений. Все эти годы государственная власть из-за безответственности, повсеместного нарушения закона и масштабной коррупции была неэффективна. Как следствие, процесс преобразований в стране осуществлялся с огромными ошибками, массовыми нарушениями прав и свобод человека, что тяжело отразилось на состоянии дел в экономике и социальной сфере. Вместе с тем россияне достойно прошли этот труднейший этап жизни страны. Главной движущей силой развития России является российский народ. Когда в начале 90-х годов в стране рухнули планово-распределительная экономика, социалистические общественные отношения и политика государственного патернализма, россияне оказались в условиях свободного выбора в решении своей судьбы.

Поэтому не могу согласиться с утверждением Юрия Сергеевича Пивоварова о том, что власть в России имеет «неполитический характер», «она носила и носит сейчас характер непонятный, метафизический», что власть «не порождена обществом, а придана ему извне и управляет им на дистанции». Эти рассуждения, на мой взгляд, не имеют объективной основы и носят предвзятый характер. В то же время следует признать, что из-за нарушения избирательных прав граждан, отсутствия широких слоев среднего класса выборы в регионах и на местном уровне во многом не отвечали демократическим нормам.

На мой взгляд, нельзя также согласиться и с точкой зрения, согласно которой в России «власть не договорная, в отличие от ев-

ропейской, – ей просто не с кем договариваться», так как она является «моносубъектом русской истории». Вспомним отечественную историю. Еще со времен Древней Руси существовал институт договора между князем и народом. С помощью института веча – народного собрания как верховного органа власти городов-государств второй половины XI – начала XIII в. – народ влиял на ход политической жизни. Конечно, договорной характер власти на Руси был подорван монгольским завоеванием. Однако вплоть до конца XV в. в Новгородской и Псковской республиках вече оставалось главным гарантом договорного института власти.

Пяти вековая традиция народных собраний в Киевской и Новгородской Руси в Московском государстве в XVI в. преобразовалась в Земской собор. Н.И. Костомаров по этому поводу писал, что в XI–XV вв. существовали «вече по одиночке, но никто не додумался до великой мысли образовать одно вече всех русских земель – вече веч». Земской собор решал достаточно широкий круг вопросов – устанавливал законы (соборы 1550, 1649 гг.), решал вопросы войны и мира (соборы 1566, 1632, 1634 гг.), санкционировал реформы и новые налоги (соборы 1549 и 1649 гг.), наконец, избирал нового царя (соборы 1584, 1598, 1613 гг.).

Договорные отношения сохранились между правящим классом – боярством – и московскими государями. В.О. Ключевский, непревзойденный до сих пор знаток московских элит, указывает: «Среди титулованного боярства XVI века утверждается взгляд на свое правительственные значение не как на пожалование московского государя, а как на свое наследственное право, доставшееся им от предков независимо от этого государя». Боярство смотрело «на себя как на собрание общепризнанных властителей Русской земли, а на Москву как на сборный пункт, откуда они по-прежнему будут править Русской землей, только не по частям и не в одиночку, а совместно... и всей землей в совокупности. Значит, в новом московском боярстве предание власти, шедшее из удельных веков, не прервалось, а только преобразовалось». Добавим к этому, что и старые нетитулованные московские бояре были, по мнению Ключевского, «вольными слугами князя по договору». Совершенно неизвестно, каким образом могла в такой стране установиться «не договорная, моносубъектная власть».

Если говорить о современной политической культуре России, то здесь тем более нет оснований рассуждать о том, что власть у

нас не договорная, ибо ей не с кем договариваться. Вне всякого сомнения, без доверия и поддержки власти в 1990–1993 гг. российским обществом реформы были бы невозможны. В декабре 1993 г. на всенародном референдуме за новую Конституцию России проголосовало свыше 57% российских граждан. Таким образом, Конституция стала специальной договоренностью между государством, с одной стороны, и гражданами – с другой.

Неверно, на мой взгляд, рассуждать и о том, что российское общество не меняет своего отношения к власти. Так, на грубые ошибки в проведении реформ в 1992–1993 гг. и на расстрел парламента россияне ответили протестным голосованием в Государственную думу в декабре 1993 г., отдав свои голоса ЛДПР. Обнискание большинства россиян в результате радикальных реформ заставило их проголосовать на выборах в Государственную думу в 1995 г. за КПРФ, а на выборах Президента России в 1996 г. едва не победил Г. Зюганов.

Общество выбирало власть на федеральном, региональном и местном уровнях, строго реагируя на нарушения общественного договора. Вместе с тем общество оказалось не в состоянии заставить власть (федеральную, региональную и местную) добросовестно исполнять закон, соблюдать права и свободы человека, компетентно управлять финансовыми и материальными ресурсами, качественно и своевременно оказывать публичные услуги людям. Безусловно, Россия могла бы развиваться интенсивнее, если бы ей не препятствовали беззаконие, безответственность, некомпетентность и коррупция власти, которые во многом были обусловлены непрозрачностью ее деятельности и, следовательно, отсутствием эффективного гражданского контроля над ней.

Второй этап преобразований в России (с сентября 1998 г. по август 2008 г.) характеризовался в первую очередь восстановлением российской государственности, усилением роли государственной власти в регулировании экономики, что обусловило ее подъем. Он был связан также с формированием устойчивой, дееспособной политической системы, возвращением России на мировую арену как сильного государства, с которым считаются и которое может постоять за себя, пробуждением самосознания российского народа и ощущения самоценности России.

Все это стало возможным благодаря поддержке российским обществом курса президента страны В. Путина на защиту нацио-

нальных интересов России: обеспечение ее конституционного и территориального единства, усиление регулирующей роли государства в экономике, отстранение олигархов от власти, повышение жизненного уровня россиян. По сути, это был новый общественный договор, ориентированный на восстановительно-стабилизационные процессы.

Сегодня финансово-экономический кризис объективно требует от российского правящего класса создать необходимые условия для неукоснительного исполнения закона, формирования компетентной власти, мотивации к производительному труду, проявлению деловой энергии и инициативы. По существу, сегодня страна стоит перед третьим этапом преобразований – этапом модернизации России.

И.И. Глебова (НИИОН РАН): Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы к выступавшим докладчикам.

?

Ю.С. Пивоваров: У меня вопрос к Кириллу Георгиевичу Холдковскому. Вы говорили очень важные вещи об эволюции политической культуры – например, о том, что в XX в. произошли падение патриархального коллективизма и становление атомизированного индивидуализма. Какие еще важные, на Ваш взгляд, изменения можно отметить?

 **К.Г. Холдковский:** Затрудняюсь дать исчерпывающий ответ. Я думаю, что традиционная политическая культура утратила внутреннее единство и стала многообразной в своих проявлениях. Может быть, это связано с усложнившейся структурой общества: сейчас почти исчезла деревня и большую роль играет город. А город – это нечто более многообразное. Политическая культура играет сейчас разными своими ипостасями гораздо больше, чем это было в начале прошлого века.

?

Б.И. Коваль (журнал «Политическое образование»): Когда Вы говорили о массовом восприятии демократии (усвоена на верbalном уровне, принята более образованным слоем), Вы не характеризовали связь демократии со справедливостью. Ведь справедливость – это основа демократии. И в глубине народа сохраняется неизбывная и неудовлетворенная тяга к справедливости.



К.Г. Холодковский: Справедливость каждая группа, каж-

дый социальный слой понимает по-своему. У нас нет той культуры «обтачивания» этого понятия, которая исторически сложилась на Западе. Когда-то социальная справедливость появилась в значении «равенство положения». Потом оно было практически отвергнуто. У нас этого не произошло.

!

И.И. Глебова: Позвольте мне добавить. Когда у наших граждан сейчас спрашивают: «Что происходит в российской политике?» – большинство отвечает, что строится демократия. Раньше все терялись, когда задавали вопрос: «А что вы понимаете под демократией?» Теперь знают: это сосредоточение власти в руках президента, государственный контроль над экономикой, СМИ и т.д. – при сохранении потребительских свобод и независимости частной жизни. Видимо, и понятие «справедливость» должно быть расшифровано «сверху». «Верхи» явно заинтересованы в переинтерпретации понятия – ведь основная часть населения исторически ориентирована на распределительную модель. В соответствии с ней справедливы не гарантированное законом равенство прав и социальная защищенность неимущих, а материально-имущественное поравнение, приведение большинства к некоему «срединному» эталону. Кстати, такая доминирующая установка плохо согласуется с демократической идеей. Точнее, свидетельствует о «первобытном демократизме» массового сознания.

?

И.С. Семененко (ИМЭМО РАН): Юрий Сергеевич Пивоваров говорил о сложной природе русской власти, о наличии в ней репрессивно-подавляющей и революционно-реформистской компоненты. Власть выглядит у него как двуликий Янус. Кирилл Георгиевич Холодковский несколько иначе поставил вопрос, но, мне кажется, речь шла об одном и том же. Он говорил об элите государства и об элите, которая ориентирована на развитие, но отеснена с лидирующими позиций. Можно ли выявить факторы, которые актуализируют реформистскую природу власти или выведут на ведущие позиции элиту развития? Каковы перспективы России в этом отношении?



К.Г. Холодковский: Вопрос этот прогностический; мы не можем точно знать, как все произойдет и произойдет ли вообще. Если пофантазировать, можно сказать, что для реализации этого сценария необходим целый ряд условий. Первое: такое изменение объективной ситуации, которое заставит власть искать какие-то новые методы взамен тех, что уже не срабатывают. Второе условие – на этой почве возникнут раскол и внутренняя борьба «наверху», причем «элита развития» и часть господствующего класса, озабоченная собственным выживанием, должны будут опереться на какие-то социальные силы. Наверное, в первую очередь на активное меньшинство, потому что на пассивное большинство в такой ситуации еще никому опереться не удавалось. Будет так или нет, очень сложно сказать. Возможен и тот вариант событий, о котором здесь уже говорилось, – выдвижение на первый план погромных качеств толпы.

И.И. Глебова: Вопрос был задан не только Кириллу Георгиевичу Холодковскому, но и Юрию Сергеевичу Пивоварову. Поэтому было бы интересно послушать и Ваш ответ.



Ю.С. Пивоваров: Действительно, это, так сказать, прогностический вопрос. Его можно свести к другому: способна наша культура меняться или нет? Преобразовалась ли наша культура за последние сто лет? Да, совершенно: стала урбанистической – и все изменилось. Впервые в истории основная масса людей живет не в природном ритме, а в условиях городской цивилизации, предполагающей всеобщую образованность и пр. Здесь присутствует профессор В.П. Булдаков, описавший в своей «Красной смуте» революцию в деревенской стране. И когда мы обсуждали наши перспективы, я подумал: если бы ему пришлось описать революцию в урбанистической России, походила бы она на Красную смуту? Возможен ли ужас деревенской революции в городской России? Конечно, за сто лет все абсолютно изменилось. И не следует недооценивать того объема демократии и прав, которые мы получили за последние годы. Тем не менее повторение этого ужаса возможно. Чтобы все произошло по-другому, должен измениться человек. А он почему-то не меняется или меняется, но не кардинально.

К вопросу о демократии. По данным опроса Левада-центра 12 декабря 2005 г., 55% населения уверены в том, что глава государства и суверенитет – это одно и то же. Большинство граждан считает также, что Конституция – это плод труда лично президента. Совершенно сказочные, мифологические представления у людей по поводу власти. Другая сторона проблемы – сама власть: и реформы, и репрессии она проводит исключительно для укрепления самой себя. Крепостное право было отменено против воли дворян, которые бесконечно плакали о своих крестьянах. Царь сказал – освобождайте, и силой бюрократии освободили. Александр II сделал это, потому что понимал: в противном случае произойдет взрыв. Конституция 1906 г. была принята, когда стало очевидно, что только репрессиями революцию не подавить. И линия С.Ю. Витте победила не потому, что он хотел ограничения самодержавия (он был монархист), а потому, что понял – взорвут.

Проблема нашей власти – не в том, что в ней нет реформистской силы. Когда надо, она станет реформистской, когда надо – репрессивной, чтобы самосохраниться. И только когда общество изменится так, что власть будет его следствием (а не наоборот), тогда и она переменится. Однако парадоксальным образом российское общество не хочет меняться.

Я это утверждаю не только как исследователь, но и как администратор, который одиннадцать лет руководит институтом: люди не хотят самоуправляться, быть свободными гражданами в свободной стране. Как бы ты их к этому ни敦促дал, – не хотят. Они готовы играть роль подданных. Причем, если не будешь их к тому敦促дать, скажут: значит ты – слабый администратор. Это была проблема М.С. Горбачева и многих других: слабак, раз даешь свободу, а не бьешь по зубам.

И.И. Глебова: Есть еще вопросы, коллеги?

?

А.Н. Аринин: У меня вопрос к Андрею Николаевичу Медушевскому: охарактеризуйте подробнее явление конституционного параллелизма в России.

 **А.Н. Медушевский:** Параконституционализм распространен во многих политических режимах современного мира – в том числе и в России. Это явление в известной мере отражает

трудности соотнесения нормы и реальности трансформирующихся обществ.

Явление конституционного параллелизма было теоретически осмыслено в немецкой правовой литературе при анализе крушения Веймарской республики. В нем отразилось постепенное расхождение между текстом действующей Конституции (Веймарская конституция 1918 г. была одной из лучших для своего времени) и политическим процессом в расколотом обществе. Трансформация политического режима в направлении авторитаризма шла постепенно, причем без отмены Конституции: путем внесения поправок в нее, развития указанного права, а главное – выведением из сферы конституционного регулирования значительных социальных областей и образованием внеконституционных институтов.

Не буду останавливаться на специфически юридических аспектах проблемы, но подчеркну: эта технология представляет собой фактическую переоценку конституционных норм, их селекцию с позиций политической реальности. Как и всякая технология, она является ценностно нейтральной и может использоваться для достижения прямо противоположных целей – как демократизации режима (например, трансформации политической системы франкизма в направлении парламентской монархии), так и усиления его авторитарных тенденций (например, в ряде государств постсоветского региона и во многих развивающихся странах). В последнем случае ее проявлением становится такое «согласование» конституции с реальностью, которое существенно меняет содержательное наполнение основных норм без их формального текстуального изменения: развитие правового регулирования федеративных отношений в направлении централизации; ограничение механизма разделения властей путем введения неконституционных институтов, которые наделяются по существу конституционными функциями; ограничение независимости судебной власти и расширение сферы административного усмотрения, а также делегированных полномочий администрации; изменения избирательной системы, направленные на предоставление преимуществ одной партии, которая доминирует в парламенте, создание особого статуса для ее политического лидера.

Очевидно, что Россия не застрахована от такого процесса. Жесткость ельцинской конституции не стала препятствием для проведения в последнее десятилетие существенных корректировок

политической системы. Они касались ряда значимых направлений конституционного регулирования: федерализм (формирование федеральных округов и введение института полномочных представителей); отмена выборности губернаторов (мера, оспаривавшаяся как отступление от федерализма и приведшая к пересмотру Конституционным судом своей предшествующей правовой позиции); парламентаризм (изменения системы выборов в Государственную думу и троекратные изменения порядка формирования Совета Федерации); создание новых политических институтов (Общественная палата и Государственный совет); принятие нового законодательства о политических партиях (результатом стало их сокращение от почти 200 в 90-е годы до семи в настоящее время); введение нового порядка регистрации и отчетности НПО, приведшее к их значительному сокращению; неоднозначные преобразования судебной системы, ограничившие, по мнению критиков, степень независимости судей; регулирование режима функционирования СМИ и др.

Все эти изменения, существенно ограничившие масштаб либеральной интерпретации Конституции, формально выступали как ее pragматическая корректировка и были осуществлены без изменения Конституции или, во всяком случае, были признаны Конституционным судом не противоречащими Основному закону. Критики, напротив, оспаривали их конституционность и указывали на формирование параллельной политико-правовой реальности. Таким образом, полагали они, возможен переход к модели имперского президентства, где все рычаги власти сосредоточиваются в руках узкой правящей группы и даже одного лица.

Дополнительные аргументы в споре связаны с темой глобального экономического кризиса. Констатировав «кризис правового государства и кризис доверия», В.Д. Зорькин, например, счел необходимым выступить в защиту «элементов авторитаризма, существующих в управлении страной» (Конституционная симфония // Коммерсант. 2009. 9 апр.). Сославшись на ситуацию Веймарской республики, он фактически привел в защиту своей позиции аргументы К. Шмидта о необходимости выбора между хаосом и политическим порядком. Однако та «великая симфония» в отношениях общества и государства, к которой он призывал, может привести к реставрации прежних порядков, отвергнутых в ходе конституционной революции. Тогда конституционный цикл завершится установ-

лением авторитарного режима. Опыт предшествующих мировых кризисов и связанных с ними крушений парламентаризма в Европе и России заставляет настороженно отнестись к таким рекомендациям. Кризисы часто становились оправданием политических решений, шедших вразрез с развитием правовой системы.

? **Пхон Ким** (*аспирант, Южная Корея*): У меня вопросы к Александру Николаевичу Аринину. Почему Вы так оптимистичны? Вы считаете, что в российской власти все изменилось? Она стала более справедливой? Как Вы знаете, в любом крепком государстве интеллигенция находится в центре власти, но я не видел интеллигенцию у власти в России. И неужели при Путине и Медведеве существуют прочные отношения между властью и обществом? Считаете ли Вы, что государство укрепляется, особенно в сфере безопасности? И наконец, «скончалась» ли государственная идея? Я не вижу ее сейчас.

 **А.Н. Аринин:** Первый вопрос: почему я так оптимистичен?

Потому что, с одной стороны, высоко оцениваю пройденный Россией с начала 1990-х годов путь преобразований. А с другой – считаю, что созидательный потенциал российских граждан в значительной мере из-за нарушений закона еще остается не раскрытым. Поэтому Россия имеет достаточно большие резервы для осуществления необходимых преобразований.

За последние 20 лет в России были заложены основы рыночной экономики, правового, демократического государства, среднего класса – главной силы гражданского общества. На такой путь многим странам понадобилось 200, 300, а некоторым и больше лет. Напомню: в Соединенных Штатах Америки граждане стали напрямую выбирать Сенат лишь через 130 лет после первых парламентских выборов. Женщины в США были наделены избирательными правами только в 1918–1919 гг., или более чем через 140 лет после первых выборов. А люди с черным цветом кожи, или, как сейчас принято говорить, афроамериканцы, получили право голоса только во второй половине XX в. (более чем через 190 лет). Таким образом, в процессе формирования правящего класса и контроля над его деятельностью участвовал далеко не весь американский народ. Тем не менее никто не сомневается, что в США все это время была демократия.

Теперь об отношениях российского общества и власти. В начале 1990-х годов благодаря тому, что россияне поддержали курс на реформы, у нас не случилось гражданской войны. Что касается отношений общества и власти в 2000-е годы, то здесь российские граждане, исходя из национальных интересов страны, поддержали курс В. Путина. В настоящее время перед нашей страной стоят новые задачи, которые предстоит решать просвещенной части правящего класса. Просвещенным определенный сегмент правящего класса называется не потому, что в нем входит интеллигенция, а потому, что ориентируется на цели модернизации. По всем социологическим опросам, модернизационную политику российские граждане поддерживают.

Наконец, последний вопрос: есть ли в России государственная идея? Да, есть, и она сформулирована в Конституции России: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

! **И.И. Глебова:** Предлагаю, коллеги, перейти к обсуждению.

И пользуясь правом ведущего, сначала дам слово себе. Это реплика на последнее выступление. Была такая профессия в советские времена: навевать сон золотой. Однако трудно быть адвокатом демократических перемен, конституционной, правовой идеи в современной России. При всех случившихся в ней изменениях. Еще во второй половине 1990-х стало ясно, что демократический, правовой тренд не стал определяющим для нашей страны. Утверждать обратное можно, – понять реальное положение дел таким образом нельзя. Кстати, о конституционизме: если Конституция не стала нормой социальных отношений (а она не стала такой нормой), – значит россияне не договорились с государством о правилах социальной «игры». Во всяком случае, на правовой, законной, легальной основе. А государство – с гражданами. Не состоялся «общественный договор». Кто еще хотел бы высказаться?

 **В.П. Булдаков (ИРИ РАН):** Я не готовился специально, поэтому то, что я скажу, будет экспромт. Во-первых, хотелось бы выразить глубокое удовлетворение тем, как сформулирована тема семинара – «Власть и российская политическая культура». Мы ведь ухитряемся, анализируя политическую культуру, говорить

только о власти и не соотносить ее с социальной средой. Это такая особенность политической культуры: мы должны оставаться самыми лучшими. Тогда непонятно, почему у самых лучших воспроизводится именно такая власть, со всеми ее периодическими вертикалями и смутами. Мне думается, что, прежде чем рассуждать о власти, стоило бы поговорить о нас самих: о россиянине как культурно-историческом типе (или типах, что правильнее), его архетипах, стереотипах и т.д.

Мы ведь считаем себя особенными: остальной мир нам не указ; что немцу – смерть, нам – здорово. Это всем известно. Но в чем она, это особость? Прежде всего в том, что мы живем не в обществе, а в государстве. Мы убеждены, что принадлежим государству. Государство, как и водка, у нас метафизическая величина. Вот такие странные параллели.

Сегодня в основном говорили о том, что все у нас меняется и все мы стали совсем другими. А вот перед семинаром сидели мы, три известных автора: один занимается Смутным временем, другой – революциями, третий – сталинским террором. И в один голос сказали: да ничего не меняется. Человек один и тот же, просто закинут в разные эпохи.

Что происходило с нами в XX в.? Бывшая крестьянская страна в результате урбанизации переселилась в город и перенесла туда все общинные стереотипы. Говорят, русский человек – коллектиivist. Но он таким становился только тогда, когда ему противостояли помещик или государство. А без этого поедом ел другого – в этом смысле он, скорее, антиколлективист.

Ведь это государство запихивало его в общину, понимая ее как фискальную организацию. Как рассуждал крестьянин, когда беседовал с помещиком? Земля – Божья, мы – Ваши, и Вы, помещик, – тоже наши, мы связаны. Из таких идей рождаются соответствующие представления о государстве (точнее, о власти, хотя власть и государство у нас, в принципе, неразличимы) как о какой-то метафизической величине. Мы вообще с трудом различаем реальное, воображаемое и символичное – у нас все перемешано.

В заключение несколько слов о водке и об аналогиях. Когда иностранцы спрашивают, что это за напиток – водка, я отвечаю: ваш самогон растет «снизу», а водка «спускается» сверху и разбивается. И политическая система у нас такая же – сверху спускается при всеобщем одобрении. Бывают, правда, времена, когда начиная-

ется какая-то неурядица, революция, смута. Тогда вместо водки появляется самогон в самых различных видах: Южный Урал – это кислушки, Северный Урал – это кумышка, юг России – это кишмишевка и т.д. Вообще же идеал русской водки, если вспомнить Похлебкина, таков: ни цвета, ни запаха, хорошо бы пилась, чтобы все были довольны. И – извините за такие метафоры, но дискуссия провоцирует – такова же идеальная русская власть: без цвета, без запаха – были бы все довольны.

И заканчивая свой экспромт, хочу сказать: пока реальное, воображаемое и символическое не будут разъединены, у нас сохранится традиционная конструкция власти. Она будет принимать самые лучшие решения и законы, но сама же не станет их выполнять. И мы тоже не станем, хотя будем до поры до времени довольны.



Н.Ю. Лапина (ИИИОН РАН): Сегодня неоднократно звучала мысль: человек в России не меняется. Я отстаиваю совершен но другую позицию. На самом деле человек за последние 15–20 лет очень сильно изменился. Возможно, это не столь очевидно из-за действия ряда тенденций, которые затушевывают и подавляют трансформационные процессы. С 1991 г. я занимаюсь российским предпринимательством, поэтому из историка в какой-то мере превратилась в социолога. Могу сказать, что в чрезвычайно сложные 1990-е годы у нас появилось совершенно новое явление – средний и малый бизнес. Он ассоциируется с коррупцией, теневыми сделками, но то был невероятный всплеск человеческой энергии, там действовали очень талантливые, яркие люди. Крах произошел не по их вине: 1998 г. экономически уничтожил первую волну среднего и малого бизнеса, потом укрепившиеся бюрократия и бюрократическая власть полностью ликвидировали это явление. Теперь «наверху» говорят о необходимости его возрождения, что выглядит вполне цинично.

В последние годы я занималась также региональными исследованиями, которые показывают: в 1990-е годы в регионах сложилась политически конкурентная среда, появились сильные право-защитные организации, формировалось гражданское общество. Таким образом, «снизу» прорастали новые общественно-политические явления. Речь идет не о метафизике, а о том, что мне приходилось наблюдать и описывать. В 2000-е годы «вертикаль власти» победила политически конкурентную среду в российских

регионах. При этом наши исследования показывают, что сама вертикаль, не опирающаяся на общество, вовсе не так сильна, как кажется из Москвы.

 **Ю.С. Пивоваров:** Я сейчас занимаюсь эпохой С.Ю. Витте и могу повторить все, что говорила Наталья Юрьевна Лапина, про 90-е годы XIX столетия. Прекрасное время: развивается малый и средний бизнес, возникли первые партии, скоро появятся профсоюзы, зарождаются основы демократии. Россия – на мощном подъеме. Кстати, и кризис был в 1898 г. А потом пришло государство и руками С.Ю. Витте устроило монополию и особый капитализм. Когда В.И. Ленин писал про империализм как высшую стадию капитализма, он реагировал на происходившее в России. Возникли мощнейшие монополии, бюрократия взяла экономическую власть в свои руки, отняв ее у предпринимателей. Многое из того, что мы наблюдали в 1990-е годы, уже было сто лет назад.

 **М.В. Ильин (МГИМО(У) МИД РФ):** Мне очень понравилась идея Владимира Прохоровича <Булдакова>: ничего не получится, пока действительное и воображаемое не будут разнесены по своим местам. Оттолкнувшись от этой мысли. В начале своего выступления Кирилл Георгиевич Холодковский вспомнил Ю. Андропова (его известную фразу о незнании политическим руководством своего народа) и подчеркнул, что за последние 20 лет мы многое узнали. Здесь, пожалуй, соглашусь: проведена масса эмпирических исследований, многие из нас в них участвовали. Но штука в том, что это маленькие кусочки, мозаика, которую никто не удосужился соединить в целую картину. Поэтому, на мой взгляд, мы мало продвинулись в понимании нашего общества. И дело не только в господствующем недоверии к великим теориям. Как только мы начинаем обсуждать что-то, выходящее за рамки эмпирического материала, – перестаем разделять реальное и воображаемое, подчиняемся идеологическим мотивациям.

Вот, сегодня много замечательных людей высказалось, но ничего так и не прояснено – все говорят про политическую культуру вообще, про Россию вообще, про демократию вообще. Только в рамках этого «вообще» можно утверждать, что демократия у нас принята вербально. Я, например, не могу понять, что это значит – кем принята, какая демократия? Демократий много, они разные,

базируются на различных идеях. Кем-то демократия принята вербально, а другими вербально же отвергнута. Как показывают эмпирические мозаичные исследования, ситуация гораздо сложнее.

И сегодня в ходе дискуссии мы постоянно приходили к тому, что все не так просто, находили кучу противоречий и т.д. Но при этом по-прежнему пытаемся сказать, что российский человек не меняется – или меняется, демократия принята – или отвергнута. Здесь мы скатываемся к той ситуации, которую фиксировал Андропов. Приходится признать: ситуация оказалась непреодоленной. Мы повторяем одни и те же клише, разве что немного модифицированные. Меня это очень беспокоит.

Я не разделяю оптимизма Александра Николаевича Аринина в отношении многих вещей, но мне симпатично, что он призывает исходить не из предвзятых оценок, а из позиции непредрешенца: давайте посмотрим, что происходит во власти (какие там страсти, конфликты), и попробуем с этим разобраться, а уже потом перейдем к другому. Если исходить из классического представления о политической культуре как системе ориентаций на политическое действие, то можно уподобить ее языку. И тогда реально мыслима следующая ситуация: в рамках русского языка существуют диалекты, индивидуальные особенности и т.д.

Бывают и такие типичные ситуации, как диглоссия, которой можно найти «аналоги» на уровне политической культуры: у нас всегда были и остаются верхи со своими языками и политическими ориентациями и простой народ. Сейчас появились более сложные, чем прежде, деления – «баре» и «просто-народье». Может быть, следует говорить уже не о диглоссии, а о полиглоссии, но основополагающее социальное расщепление сохраняется. Поэтому, говоря о политической культуре вообще, т.е. игнорируя социальные разделения, мы сами себя загоняем в тупиковые ситуации.

Есть такой термин – «двусмысленная эластичность». С его помощью можно объяснить, как реальное, воображаемое и идеальное перетекают у нас одно в другое. Однако существует и другая возможность, продемонстрированная модернизирующейся Европой: жить в условиях антиномии, т.е. признавая наличие двух взаимоисключающих правил, постоянно искать способы их примирения. Нам этого не хватает. Тем не менее и наш человек меняется. Я это вижу по молодежи. Появилась масса людей, которые уже способны мыслить в кантовских определенностях. И, что еще луч-

ше, действовать. Действие опережает мышление, что в данном случае не опасно.

В связи с этим вспоминается высказывание Роберта Даля из книги «Демократия и ее критики»: не надо сравнивать идеальные апельсины с настоящими яблоками. Поймите меня правильно, я не против обсуждения идеальных апельсинов, т.е. метафизических философских конструкций. Сам любитель таких занятий. Но очень трудно от масштабных, вечных, воспроизводящихся сквозь исторические эпохи конструкций перейти к сиюминутным вопросам.

Мы забываем, что есть еще настоящие яблоки, т.е. совершен но разные представления о демократии и справедливости, различные способы их отстаивания. Люди борются за справедливость, а потом думают о методах борьбы. Это нормально: пока что-то не сделаешь, не приблизишь к себе, не станешь размышлять об этом. Вот, что такое политика? Мне это объяснил в мои юные годы один комсомольский работник: заниматься политикой – значит, решать вопросы. Если они решаются, что-то делается, – цель достигнута.

А политическим сообщество становится тогда, когда решение вопросов перестает зависеть от одного человека, харизматического лидера, от текущей ситуации и появляются институты, к которым постоянно апеллируют. В заключение хотел бы вспомнить У. Черчилля, говорившего: демократия – самая худшая форма правления. Конечно, ведь она демонстрирует, что мы делаем плохо. Чтобы ее улучшить, нам самим нужно исправляться.

!
• **Н.Ю. Лапина:** Мне кажется, большая теория не может появиться, если неизвестны политические практики. Сейчас время изучения политической реальности. Момент, чтобы продвигаться дальше в теоретическом отношении, еще не наступил.

 **Б.И. Коваль:** Несколько слов о перспективах политической теории. Я исхожу из самого широкого понимания политической культуры как феномена историко-цивилизационного характера. Такой взгляд требует решительного обновления устоявшихся методов политологического анализа. Сложность не в том, чтобы взять да и отказаться от традиционных приемов (этого, конечно, не стоит делать), важно научиться более свободно и творчески подходить к новой действительности. Примеры смелого новаторского подхода, на мой взгляд, у нас есть. Можно, скажем, вспомнить раз-

работки Г. Сатарова о проблеме социального хаоса, М. Ильина – о политическом времени, Е. Шестопал – о массовом сознании, А. Галкина – об инновациях социального развития, В. Пастухова – о государственности, Ю. Пивоварова – о русской политической культуре, Ю. Васильчука – о «человеческом капитале» и др.

Однако все новации насквозь рациональны, малоэмоциональны и в целом имморальны, т.е. отстранены от экзистенциальных нравственных ценностей. Поэтому я задумался о выработке более эластичных морально-политических характеристик – не политологических, а именно морально-политических. Речь идет фактически о развитии этической политологии. Эта задача, на мой взгляд, сейчас приобретает особую актуальность.

! **Б.С. Орлов (ИНИОН РАН):** Хотелось бы дополнить. При анализе политической культуры одним из главных факторов, на мой взгляд, является взаимовлияние властей и соответствующей культурно-духовно-интеллектуальной среды. Это взаимовлияние происходит по-разному в различные исторические эпохи и в разных странах. Тем не менее оно постоянно существует. Если оно прекращается, власти вообще утрачивают какую-либо легитимность, превращаются в кучку узурпаторов.

 **И.С. Семененко:** Мне представляется, что мы собрались, чтобы обменяться опытом. Я предполагала обогатить свои знания на тему: каков сегодня субъект нашего развития; существуют ли возможности для перехода в инновационную парадигму развития или мы останемся в циклической парадигме?

Я, как и Н.Ю. Лапина, в 1990-е годы занималась исследованиями российского бизнеса. И совершенно согласна с тем, что тогда нашел выход большой потенциал энергии, который накопился на низовом уровне. Он сохранился и сейчас. Но вот какой парадокс. Между социально значимой творческой деятельностью, направленной на развитие страны, своего региона, и реальными механизмами использования этого потенциала существует разрыв, и он не преодолевается.

Это один из парадоксов российской политической культуры. Я сошлюсь на вывод исследования, о котором упоминал Кирилл Георгиевич Холодковский: в наиболее развитых странах субъект инноваций вписан в социальную, институциональную, экономиче-

скую и политическую системы, поэтому макросоциальные факторы играют самостоятельную роль во всех трансформационных процессах. В России эта роль, несомненно, слабее; решающим фактором модернизации оказывается индивид, который обладает способностями и волей к инновационной активности.

Тогда главные для нас вопросы: почему не происходит встреча индивида с соответствующими институтами; почему потенциал развития сосредоточивается исключительно на личностном уровне, а государство его игнорирует? Следующий вопрос: как стимулировать инновационное поведение в России, каковы должны быть основные параметры участия государства (не подавляющего, а поддерживающего) и кто является субъектом развития на индивидуальном уровне?

Мне представляется, что именно слабость ресурсов «надиндивидуальной» адаптации человека сдерживает потенциал развития. Люди хорошо адаптируются в частной сфере, но структурирование сообществ (даже интеллектуальных), налаживание межгрупповых связей происходят очень вяло. Сошлюсь на опыт учительского сообщества, которое я знаю: оно не создало концепцию школьного воспитания, поэтому государство формулирует и «спускает» свою. Профессиональное сообщество воспримет ее, скорее всего, негативно, и вряд ли общество в целом получит здесь хороший результат.

Необходимо налаживать механизмы обратной связи между государством и самоорганизующимися группами (они есть, хотя слабо организованы). Кроме того, очень важно для России структурирование активности на уровне территорий. Только на этом пути возможно превращение со временем нашей подданнической культуры в гражданскую.

И последнее. Формулируя вопрос об идентичности как ресурсе развития, я затруднялась в ее определении. Национальная? Но понятие нации у нас очень расплывчено. Государственная? Но она предполагает ориентацию только на государство. Определение «гражданская» явно не соответствует реальности. Я предлагаю говорить о национально-государственной идентичности, хотя и это полностью не исчерпывает содержания. В Европе, кстати, активнейшим образом идет дискуссия о проблемах идентичности, необходимой в рамках парадигмы развития. У нас такая дискуссия тоже идет, но на уровне «верхов», государственных программ. Она

не стала пока публичной. А это необходимо для становления гражданской идентичности.

! **Ю.С. Пивоваров:** К вопросу об идентичности. В свое время в ИНИОНе работал профессор Н.Н. Разумович, который сказал гениальную вещь: советские люди – это субъективные материалисты. Это удивительно точно: субъективный материализм пронизывает у нас все. Я думаю, что наша идентичность – субъективно-материалистическая.

 **В.П. Булдаков:** У меня – короткая реплика по вопросу о том, изменились мы или нет. Конечно, мы меняемся. Проблема в другом. Изменились ли мы по отношению к власти – вот вопрос вопросов в контексте нашей дискуссии. Я думаю, что не изменились, к сожалению.

В дополнение к уже сказанному я бы определил нашу власть как власть-симулянт: она и сама воздвигает потемкинские деревни, и для нас их строит. Мы привыкли и считаем это нормальным. Конечно, пока нам все это не надоест.

Власть двулика. Петр I, например, ассоциируется прежде всего с Медным всадником, образом империи. В связи с этим хочу привести такую историю. Когда Петр был в Англии, он попросил объяснить, что такое кильевание. Это наказание: матросов протаскивали под днищем судна. Петр захотел посмотреть, но ему сказали, что так в королевстве уже не накзывают. И тогда московский царь предложил для опыта кого-нибудь из своих. На что ему ответили: вы находитесь в Англии, и те, кого вы привезли, – под защитой английских законов.

Наша власть многолика: она и варвар, и просветитель, и революционер, и консерватор в одном лице. Ее мы терпим, с ней уживаемся – и в этом смысле до сих пор не изменились.

 **И.И. Глебова:** Михаил Васильевич Ильин призывал нас уйти от абстракций (перестать болтать?) и встать на здоровую эмпирическую почву. Давайте сделаем это.

Действительно, как стимулируется и реализуется участнический потенциал российского общества? Сегодня много говорили о том, что он есть, – вот только никак не проявится. Для демократического участия, появления политического субъекта должны быть,

как минимум, два условия: наличие в обществе солидаристского потенциала и социального доверия. Я приведу данные Левада-центра, последовательно с конца 1980-х годов проводящего сканирование советско-постсоветского мира¹. Когда задается вопрос о доверии, 83% наших сограждан говорят: доверять никому нельзя. Меньше всего, кстати, доверяют институтам – и особенно новым, демократическим: две трети общества не верят действующей политической системе. Около 90% граждан считают, что не в состоянии влиять на дела, которые выходят за пределы их ближайшего круга. Кроме того, они не готовы за что-то или кого-то, кроме себя, отвечать и ни на что не рассчитывают.

Эти неполитические ориентации решающим образом влияют на состояние политической культуры. Собственно, они достались нам от советского мира. Но там политическая активность (и ее симуляция) была условием самореализации. В освобожденном от принуждения «сверху» постсоветском социуме не стало общих целей, идей, идеалов – все победили задачи индивидуального обустройства (или «субъективный материализм», как сказал Ю.С. Пивоваров). Здесь политика не нужна, а демократия понимается как социально-экономические свободы.

Кирилл Георгиевич Холодковский говорил об атомизированном индивидуализме. Я, продолжая его мысль, сказала бы о победе в нашем социуме стихийного анархического индивидуализма и даже о явлении «парохиала нового типа» (среднеобразованного и среднеобеспеченного горожанина, молодого и среднего возраста). У нас анархические индивидуалисты явились вместо граждан. Они замкнулись в семейном, дружеском, профессиональном кругу, занялись исключительно своими частными проблемами. Вот ответ на вопрос – куда исчез активный человек 90-х? Сюда, в приватную сферу, и ушла его активность. Речь идет о сознательном отчуждении от общественной сферы, от политики и нежелании обсуждать и решать перспективные общественные задачи. Как реакция на повседневную жизнь, бюрократическую агрессию возникают сообщества самозащиты. Еще формируются сетевые (виртуальные) коллективы, и сейчас многие поют им восторженные песни. Но они

¹ См.: Адаптация к репрессивному государству: Фоторобот российского обывателя // Новая газета. – М., 2008. – 3 апр.

не выходят за рамки виртуального пространства, «замещенной» активности.

Все это не дает оснований говорить об обществе, т.е. коммуникативной системе, основанной на солидарности, чувстве сопричастности, общих ценностях и интересах. Мы имеем дело со слабоинтегрированной социальной средой, в которой возникают в основном «черные» и «серые» сетевые связи, а также реактивные сообщества самозащиты, распадающиеся по мере решения вызвавшей их появление проблемы.

Ощущение воображаемого национально-государственного единства, – а оно есть и очень сильное – поддерживается коллективными символами: великого прошлого, великодержавия, «особости» народной власти и героического народа, православной духовности. Приверженность им имеет декларативный и декоративный характер, не требует каких-то действий в их поддержку, но возвращает чувство национальной полноценности. За этими символами скрываются советские ценности; нынешняя символическая политика работает на их воспроизведение. Вообще, постсоветский человек (и из массы, и из «элит») в мировоззренческом отношении и в социальной практике недалеко ушел от советского.

Это, кстати, в полной мере относится к «нашой надежде» – молодым. Конечно, они живут в новом мире, где есть свобода и выбор. Это много. Но кроме этого мира и их самих им ничего не интересно. Молодые не просто забывают прошлое, но не нуждаются в его критической проработке. Опыт свободы для них в основном ограничен свободным потребительством. Среди прочего потребляется и «свободный мир»: контакты с западной культурой вовсе не нацелены на «научение» демократии. Запад их учит, как стать более изощренным потребителем. Практицизм гонит молодых во власть, государственные структуры, большой бизнес; они понимают, что «хорошая жизнь» – там. Ограничение политических, гражданских свобод при хорошей жизни их вполне устроит. Об этом говорят социологические исследования.

Если тезисно, т.е. очень общо, характеризовать нашу ситуацию, я выделила бы следующее. Не успев освоить гражданское участие на практике, не дав реально-участнической основы нашей политике, мы бросились в виртуальщину. Сейчас наш человек между собой и обществом помещает технический посредник: компьютер, а чаще – телевизор. Реальные проблемы, социальная жизнь

подменяются виртуальными. Очень удобно – никакой ответственности, активности; весь участнический потенциал перерабатывается, рассеивается в виртуальной среде. Это первое.

Второе. Политики, ученые постоянно предлагают государству повернуться лицом к людям. А оно к ним лицом и обращено, совсем его не скрывает. В этом – своеобразие современной власти: она открыта, откровенна и рассчитывает на понимание своих граждан. Правильно, кстати, делает. В известном исследовании образов власти, выполненном под руководством Е.Б. Шестопала, есть сведения о восприятии нашими людьми (бывшего) мэра Москвы Ю.М. Лужкова: шустрый, для людей что-то делает и себя не забывает. Оценка вполне доброжелательная, понимающая: ведь любой, получи он такие возможности, повел бы себя также. Это круговая порука, полное взаимопонимание власти и народа/населения – при их полнейшей отчужденности.

Теперь о том, что касается потенциала развития. Он вырастает из соответствующего опыта. А наш опыт – весь «сзади», как говорил М. Жванецкий, и весь он негативный. Если в 1990–2000-е и появился позитивный, то это опыт потребительский. Наш исторический и актуальный опыт ориентирует на пассивное приспособление к сложившимся условиям существования. Все пытаются их обжить, найти в них лазейки, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. Выходы если и находятся, то на неправовых путях.

И последнее. Левада-центр проводил в 2008 г. по заказу фонда «Либеральная миссия» социологическое исследование наших элит. О нем уже говорили Кирилл Георгиевич <Холодковский> и Ирина Станиславовна <Семененко>. Основная масса опрошенных (т.е. около 60–70%) не сомневается, что Россия так или иначе движется в сторону рынка и демократии, но четких представлений об оптимальном характере этого движения у разных групп респондентов нет. Крайне расплывчаты, неопределенны, слабо проработаны и представления о нынешнем состоянии страны.

Так вот, исследователи делают вывод, – на мой взгляд, вполне обоснованный: несмотря на видимую консолидацию вокруг В.В. Путина, в «элитах» нет согласия ни по поводу будущего, предпочтительных политических целей, ни по поводу настоящего. Во власти, в господствующих группах не вызревают перспективные, социально значимые идеи. Значит, они не нужны – там решаются свои задачи. Говорить же об «элите развития» можно только

до тех пор, пока она оттеснена от господства. Прорвавшись к власти, периферийные элитные группы быстро забывают об общесоциальных задачах и потребностях. В них побеждает «эгоизм правящего сословия», которому сейчас нет ограничений.

Сложилась парадоксальная ситуация: политические элиты лишены субъектности, политических субъектов нет и в обществе. В этом смысле наши власть и общество подобны – им одинаково не нужны изменения, свободы, труд и самоограничение. На этом подобии и держится социальная стабильность. В ее основе – общее стремление сохранить все так, как есть. Российские власть и общество говорят «нет» переменам, изменению существующего порядка вещей. Причем, вовсе не потому, что все так хорошо: накал недовольства несправедливым, социально неэффективным порядком, как показывают опросы, чрезвычайно высок. Удовлетворены очень немногие. По подсчетам социологов, «сообщество выигравших» от перемен – от 6–8 до 11–12% (реже называют цифры до 15–17%) населения. Все остальные в той или иной мере проиграли – в том смысле, что их «запас прочности», потенциал развития крайне ограничены. Здесь действуют две установки: нам и так неплохо; как бы не было хуже.



А.Н. Аринин: Некоторые Ваши выводы, Ирина Игоревна, являются, на мой взгляд, спорными.

Во-первых, не весь опыт развития России негативный. Например, развитие России в 1990–2009-е годы Вы определяете как «пассивное приспособление к сложившимся условиям существования». За этим обобщением нет объективности. Между тем благодаря реформам Россия за это время прошла огромный путь в создании новых экономических, социальных и политических отношений.

Во-вторых, Вы говорите, что «во власти не вызревает перспективных, социально значимых политических идей». Но ведь это не так. В феврале 2008 г. президент страны В. Путин выдвинул стратегию развития России до 2020 г. Ее суть – переход России на инновационный путь развития. В ноябре 2008 г. новый президент страны Д. Медведев в своем первом Послании Федеральному Собранию предложил ряд важных политических инициатив, связанных с совершенствованием демократии в стране. К настоящему времени многие из выдвинутых идей подкреплены необходимыми законами. Конечно, надо вырабатывать больше новых необходимых

стране идей. И здесь надо начинать с себя. А наша наука много ли предложила инноваций для модернизации власти, укрепления общества, формирования эффективной экономики?

В-третьих, Вы говорите, что «политическая элита лишена субъектности, политических субъектов нет и в обществе». Политическая элита является политическим субъектом по определению, иначе она не является таковой. Другой вопрос, что у нас правящий класс делится на две части. Меньшая часть – это просвещенный правящий класс. Именно он отстаивает национальные интересы России и поэтому ориентирован на реформы, развивающие и усиливающие страну. Большая часть правящего класса, увы, не защищает национальные интересы России и не желает преобразований. Очевидно, об этой части правящего класса Вы справедливо говорили. На мой взгляд, если данная часть правящего класса не перестроится и не станет проводником необходимых преобразований, то она неизбежно будет вынуждена уйти с политической сцены.

С одной стороны, Вы, Ирина Игоревна, справедливо замечаете, что «власти и обществу одинаково не нужны изменения», у них «общее стремление сохранить все так, как есть». Поэтому «российские власть и общество говорят «нет» переменам». Но с другой стороны, если ничего не делать, не осуществлять необходимых преобразований, то Россия может потерпеть крушение. Реформы в нашей стране, равно как и в других государствах, являются объективной необходимостью. В основе истории, современного и будущего развития человечества лежит мировой закон – процесс его совершенствования. Вот почему перемены неизбежны.

Современный мировой финансово-экономический кризис – это испытание для правящих элит. На Западе из-за нарушений правил честной игры, жадности и мошенничества элиты загнили и не справились с задачами развития. А в России правящая элита по-настоящему не сложилась, так как не ориентировалась на национальные интересы страны, была безответственной, бесчестной и алчной. Место политической элиты сегодня занимает правящий класс, который в лице своей просвещенной части только начинает ее формировать.

Перед формирующейся российской элитой стоит выбор: либо создать благоприятные условия для модернизации страны и тем самым сохранить себя, свою власть, собственность и финансы; либо быть сметенной с политической сцены новым правящим клас-

сом, способным осуществить необходимую модернизацию. Поэтому созидательные перемены в России неизбежны. Вопрос только в том, какой правящий класс будет вести за собой общество в осуществлении необходимых преобразований: нынешний или новый, который придет ему на смену.

!
И.И. Глебова: Я думаю, Ваш ответ мне в моем ответе не нуждается. Рисовать такие картины – это отдельный жанр. Он не требует обсуждения.

 **Ю.С. Пивоваров:** Хочу добавить оптимизма, показав, как изменилось наше общество. Помните, 17 октября 1905 г. был царский манифест о свободе? Тут же возникли профсоюзы, политические партии, общественные движения и т.д. 18 лет свободы в современной России ничего не дали – ни профсоюзов, ни партий. В советское время общество изменилось так, что оказалось совершенно неспособным к самоорганизации.

Государство до революции было заинтересовано в людях, в народе. Оно, например, создавало фискальные общины, чтобы дать возможность прокормиться дворянскому классу. Коммунистическое государство нуждалось в солдатах, которые распространяли бы его идеологию «по всему земному шару». Нынешнее государство сбросило с себя все заботы. И хотя в Конституции записано, что у нас социальное государство, это не так. Оно абсолютно асоциально. Мы нашей власти не нужны. Она нуждается в газе, нефти, драгметаллах и группировках людей, которые всем этим занимаются и обслуживают «верхи». Остальное общество «сословию управляющих» неинтересно. Современные социальные программы – чистая риторика: ничего этого нет, всерьез заниматься ими не хотят.

Мне кажется, что в России на рубеже 1980–1990-х годов произошла революция, про которую когда-то говорили марксисты. Но они не предполагали, что какой-то класс в ходе революции станет собственником. Номенклатура, которая была организующим элементом советской политической системы, пожертвовала несущими структурами этой системы и стала собственником. Все эти директора заводов и т.п., бывшие только функцией, стали капиталом-функцией. Так что у нас произошла настоящая революция управляющих: они стали индивидуальными собственниками и получили власть. В России опять появился феномен власти-

собственности: у кого власть – у того и собственность. Спор В.В. Путина и М.Б. Ходорковского – это спор о том, кто есть кто в российской истории.

Можно много говорить, но одно очевидно: изменения произошли большие. Что же касается оптимизма или пессимизма, то это метафоры. Мы – исследователи и должны анализировать наличную ситуацию. А она складывается очень опасным образом. При резком понижении уровня эффективности служб безопасности и МВД правоохранительные органы вряд ли смогут справиться с беспорядками, о потенциальной возможности которых здесь говорили.

! **А.Н. Аринин:** Спасибо, Юрий Сергеевич. Вы правы, когда говорите, что мы как исследователи должны анализировать «наличную ситуацию», т.е. существующие реалии. А они таковы: сегодня российское общество сильнее, чем оно было в 1990-е годы, а власть компетентнее, чем когда-либо прежде. В то же время российская власть по-прежнему нарушает закон, остается коррумпированной, а также безответственной и как следствие – неэффективной. В свою очередь, российское общество из-за отсутствия широких слоев среднего класса еще слабо и пока не является надежным гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Поэтому, чтобы России быть конкурентоспособной в современном мире, власть нуждается в модернизации, а общество в укреплении.

Я считаю, что как исследователи мы должны не только объективно анализировать существующие реалии. Наш долг – вырабатывать новые идеи, которые необходимы для совершенствования этих реалий. Надеюсь, что в докладах и в дискуссии они прозвучали.

! **И.И. Глебова:** Очень диалектично, перспективно и оптимистично. Но это не формат научного исследования, поиска, полемики. В этом отношении мы сегодня, к сожалению, мало продвинулись. А вот российская политическая культура – в том числе благодаря размышлению, сомнениям и находкам, разговорам (странным трактуемым иногда как научная болтовня) участников нашего семинара – уже не *terra incognita* политической науки. Ее образ во многом прописан – и именно за последние 20 лет. Это и есть те новые идеи, которые выработала современная российская

наука. Наш семинар – я надеюсь – вписан в общий научный ритм, в общую работу критического самопознания. Только опыт такого самопознания может излечить нас от ущербной потребности мерить русскую жизнь меркой шефа жандармов при Николае I генерала Бенкендорфа: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».

РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ (Семинар 11 марта 2010 г., ИНИОН РАН)



Н.Ю. Лапина (ИНИОН РАН): Тема моего доклада – российский политический режим: проблемы изучения и интерпретации

В последние годы в России и за рубежом вышло немало работ, посвященных современному российскому политическому режиму¹. Мне хотелось бы обозначить некоторые подходы к анализу российского политического режима, сложившиеся в научном и экспертном сообществе Франции. Интерес к теме оправдан: ученые наряду с политиками, писателями, журналистами участвуют в формировании образов политического, которые затем транслируются обществу и нередко утверждаются в качестве стереотипов массового сознания. В процессе работы мною были проведены интервью с ведущими французскими специалистами в области изучения России (2007–2009 гг.).

Среди подходов к анализу российского политического режима я бы выделила четыре определяющих, влияние которых испытывают и другие: историко-трансформационный, сравнительный, институциональный и субъектный. Сравнительный подход позволяет понять, насколько российский случай типичен для посткоммунистических стран, а что в нем особенного, сугубо российского. Историко-трансформационный дает представление о месте постсо-

¹ Понятие «политический режим» заимствовано из политической науки. Я опираюсь на определение, предложенное Д. Хигли и Д. Бёртоном: «Политический режим – это образец (шаблон), в рамках которого принимающая решения правящая власть организуется, осуществляется и передается» (Higley J., Burton M. Elite foundations of liberal democracy. – Lanham: Rowman & Littlefield publ., 2006. – P. 15).

ветского периода в российской истории и его особенностях. Субъектный и институциональный раскрывают специфику функционирования политического режима «через» действующие в нем институты и акторов.

Историко-трансформационный подход

Сторонники историко-трансформационного подхода рассматривают существующий политический режим в континууме многовековой российской истории. «Для русских, – указано в монографии французского историка Ж. Соколоффа “Бедная держава”, – собственная история – это основная система отсчета; для того, чтобы лучше понять, как они мыслят и действуют, нужно заглянуть в их прошлое»¹.

Центральной темой, которая объединяет исследователей, является традиционализм российской власти. При этом понимается он по-разному. К воспроизводящимся чертам Ж. Соколоффа, например, относит: борьбу между открытостью (западничеством) и закрытостью (русофильством); контраст между внешнеполитическими амбициями государства и его материальными возможностями; противоречие между преодолением отсталости (модернизацией) и стремлением к сохранению национальной самобытности. Многие французские авторы обращают внимание на персонифицированность российской власти как ее главную отличительную черту. Есть дискуссионные точки зрения – скажем, об имперской сути современной власти. Для меня очевидно, что сегодня Россия не пытается воссоздать ни советскую, ни Российскую империю. Серьезные сомнения вызывает также тезис о единстве власти и народа, хотя она широко популяризируется близкими к власти экспертами.

Важно и то, что из положения о традиционализме российской власти делаются разные выводы. В одном случае речь идет о возвращении современной России в историческое русло – «к тому, что было всегда». В то же время, учитывая произошедшие в два по-

¹ Соколофф Ж. Бедная держава: История России с 1815 года до наших дней. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. – С. 19. Об особом отношении россиян к своей истории пишет и французский историк и литературовед Ж. Нива: «В России событие далекого прошлого, считает он, вызывает такую же острую реакцию, как событие современное» (Nivat G. Russie: Élats de mémoire // Courrier des pays de l'Est. – P., 2008. – Mai-juin, N 1067. – P. 11).

следних десятилетия общественно-политические сдвиги, некоторые авторы говорят о Новом политическом режиме¹ и даже новой революции.

Замечу, что взгляд на российский политический режим во многом определяется отношением к российскому прошлому. В французской общественной науке наша история рассматривается в парадигме деградации/нормализации. В первом случае внимание концентрируется на чуждости России европейской традиции, отсутствии в русской истории демократических черт, рабстве и сервилизме народа, неспособного действовать свободно и сознательно. Из этого представления формируется образ современности: неготовность россиян к демократии западного типа и неизбежность отката России в прошлое.

В этой логике рассуждает представитель «тоталитарной школы» историк и философ А. Безансон. Для него Россия – это страна отстающего развития, которая на протяжении всей своей истории пыталась разными способами (через религиозное чувство или построение империи) «компенсировать собственную неполноценность». Тот факт, что в постсоветской России не была осуществлена «декоммунизация», заставляет его опасаться за будущее страны. Главный «инструмент» интерпретации России для Безансона – исторический детерминизм. Апеллируя к нему, автор отказывает стране в перспективе европеизации и создания демократического государства.

Сторонники тезиса о нормализации России в духе философов эпохи Просвещения убеждены, что Россия – это европейская страна, только менее развитая, а ее будущее связано с преодолением отсталости и дальнейшей европеизацией. Оценивая постсоветский период, они отмечают, что России пришлось начинать строительство новых экономических и политических институтов с нуля, но она многое успела сделать. За прошедшие годы улучшились материальные условия жизни россиян; сформировалась и действует рыночная экономика; в России появились свободы, которых прежде не существовало. За годы, прошедшие после распада СССР, «Россия стала частью цивилизованного европейского мира, – пишет Э. Каррер д'Анкосс, – хотя многие из начатых в 1990-е годы преобразований остаются незавершенными, как остается незавершен-

¹ Sokoloff G. *Métamorphose de la Russie, 1984–2004.* – P.: Fayard, 2003.

ной и сама Россия»¹. В этой логике современный политический режим видится как важный этап в строительстве нового государства и укреплении позиций России на международной арене.

Формально не включаясь в дискуссию о модернизации традиционных обществ, французские обществоведы предлагают свое видение проблемы наследия. Сторонники теории «зависимости от пройденного пути» воспринимают прошлое как тормоз на пути общественного развития: «плохое» историческое наследие (державно-консервативная традиция и неудачи демократических преобразований) не дает шансов на успех в будущем. Им противостоят исследователи, предлагающие документированную картину истории России как части истории Европы. Они в целом дают позитивный ответ на вопрос о модернизационных перспективах страны, вместе с тем отмечая, что для дальнейшего движения вперед она нуждается в демократии и эффективном государстве (А. Фромен-Мерис). В этом контексте историческое наследие приобретает особый смысл и рассматривается как ресурс, стимулирующий преобразования (Ж. Радвани).

Следует учитывать, что история служит также легитимирующем или, напротив, делигитимирующем основанием современного политического режима. В литературе широко используются исторические параллели. Обращаясь к современности, авторы нередко оперируют понятиями Термидора, Реставрации, бонапартистского режима. Несмотря на внешнюю эффективность исторических аналогий, следует признать, что применительно к современному российскому политическому режиму тезис о реставрации советской системы неуместен. И не только потому, что в России в конце 1980 – начале 1990-х годов был демонтирован советский режим и заложены основы нового общественно-политического устройства. На сегодняшний день российская власть не обладает теми ресурсами, которыми она располагала в прошлом. У нее нет идеологии, которая пропитывала все сферы общественно-политической жизни СССР. Нет возможности восстановить основу советского строя – мобилизационный режим, как нет сил воссоздать советскую империю. Но самое главное, россияне не хотят возвращаться в прошлое. Опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром в декабре 2009 г., показал, что лишь 15% опрошенных вы-

¹ Carrère d'Encausse E. La Russie inachevée. – P.: Fayard, 2000. – P. 231.

ступают за реставрацию советского строя. Скорее, можно согласиться с Ж. Соколоффом, который предлагает применительно к 2000-м годам использовать формулу «консервативного поворота».

Когда мы говорим о России, такое внимание к истории оправдано и целесообразно. Историко-трансформационный подход позволяет выстроить исторический континуум, выявляет, с одной стороны, устойчивые тенденции, с другой – исторические разрывы в развитии государства и общества. Однако у него есть свои ограничения: руководствуясь только этим подходом, им вряд ли можно понять, в чем состоит специфика режима, современных политических институтов и акторов.

В восприятии современности через призму исторического опыта действует феномен исторического запаздывания: оценка политической реальности заимствуется из представлений о прошлом. Это явление описано и обосновано французским историком С. Кёре применительно к межвоенному периоду XX в., когда многие французские исследователи воспринимали сталинизм через призму традиционной российской власти¹. Нечто подобное происходит и сегодня, когда современный политический режим оценивается через советское прошлое.

Почему историко-трансформационный подход пользуется популярностью? Тому есть несколько объяснений. Во-первых, обращаясь к истории, исследователи надеются получить ответ, почему в России не осуществился демократический сценарий, которого ожидали в 1990-е годы. Во-вторых, отсылка к прошлому в определенной степени облегчает задачу исследователя, который объясняет политическую реальность через призму хорошо известных исторических событий. Хотя, следует признать, что за этим приёмом может скрываться и обыденная интеллектуальная леность. В-третьих, историко-трансформационный подход компенсирует дефицит информации о российской власти. «Закрытая» элита порождает домыслы о самой себе, которые распространяются, стимулируя возрождение, казалось бы, оставшейся в прошлом кремлинологии – ущербного и порой анекдотического взгляда на политическую жизнь.

¹ Coeuré S. La grande lueur à l'Est: Les français et l'Union soviétique, 1917–1939. – P.: Seuil, 1999.

Сравнительный анализ

Долгое время исследование России на Западе оставалось в рамках узкой дисциплины – россииеведения. Культурологический подход к изучению России, базирующийся на представлениях об уникальности и непостижимости ее сущности (не будем забывать, что мифы о «русской душе» и «русском мистицизме» созданы французами), затруднял использование компаративных методов. Революция 1917 г. и создание первого в мире социалистического государства закрепили представление о России – теперь уже советской – как уникальной стране. Первая попытка исследовать советский режим в рамках компаративной методологии была предпринята представителями «тоталитарной школы» (во Франции – Р. Арон, Д. Кола, А. Безансон).

Крушение Берлинской стены и распад СССР стимулировали появление новой дисциплины, сфокусировавшей внимание на переходе от авторитарного режима к демократическому. В ее основу был положен заимствованный из политологии и социологии метод сравнительного анализа. В исследованиях постсоветского мира наступившая эпоха рассматривалась как новое историческое время, единое для всех посткоммунистических стран¹. В США, ФРГ и англоязычных странах в 1990-е годы популярной стала транзитология.

До тех пор пока постсоветские страны развивались в одном направлении, политологи считали уместным сопоставлять их опыт. Со временем их траектории разошлись: восточноевропейские страны демократизировали свои политические и экономические институты, вступили в Европейский союз, а в России и ряде других стран бывшего СССР власть и экономика оставались слитыми, правовое государство отсутствовало, демократические институты были слабыми. К началу 2000-х годов западная политология отказалась от транзитологической парадигмы. Однако в науке сохранилось введенное транзитологами понятие демократии с прилагательными, используемое для описания недостаточной демократизации в бывших странах коммунистического лагеря. Для режимов, которые не являются ни демократическими, ни авторитарическими, политологи предложили ряд определений. Среди них: «дефектная демократия»

¹ Colas D. Introduction générale: l'Europe post-communiste // L'Europe post-communiste / Sous la dir. de D. Colas. – P.: PUF, 2002. – P. 1–9.

(В. Меркель), «гибридный режим» (Т.Л. Карл), «делегативная демократия» (Г. О’Доннелл).

В отличие от ангlosаксонских стран и России, во Франции транзитология широкого распространения не получила. Возможно, сказалась идущая от А. де Токвиля традиция изучения национальной историко-культурной специфики или французским исследователям просто не хотелось использовать чужой научный инструментарий. Однако сравнительная методология во французской общественной науке используется достаточно широко.

Сравнительный метод в социологии и политике, по мнению французских исследователей М. Догана и Д. Пеласси, «расширяет сферу наблюдения», «стремится определить социальные закономерности и выявить основные причины наблюдаемых социальных явлений». Но главное – он способствует преодолению «этноцентризма» и излишнего увлечения культурными особенностями¹. С начала 1990-х годов во Франции сформировалось течение, в рамках которого признана уникальность постсоветских стран, а в качестве метода используется сравнительный анализ. Его представители анализируют постсоветскую экономику (Ж. Вильд), траектории эволюции постсоветской элиты (Ж. Минк и Ж.-Ш. Шурек); институты и правовые системы (М. Лесаж, А. Газье, С. Миласик, Ф. Кларе).

Сторонники уникальности постсоветского развития выдвигают два принципиальных тезиса: (1) о недопустимости использования западноцентричного подхода при анализе общественно-политических изменений в странах Восточной и Центральной Европы, включая Россию; (2) об относительности признаваемых универсальными ценностей (правовое государство, права человека и гражданина и т.д.) при анализе постсоветских обществ. Исследователи, принадлежащие этому направлению, настаивают: универсалистский подход, связанный с утверждением в 1980-е годы идей либерализма, игнорирует культурные традиции восточноевропейских и центральноевропейских стран, их историческую специфику и пытается выстроить их по единой модели². Формальное сравнение, считают они, ошибочно, поскольку истинные сходства и раз-

¹ Доган М., Палесси Д. Сравнительная политическая социология. – М.: Соц.-полит. журнал, 1994. – С. 11.

² Milacic S. Sur quelques ambiguïtés du néocomparatisme // Les systèmes post-communistes: Approches comparatives / Sous la dir. de Milacic S., Claret Ph. – 2006. – Р. 9–23.

личия можно выявить лишь в контексте сравнения национальных культур. Ими обосновывается идея понимающего сравнения, которое предполагает тонкое прочтение различий, существующих между разными системами, институтами, политическими режимами.

В противовес транзитологической парадигме, неизбежно приводившей исследователей к тривиальному выводу об отставании России, названный подход открывает возможности проведения сравнительного анализа национальных практик, поиска в них структурных сходств и различий. Он дает возможность выйти за пределы собственного мировосприятия; объяснение в нем преобладает над описанием. Метод сравнительного анализа в основном используется политологами, социологами, правоведами и экономистами. Историческая наука до недавнего времени преимущественно оставалась в рамках страноведения. Принимая Россию как часть европейского пространства, историки (например, Кэррер д'Анкесс) считают неуместным ее сравнение с европейскими странами. Россию, по их мнению, следует «проверять» ее собственной историей.

Институциональный подход

При использовании институционального подхода политический режим оценивается с точки зрения утвердившихся в стране институтов и практик. Спектр тем, рассматриваемых институционалистами, широк. Выделию лишь некоторые: формирование постсоветского государства после развода СССР; переход от правления Б. Ельцина к эпохе В. Путина; региональные политические режимы; качество институтов; формальные и неформальные отношения.

В аналитике сложились контрастные оценки государственного строительства в начале 1990-х. По мнению М. Лесажа, в 1991–1993 гг. Россия, как и другие постсоветские страны, приступила к «изобретению собственного государства»¹. Их оппоненты убеждены, что в результате расстрела парламента и принятия новой Конституции (1993 г.) надежды на формирование современных государственных институтов в России рухнули. А с установлением президентской формы правления в Российской Федерации совершился поворот в сторону традиционного государства.

¹ Lesage M. De l'autorité de l'Etat en Russie // La réinvention de l'Etat: Démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et orientale / Sous la dir. de Milacic S. – Bruxelles: Bruylants, 2003. – P. 351.

Тем не менее приход к власти В. Путина активизировал надежды на укрепление государственности. Исследователи полагали, что провозглашенное властью построение «сильного государства» приведет к появлению эффективных институтов, их деятельность станет прозрачной, сложатся универсальные правила игры, отношения центра и регионов, бизнеса и власти окажутся более институционализированными, что будет способствовать развитию гражданского общества и ускорит процесс отделения экономики от политики.

Однако по прошествии времени мнения исследователей относительно произошедших в России изменений резко разошлись. Некоторые из них акцентируют внимание на позитивной направленности перемен, организационных качествах российской власти, ее способности стабилизировать ситуацию в стране. Их основной тезис: в 1990-е годы в России царил «хаос», а в 2000-е была предпринята попытка упорядочить систему власти. Приведу мнение Э. Кэррер д'Анкесс: «Когда Путин пришел к власти, перед ним стояла задача построить новое государство. Думаю, именно в этом качестве он хотел бы войти в историю»¹.

Признавая, что современное Российское государство не стало пока правовым, сторонники этой точки зрения обращают внимание на принципиальные изменения в общественно-политической жизни: Россия впервые в своей истории согласилась сотрудничать с западными странами в области институционального строительства, а став членом Совета Европы, признала юрисдикцию Европейского суда; в стране стали проводиться президентские выборы, в ходе которых граждане могут сказать «нет» кандидату от власти; правление президента при всей его популярности не является пожизненным и ограничено двумя сроками². В. Путин начал модернизацию страны: в годы его правления правовые отношения в экономической сфере укрепились, была реформирована налоговая система, объемы неформальной экономики сократились, были

¹ Кэррер д'Анкесс Э. Чтобы быть влиятельной в мире, России нужно быть внутренне сильной (Интервью) // Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / Под ред. Н.Ю. Лапиной. – М., 2008. – 344 с.

² Lesage M. De l'autorité de l'Etat en Russie // La réinvention de l'Etat: Démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et orientale / Sous la dir. de Milacic S. – Bruxelles: Bruylants, 2003. – P. 351.

предприняты социальные реформы¹. Французский экономист Ж. Сапир уверен, что после развала 1990-х «в России формируется целостная модель развития» и проводится «продуманная политика глобальной модернизации». Добавлю, что эта точка зрения была популярна в определенном сегменте западной аналитики, пока финансово-экономический кризис не продемонстрировал слабость российской экономики. Аргументом в пользу позитивной динамики можно считать и тезис об укреплении международной роли России и ее статуса в качестве «самостоятельного центра силы».

Оппоненты «оптимистов» анализируют эпоху В. Путина в рамках схемы «реформа – контрреформа». Этот подход предполагает, что после революционных преобразований 1990-х годов в России наступил откат. Кто-то воспринимает откат как синоним отказа от демократии и ставки на авторитарные формы правления. В этом случае основное внимание уделяется открытости/закрытости политического режима, наличию/отсутствию демократических свобод.

Проблема, занимающая особое место в аналитике, – состояние и функционирование российских институтов. Это не случайно: именно от качества институтов зависит качество управления страной и отдельными сферами общественной жизни. Некоррумпированная администрация, честные суды, прозрачная процедура принятия решений – обязательные составляющие современного цивилизованного государства. Парадокс российского политического режима французские исследователи видят в сосуществовании «вертикали власти» со слабыми институтами.

Анализируя роль Российского государства в имперский, советский и постсоветский периоды и его отношения с обществом, М. Мандрас приходит к выводу о его исторической неэффективности. В современной России, по мнению автора, возродилось бюрократическое советское государство, приспособившееся к рыночным отношениям². Главную причину этой эволюции Мандрас видит в отсутствии в стране демократии, что «фатально ведет к изменению сути политических институтов», а также в неспособности россиян быть ответственными гражданами и оказывать влияние на политический выбор. Конечно, многие из высказанных соображе-

¹ Favarel-Garrigues G., Rousselet K. *La société russe en quête d'ordre. Avec Vladimir Poutine ?* – P.: Autrement, 2004.

² Mendras M. *Russie: L'envers du pouvoir.* – P.: Odile Jacob, 2008.

ний, хотя и неоригинальны, но оправданы. Однако автор явно игнорирует трудности перехода от авторитарного советского общества к обществу постсоветскому. Концентрируя внимание на власти, он оставляет в стороне крупномасштабные сдвиги, произошедшие за последние два десятилетия в российском обществе: формирование гражданского общества (пусть пока и слабого), рождение (в связи с монетизацией льгот 2005 г.) «городских движений» социального протesta, получивших распространение с началом экономического кризиса.

Непримиримый взгляд на современное Российское государство можно встретить и в других работах. Кто-то анализирует его через призму войны в Чечне (военноцентричный подход)¹. Основываясь на одиозных случаях дедовщины в армии и убийств на рабочей и этнической почве, такие авторы делают выводы о банализации насилия в современной России, неспособности или нежелании государства вести серьезную борьбу с преступностью².

При анализе государственных институтов внимание уделяется неформальным отношениям и политико-экономическим альянсам, возникшим в 1990-е годы и влиятельным по сей день. Здесь хотелось бы упомянуть работу французского социолога Ж. Фавареля-Гаррига, которому удалось провести социологическое исследование в России (крайне редкий случай)³. Были изучены «незаконные экономические практики», получившие распространение в СССР и современной России, а также причины, по которым общество проявляет высокую толерантность по отношению к преступлениям этого типа. Автор отказывается рассматривать современную Россию как «полицейское государство». Более важным ему представляется другое: терпимость к незаконным экономическим практикам является следствием того, что в них включены практически все члены общества – от высокопоставленных государственных служащих до рядовых граждан.

¹ Obrecht T. Russie, la loi du pouvoir: Enquête sur une parodie démocratique. – P.: Autrement, 2006; Le Huérou A., Merlin A., Regamay A., Serrano S. Tchétchénie: Une affaire intérieure? – P.: CERI/Autrement, 2005.

² Daucé F., Walter G. Russie 2006: Entre dérive politique et succès économiques // Courrier des pays de l'Est. – P., 2007. – N 1059. – P. 6–22.

³ Favarel-Garrigues G. La police des moeurs économiques: de l'URSS à la Russie. – P.: CNRS éd., 2007.

Субъектный подход

Этот подход позволяет исследователям вскрыть специфику политического режима «через» акторов, которые играют системообразующую роль в его создании, поддержании и воспроизведении. Политологи и социологи отождествляют российский политический режим с типом доминирования и формирования элитных групп. Исследователи признают, что неноменклатурного пути формирования постсоветской элиты в России быть не могло, поскольку в недрах советского строя альтернативной элиты не существовало¹. В ряде работ позднесоветская и постсоветская элиты фактически уравниваются. Думаю, что прямые исторические параллели ведут к упрощению. Современная российская элита не является копией номенклатуры хотя бы потому, что активно включена в экономическую деятельность (это касается и государственных служащих); в ее состав входят представители бизнеса; она свободна от идеологического давления, а членство в ЕР является формальностью (гораздо больший смысл для ее представителей имеет включенность в глобальную экономику).

Исследователей интересуют структура и состав элитных групп. В 1990-е годы объектом анализа были представители крупного капитала, получившие доступ к собственности благодаря близости к власти. Тогда же в научной литературе стал распространенным тезис о «приватизации государства» олигархами. В современной России наиболее влиятельным слоем признается административно-бюрократическая элита. Именно этот элитный сегмент, по признанию многих аналитиков, стал главной опорой современного политического режима. Однако численный рост государственной бюрократии не привел к появлению эффективного государства, а административно-бюрократическая элита преуспевает главным образом в отстаивании личных и корпоративных интересов.

Большое внимание уделяется «силовому компоненту» современной российской элиты. Ссылаясь на данные российского социолога О. Крыштановской, французские исследователи пишут о «милитократии» и особом месте, которое этот сегмент занимает в современной российской элите. «Никогда прежде власть спец-

¹ Berelovitch A. Les élites politiques en Russie: Changement et continuité // Ex-URSS: Les Etats en divorce / Sous la dir. de Berton-Hogge R., Crosnier M.-A. – P.: Documentation française, 1993. – P. 77–89.

служб в России не была столь велика»¹, – пишет М. Жего. Доминирование «милитократии» приводит к тому, что российская политика становится более агрессивной. «Люди в погонах», считают французские авторы, сыграли ведущую роль в развязывании войны в Чечне, «деле ЮКОСа», с их подачи ведется поиск внутренних и внешних врагов, в стране развивается «шпиономания», они ответственны за войну с Грузией и напряженность в отношениях с Украиной².

«Идеологическому» подходу в изучении элиты «противостоит» функциональный подход. Здесь представляет интерес тезис российского исследователя М. Афанасьева об элите развития. К ней отнесены те группы элитного слоя, которые пока не достигли высот политической власти (в иерархическом отношении они находятся ниже господствующего класса), но обладают высоким модернизационным потенциалом и могут помочь российскому обществу «выздороветь». Однако сама российская действительность демонстрирует гипотетичность этого тезиса.

Итоги

Во Франции сторонникам идеи нормализации России противостоят те, кто указывает на ее деградацию. Традиционно французская русистика (а позже советология) большое внимание уделяли российской исторической специфике и культурной традиции. Эти предпочтения сохраняются в работах специалистов по Восточной Европе и патриархов французского россиеведения.

Во французском научном сообществе сильны поколенческие различия. У многих представителей молодого поколения русистов отсутствует эмоциональная привязанность к России, зато очевидно признание универсализма демократических ценностей. Для них Россия – такая же страна, как и другие, лишенная национальной исключительности и специфики. Такой подход позволяет «вписать» Россию в историю Европы, но одновременно остро ставит

¹ Jégo M. Les hommes du président // Politique internationale. – P., 2007. – N 115. – P. 29.

² Nougayrède N. Les oligarques et le pouvoir: La redistribution des cartes // Pouvoirs. – P., 2005. – N 112. – P. 35–48; Obrecht T. Russie, la loi du pouvoir: Enquête sur une parodie démocratique. – P.: Autrement, 2006; Mendras M. Russie: L'envers du pouvoir. – P.: Odile Jacob, 2008.

вопрос: почему в своем политическом развитии она отстает от других европейских стран? «Наше поколение, – размышляет французский политолог, одна из участниц проведенных мной интервью, – выросло в тот момент, когда левые находились у власти. Мы были под большим впечатлением от падения Берлинской стены. Это был момент больших ожиданий, связанных с развитием демократии в Европе» (сентябрь 2008 г.). Оцениваемая по шкале универсальных демократических ценностей, Россия обречена оставаться аутсайдером. Именно так она сегодня и понимается большинством представителей французского интеллектуального и экспертного сообщества.

Взгляд на современную Россию, доминирующий во Франции, можно определить формулой «Кюстин возвращается». «Мне кажется, – говорит в интервью социолог Ж. Фаварель-Гарриг, – что мы остаемся в контексте “холодной войны”. Во Франции сложился негативный консенсус в отношении России» (сентябрь 2008 г.). Для французских аналитиков, как представляется, характерен политикоцентричный взгляд на российскую жизнь: основное внимание уделяется политическим событиям, общество отождествляется с политическим режимом. При таком подходе вывод однозначен: раз плох политический режим, безнадежны и Россия, и российское общество. Из книг и статей критическое отношение к России перемещается на полосы газет, формируя негативные стереотипы.

Вместе с тем было бы неверно оценки французских исследователей и обозревателей сводить исключительно к негативу. Во Франции есть специалисты, внимательно изучающие российское общество¹, региональные различия², сдвиги в социальной структуре³. Наряду с социологами и политологами появилось молодое поколение историков. Пока они не оформились в самостоятельное течение, но их исследования отличают высокопрофессиональная работа с источниками, непредвзятость, а главное – сохранение научной дистанции в отношении описываемых событий (С. Кёре, Р. Мази, С. Дюллен).

Нередко позиции французских и российских исследователей самым парадоксальным образом сближаются. Позитивный взгляд

¹ Rousselet K. Les grandes transformations de la société russe // Pouvoirs. – P., 2005. – N 112. – P. 23–33; Favarel-Garrigues G., Rousselet K. La société russe en quête d’ordre: Avec Vladimir Poutine? – P., 2004.

² Radvanyi J. La nouvelle Russie. – P., 2007.

³ Desert M. Les nouveaux Russes // Questions internationales. – P., 2007. – N 27.

на нашу страну во Франции, как уже отмечалось, отличает патриархов россиеведения, а также исследователей националистического толка, среди которых сильны антиамериканские настроения. Они унаследовали идею: Россия (как прежде СССР) – это противовес США.

Общественная наука и во Франции, и в России сегодня вплотную подошла к решению ряда важных для понимания сути политического режима проблем. Укажу на некоторые из них, важные с методологической точки зрения.

Первое. Возникает понимание того, что исследование политического режима должно быть междисциплинарным. Функционирование политических институтов, выбор политических акторов напрямую связаны с имеющимися в их распоряжении экономическими, социальными, административными ресурсами. Очевидно, что построение В. Путиным политического режима, выстраиваниеластной вертикали, проведение политики централизации стали возможны в благоприятной экономической ситуации. Финансово-экономический кризис не разрушил существующего политического режима, но заставил элиты адаптироваться к новым условиям. Их главной задачей на новом этапе стало поддержание экономической и социальной стабильности.

Второе. До сих пор в исследованиях политического режима преобладал элитистский подход. Это оправдано: там, где отсутствует гражданское общество, элиты становятся главными субъектами общественно-политических преобразований. Однако подход имеет свои ограничения, поскольку не принимает во внимание общественные настроения, готовность/неготовность общества поддерживать элиту и ее представителей. Нередко выводы исследований этого направления поверхностны: они полагают, что политический режим навязан обществу силой или, как пишет М. Мандрас, держится на страхе. Концентрация внимания на элите может породить иллюзию, что смена отдельных представителей правящего класса изменит суть режима. Чтобы понять особенности политического режима, следует обратиться к изучению общества.

Третье. Исследования, посвященные российскому политическому режиму, как правило, носят «москвацентричный» характер. Но взгляд на политическую систему, «вертикаль власти» из провинции имеет свою специфику. Исследования, проводимые в регионах, свидетельствуют о существовании «разных России». Про-

исходящее на уровне федеральной власти необходимо сопоставлять с тем, что происходит в российских регионах, т.е. учитывать региональное многообразие.

Четвертое. Российский политический режим становится более понятным в контексте международных сравнений. Интересные результаты могут быть получены при анализе политических изменений, происходящих в странах, имеющих разную политическую традицию. Здесь важно сконцентрироваться на следующих процессах: расширении полномочий исполнительной власти в ущерб власти представительной¹, возрастающем персонализме власти, порождающем «интоксикацию властью»², приходе к власти в разных странах мира нового поколения агрессивной элиты³. При этом необходимо понимать различия: в странах развитой демократии указанные процессы – это реакция на новые вызовы, связанные с глобализацией и появлением новых рисков, тогда как в России – результат несложившейся демократии. В случае России и Франции полезно сосредоточиться на особенностях президентского режима. Представляет интерес сравнительный анализ социальных процессов, которые не укладываются в парадигму исторического отставания (например, феминизации политической элиты России и Франции).

И.И. Глебова (ИИИОН РАН): Благодарю, Наталья Юрьевна, за большой доклад, детальный анализ. Прошу, коллеги. Знаю, что есть желающие выступить.



В.Г. Ледяев (НИУ-ВШЭ): Не думаю, что для французских исследователей очень актуальна тема изучения режима во Франции. Они давно с этим разобрались, и там, в общем-то, единства больше. Для нас же это чрезвычайно важно: мы должны знать, где находимся. Тема доклада представляется мне интересной именно с этой точки зрения. Кроме того, французские авторы

¹ Bourmaud D. La Constitution de 1958 et les partis politiques: Le gage de fer du présidentialisme // 1958–2008, Cinquantième anniversaire de la Constitution française / Sous la dir. de Mathieu B. – P.: Dalloz, 2008. – P. 591–597.

² Owen D. The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the intoxication of power. – L.: Polico's publ., 2007.

³ Higley J. The Bush elite: Aberration or harbinger? // The rise of anti-Americanism / O'Connor B., Griffiths M. (eds). – L.: Routledge, 2006. – P. 155–168.

меньше представлены в нашем академическом пространстве, чем англоязычные. Мне было интересно, насколько схожи или различаются их позиции.

Доклад показал, что имеется, с одной стороны, единство (т.е. нет большой разницы между нами и не нами), а с другой – внутри каждого исследовательского сообщества существует довольно большой разброс. Напомню замечание Натальи Юрьевны о том, что взгляды российских и западных аналитиков на современный режим в России несколько поляризованы. Тут мне хотелось бы кое-что прокомментировать. Представьте себе, что мы всем зададим вопрос: есть ли в России правовое государство, нормальная партийная система, конкурирующие институты, которые эффективно представляют различные социальные группы? Не сомневаюсь, что все скажут: «Нет». Вполне понятное исключение составят только политизированные аналитики. На уровне констатаций, эмпирическом, будет довольно сильное единство; причем среди тех, кто оценивает нынешнюю ситуацию как позитивно, по сравнению с коммунизмом, так и не очень.

Какие-то различия появятся, скорее, в интерпретации источников, в том, какие модели, термины, концепты используются для анализа режима. Очень типичное объяснение дает культурологический подход. Транзитология трактует иначе – виноваты акторы: все зависит не только от каких-то вековых традиций, но и от того, что делают конкретные люди. Здесь различия имеются и среди французских, и среди российских авторов. Разные оценки даются состоянию режима. Очень удачна метафора оптимиста-пессимиста – как в известном анекдоте: полстакана водки для оптимиста – это ужé полстакана водки, а для пессимиста – всего полстакана. Мы пессимисты: нам хочется полноты. Но главное, все видят, что в стакане-то – только половина. Для некоторых это состояние нормально: иначе мы никогда и не жили и, в общем, рассчитывать было не на что. Для других это некая полукатастрофа, крах надежд.

Второй момент, на который мне бы хотелось обратить внимание. В принципе, доклад Натальи Юрьевны несколько вышел за заявленные рамки. И я, в общем, понимаю, почему. На самом деле она рассказывала не только о режиме, но и о том, что можно назвать властью (или структурой власти, или конфигурацией властных акторов, или элитным состоянием, или как-то еще). Все это действительно связано, особенно у нас. Совокупность акторов оп-

ределяет режим. Поэтому многие либерально настроенные авторы, не очень этот режим любящие, считают, что его можно убрать, лишь исключив этих акторов. Тогда получается, что при сохранении нынешней конфигурации режим будет стабилен.

Для меня же понятно, что сила доминирующих сегодня акторов заключается как раз в самом режиме – в специфике той среды, в которой они обитают: именно она их поддерживает и им благоволит, давая структурные преимущества. Строго говоря, *режим – это не акторы, а некое пространство, климат*. Или это возможности: человека не убьют или убьют, посадят или нет, если он пойдет на демонстрацию, сможет или не сможет он услышать иное мнение и т.п. Это первоочередные вещи для характеристики режима. В этом смысле показательны описания американской власти. Там не все благополучно с точки зрения демократической теории: правят господствующий класс и корпорации, существуют всевозможные ограничения демократии. Но там другой климат, заставляющий властвовать определенным – иным, чем у нас, – способом.

Еще один аспект, который мне хотелось бы затронуть, хотя в докладе это активно и не прозвучало: сопоставление нынешнего режима с советским. С резюме Натальи Юрьевны я абсолютно согласен: тезис о реставрации советской системы сомнителен. Но мне интересно другое: почему этот тезис тем не менее возникает. На мой взгляд, дело не только в том, что возвращается символика, а съезды нынешней партии чем-то похожи на съезды КПСС. Кроме внешней, визуальной схожести есть элементы сходства по существу. И здесь я вспоминаю труды советологов, которые когда-то читал в ИНИОН (правда, не по-французски, а по-английски). Как мне кажется, там есть очень много интересных сюжетов, которые можно связать с современным режимом.

Вспомните: тоталитарную концепцию, не очень долго доминировавшую, в 1960-е годы сменила так называемая бюрократическая модель. Суть ее примерно следующая: не тотальный контроль из «центра», а создание конструкции, напоминающей, скорее, корпоративную структуру. То есть появление некоего механизма вместо организма: специфика режима объяснялась бюрократическими связями, которые пронизывали общество и, естественно, преобладали в политике. Мне кажется, это характерно и для нынешнего режима. Далее. Сегодня действительно усилилась бюрократия. Вполне возможны параллели с послесталинским периодом, когда

она тоже была очень сильной. Конечно, это не полные аналогии, потому что сегодня бюрократия все-таки другая, но параллели...

Еще один интересный вопрос, который не так ярко прозвучал, – об уникальности и универсализме. Его толкование в рамках транзитологической парадигмы неизбежно ведет к тезису об отставании России. Это непосредственно связано с тем, чем я сейчас занимаюсь: анализ теорий, которые касаются не режимов вообще, а региональных властных практик. Мне интересно, насколько это применимо к нам. Так вот, вставая на позицию уникальности, мы очень сильно себя ограничиваем. Ведь уникальность – свойство любой страны; я не уверен, что мы более уникальны, чем Япония или Китай и т.д. В этом смысле сравнительный метод действительно полезен. Поэтому нам нужны классификации, хотя они несколько и оглушают.

В то же время необходимо учитывать: создавая классификацию, мы неизбежно вносим в нее какие-то ценностные смыслы. Скажем, А. Линц, придумывая свою классификацию режимов – тоталитарный, авторитарный, демократический, – подразумевал, что демократия лучше, чем не-демократия. И мы не можем от этого отказаться. Если принять эту естественную, на мой взгляд, позицию, то мы совершенно точно отстаем: эмпирически действительно находимся ближе к тому участку спектра, который является недемократическим. В этом смысле я, например, не склонен обвинять тех, кто скажет, что Россия отстает. Но при этом мы открыто заявляем, что демократия – наш идеал. Очень важно, что это зафиксировано в Конституции. Однако я думаю, что в своей критике компаративистам и транзитологам, слишком уж настаивающим на универсальности, следует держаться более умеренного тона. Поэтому акцент французских авторов на специфике мне весьма симпатичен.

И наконец, собственно о режимах. Я думаю, их следует рассматривать как разные стороны континуума: скажем, авторитарный режим и демократия – это полярные точки, между которыми располагается некое пространство. Поэтому мне понятно, когда говорят о демократиях с приставками. Наша ситуация очень противоречива: нельзя с уверенностью сказать: демократия у нас или мы – в авторитарном режиме. Конечно, мне понятны аргументы авторов, которые все-таки пишут про авторитаризм в России. Когда мы выходим за пределы внешних институтов, набор авторитарных харак-

теристик режима начинает превалировать над демократическими. В качестве варианта мне кажется полезной идея дефектной демократии – она указывает на самые важные дефекты. Так, наша демократия не вполне либеральна, слабы институты и т.д. В остальных же аспектах она в общем-то похожа на другие. Преимущество иных вариантов объяснения – различных гибридов, управляемого плюрализма – в том, что они четко показывают: мы – не в демократии.



С.П. Перегудов (ИМЭМО РАН): Наталья Юрьевна представила достаточно широкий спектр подходов к проблеме режимов. При этом подчеркнула, что выбор их индивидуален. Я бы добавил: индивидуален – с учетом ситуации.

Скажем, я в последние три года занимался российской политической системой в основном в том ключе, который докладчик определил как институциональный, а я бы назвал системным. В настоящее же время больше востребован подход, который Наталья Юрьевна характеризовала как историко-трансформационный. Я бы даже сказал, что сейчас он доминирует. Причина ясна. В докладе поставлен главный вопрос: почему режим Путина не привел к тем результатам, которых от него ожидали? И для ответа на этот вопрос, мне кажется, лучше всего использовать историко-трансформационный подход.

У меня несколько иной угол зрения. В последнее время я занимался темой, оченьозвучной той, о которой (среди прочего) говорил Валерий Георгиевич <Ледяев>: сопоставление советских и российских реалий. Я поставил ее в определенный контекст: плюрализм и корпорativизм в СССР и России (общее и особенное). Почему так? Потому что плюрализм и корпоративизм – два параметра, которые, с моей точки зрения, определяют сущность системы, режима. Причем работают они вместе. И сегодня я решил очень кратко сказать о плюрализме советском и российском, современном.

Сначала о советском плюрализме. Я считаю, что советский режим при Брежневе следует считать позднетоталитарным (так я писал еще в 1994 г. – так считаю и сейчас). Он очень серьезно отличается от классического тоталитаризма – ведь тоталитаризм (а я не согласен, что эта концепция ушла в прошлое) эволюционировал и изучать его нужно в контексте этой эволюции. Наиболее инте-

рессная характеристика позднего (брежневского) тоталитаризма – наличие в нем целого ряда плюралистических взаимодействий.

Это плюрализм в области культуры, в сфере экономики (его я определил как бюрократически-корпоративный), плюрализм научный (особенно в общественных науках, как ни странно это может звучать). Научный и культурный плюрализм, их взаимодействие с «привластными» людьми очень интересно показаны в дневниках Анатолия Сергеевича Черняева, который курировал в ЦК науку, и в частности общественные науки. (Я, кстати, написал довольно пространный обзор этих дневников для журнала «Полис»¹.) Следует сказать еще о ведомственном плюрализме и т.д. Все эти «плюрализмы» сформировались на выходе из того тоталитарного монолита, который сложился при Сталине. Но вот чего там явно не было, так это политического плюрализма. Отсутствовала публичная политика; вообще, политика как таковая была изгнана из общественной жизни. Общество было деполитизировано. Поэтому я и считаю тот режим тоталитарным – это его главный признак.

Теперь о российском плюрализме. Он отличается от советского прежде всего своим политическим характером. У нас есть политический плюрализм: партии, парламентские фракции, различные организации гражданского общества и т.д., и т.п. Весь вопрос в том, какой это плюрализм. На мой взгляд, он «усеченный»: находится под властью, в рамках – в основном –ластной вертикали. И это его в какой-то мере роднит с советским плюрализмом и с советской системой.

Причем, в центре этого плюрализма, я считаю, находится партийная система. Часто пишут, что наша партийная система – это какая-то имитация, декорация. Я с этим абсолютно не согласен. Партийная система играет значительную роль в нашем режиме, занимает в нем если не центральное, то очень важное место. Да, в центре партийной системы находится одна партия – «Единая Россия», «партия власти». Многие уже называют ее – и даже без кавычек – правящей партией. Я считаю, что, конечно, это не правящая партия и не партия власти, потому что она не формирует правительство, как в Европе, не имеет ведущей фракции в парламенте, как в Конгрессе США сейчас демократическая партия, не стоит над

¹ См.: Перегудов С.П. Хроника летального исхода (по страницам дневника А.С. Черняева) // Полис. – М., 2010. – № 3. – С. 161–179.

властью, как в Советском Союзе (там партийный аппарат, Политбюро и т.д. были вершиной власти).

Да, ЕР – при власти, но при этом она играет огромную роль в стабилизации этой власти. Вторую ее функцию я называю «нишеванием оппозиции»: оппозиция загоняется в ниши, где не может играть реальной роли. «Единая Россия», будучи под властью, обеспечивает политическую монополию. Третья функция – это функция общественной организации. Некоторые считают, что ЕР – бюрократическая партия. Ничего подобного. В своей статье в «Полисе» «Политическая система России после выборов 2007–2008 гг.» (2009, № 2) я пытался показать, как активно ЕР реализует общественную функцию. И наконец, следует выделить функцию легитимизации режима. Вроде бы у нас все – партии, парламент, выборы, – как у людей. И демократия, хотя и немножко, другая. В результате и режим легитимизируется. Конечно, не на сто процентов, но достаточно, чтобы его рассматривали как нормальный (или почти нормальный), современный – и в России, и на Западе.

Итак, «Единая Россия», выполняя все эти функции, обеспечивает единство, стабильность и в конечном счете – функционирование системы. В то же время я считаю, что такой способ организации и работы партсистемы заводит общество в тупик, блокируя возможности развития. Того развития, в котором действительно нуждается Россия. Сейчас многие аналитики отдают себе отчет в том, что система (и роль ЕР в ней) должна меняться. В этом смысле симптоматично появление доклада (Ежегодный доклад ИнОП «Оценка состояния и перспектив политической системы России», 2009), о котором так много говорят и который я считаю не очень сильным, а где-то и очень слабым. Изменения напрашиваются: весь вопрос в том, какими они будут.



В.П. Булдаков (ИРИ РАН): Доклад произвел на меня довольно грустное впечатление. Это связано вовсе не с его качеством (и еще менее с личностью докладчика), а с некоторыми сделанными выводами.

Прозвучала ключевая, на мой взгляд, фраза: политологи занимаются конструированием умозрительностей. Для меня это не ново. Уже не раз приходилось писать, что все наше обществоведение превратилось в конкурс химер воображения. Доклад лишний раз подтвердил это. Спрашивается, почему это происходит?

Ответ содержится в словах Натальи Юрьевны <Лапиной> о том, что в среде политологов над ней иронизируют как над «Геродотом». Это надо понимать так: политологам история просто мешает, им не до нее, им хватает забот на своей собственной делянке. Позвольте спросить: а не потому ли в вопросах о современной власти им приходится заниматься настоящим гаданием на кофейной гуще?

Главная беда нашего обществоведения – незнание российской истории, точнее – непонимание ее весьма наглядных уроков. Причем это относится и к самим историкам, *работающим* в основном *по сценариям, навязанным властью*. Между тем очевидно, что осмысление любых российских политических режимов – как прошлых, так и современных – немыслимо вне культурно-исторической почвы, на которых они произрастают. По моему убеждению, *без понимания культурно-антропологической составляющей прошлого и современности рассуждать о «политических» режимах бессмысленно*.

Позволю себе проиллюстрировать это на конкретных примерах, соответственно политологическим подходам, выделенным докладчиком.

Очевидно, что наша «политика» традиционно-архаична. Власть моносубъектна, в основе экономики лежит идея «государства-склада». Но что ее определяет? На мой взгляд, *неспособность населения самостоятельно распорядиться наличными ресурсами* (прежде всего, природными), *породившая «религиозное» отношение к власти – большому Хозяину*. Без преодоления этой исторической генетики всякие транзитологические вождения бессмыслены. И не стоит тешить себя компаративистскими иллюзиями – у нас все упирается в нежелание власти заняться самоусекновением и неспособность общественности заставить верхи (для их же блага, не говоря уже о прогрессе демократии) потесниться в сфере принятия решений.

Наши институты (как «политические», так и «общественные») – *всего лишь декорации*. Мы, однако, не умеем обходиться без этого суррогата государственности. Поясню это на конкретном примере, относящемся к XVII в. Спрашивается, что уцелело в Смуте, когда, казалось, превратилось в историческую пыль все (кроме полубезумевших людей)? Оказывается, единственным уцелевшим институтом были приказы (см. блестящее исследование Д. Лисей-

цева¹) – ими успешно пользовались как всевозможные лжеправители, так и тушинское ворье. Другой пример. Всего через три года после «красной смуты» Stalin руками Молотова и Кагановича воссоздал институт диктаторского правления в лице номенклатуры, окончательно усовершенствовав его в 1925 г. Надо ли пояснить, почему в наше время мы как должное приняли идею восстановления «вертикали власти», не задумываясь, что гарантом демократии могла бы стать «горизонталь» общественной самодеятельности?

Сегодня, впрочем, было сказано и о субъектном подходе к оценке политического режима. Увы, он также дает весьма ограниченные возможности постижения природы существующей власти. Я только что закончил книгу, названную «Россия постреволюционная: Векторы психосоциальной динамики»². Основой источник – «слезницы» простых людей, ложившиеся на стол Сталину. Письма с просьбой восстановить в партии (их большинство) я отбрасывал. То, что осталось, – сгусток эмоций. С одной стороны, налицо деструкция личности революционера, с другой – страхи перед всевозможными «врагами». В иерархии последних главное место занимали не прежние «буржуазия и помещики», не нэпманы и даже не кулаки, а коммунисты, комсомольцы, бюрократы, затем оппозиционеры, троцкисты, евреи, наконец, «империалисты». Необыкновенно высок накал ненависти к близкнему. Налицо совершенно недекватная реакция на происходящее. Впору ставить вопрос о «психосоматической» природе российской «политики».

При анализе властных практик – их успехов и сбоев – важнее всего выявить источник, их порождающий. В патерналистских структурах он лежит в неполитической сфере эмоций, иной раз отчаянных. Что могло получиться, когда на общественную паранойю наложилась управленческая неподготовленность власти или, хуже того, паранойя моносубъекта власти, призванного принимать «судьбоносные» решения? Для меня вопрос ясен: движение к колективизации и прочим репрессивным действиям 1930-х годов началось именно тогда.

¹ См.: Лисейцев Д. Эволюция приказной системы Московского государства в канун и в эпоху Смуты: Дисс. на соискание ученой степени доктора исторических наук. – М., 2011.

² Речь идет о книге В.П. Булдакова «Утопия, агрессия, власть: Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия 1920–1930 гг.» (М.: РОССПЭН, 2012).

Сегодня говорилось об особенностях нашей политологии. Мне кажется, главного сказано не было: она ослеплена «тоталитаристскими» возможностями власти (которых в действительности не существует), потому ходит по кругу, как известная лошадь в подземелье.

Чем в принципе поглощена наша власть? Самосохранением, самообеспечением, самообслуживанием, самовоспроизводством, самонасыщением… – всем тем, чем занимается обычный, в меру ответственный человек. На это возразят: российская система является патерналистской. Совершенно верно: власть действительно вполне искренне заботится о людях, точнее, своих подданных. Правда, ровно в той степени, в какой это отвечает ее интересам, в той мере, в какой она зависит от них.

Эта власть способна принимать разумные и оперативные решения (в случае очевидной угрозы ее существованию), но она же обнаруживает редкостную ограниченность, когда речь заходит о проблемах, выходящих за пределы ее ближайших интересов. А в общем претензий к ней не больше, чем к обычному человеку, в меру подверженному обычным порокам, ибо как и всякий человек, она способна не только «стареть», но и «болеть» под влиянием неблагоприятных обстоятельств. В обычных условиях она тихо, как обычный «живой» организм, саморазрушается, в экстраординарных обстоятельствах может впасть в ступор. Разумеется, очень многое зависит от фигуры, ее персонифицирующей, точнее, от ее достоинств и недостатков.

Политика нашей власти циклична именно в силу фетишизации человека, принимающего «окончательные решения». Мы (обществоведы) их не критикуем – мы их «исследуем». А надо бы просто понимать.

Конечно, меняемся мы, меняются «наши» правители. Но все мы действуем в меру своего исторического недомыслия, важнейшее место в котором занимают эготистские благоглупости. Разумеется, ни мы, ни власть не безнадежны. Но нас слишком легко купить, а власть слишком щедра на обещания. В общем, *в нашем сегодняшнем виде мы малоперспективны – не для демократии, для самих себя*. Думаю, доказывать это в данной аудитории не приходится.

История выступает в нескольких, я бы сказал, многих ипостасях: как традиция, обычай, память, идеология, политический

пиар, даже как утопия. История как наука в этом ряду занимает относительно скромное место. И виновата не только она, с безусловным несовершенством методологий и технологий познания прошлого. «Виновата», если угодно, сама человеческая природа, точнее, ее склонность к самообману.

В докладе было также отмечено, что французская социология власти отмечается ценностным (этическим) и даже, как я не раз замечал, романтическим подходом. Все просто: она ведет свою родословную от Великой французской революции. Их (точнее было бы сказать общеевропейская) революция создала нацию, общество, личность – это предмет гордости. Французы ощутили свою способность действовать независимо не только от власти, но и от церкви. Естественно, что *созданные революцией ценности свободы, равенства и братства выступают главным критерием оценки современной политики*. И это более чем оправдано – человек может рассуждать о том или ином политическом режиме, если власть перестала быть для него сакральной величиной. В России это никогда не удавалось – не удается до сих пор. Российские обществоведы рассуждают о власти, глядя на нее снизу вверх, ощущая себя ее заложниками.

Разумеется, элементы сакрализации, мистификации, эстетизации власти встречаются до сих пор в самых раздемократичнейших обществах. Это неизбежно: человек – существо социально зависимое. Он только и делает, что ищет себе «диктатора». Строго говоря, основной вопрос социальной философии в свое время сформулировал М. Мамардашвили: «Какого диктатора я хочу?» Применительно к демократии это означает одно: человек *выбирает* себя диктатора, но лишь на время, до тех пор, пока он не «надоел». «Диктатор» превращается в своего рода общественно-вспомогательный механизм. Это тоже далеко не идеал, но бюрократическую машину, по крайней мере, можно совершенствовать.

Увы, мы от этого далеки. Власть сама навязывает нам диктаторов, приукрашивая этот процесс своего рода «демократической ротацией». Преимуществ в этом для нас не больше, чем в повороте барабана в направленном на нас заряженном револьвере. Впрочем, для современной ситуации это сравнение будет слишком сильным – власти достаточно просто периодически пощелкивать кнутом.



И.И. Глебова: Нам был обещан сегодня один доклад, а получили мы четыре – в качестве дискутанта неожиданно выступил В.П. Булдаков. И очень точно указал на шаткость, зыбкость позиций политической науки при оценке российского политического режима. Это, конечно, не открытие, но требует реакции. Одна из причин неадекватности, как мне представляется, – в стремлении либо уйти от российской инаковости, преобразовав себя – на уровне текстов, высказываний, научной реальности – по известным и достойным лекалам, либо уйти от объяснений инаковости. Мы еще более последовательно, чем наши европейские коллеги, идем по пути «нормализации» своего настоящего – *вопреки* этому *настоящему*. Желание «нормализовать» реализуется в недоговоренностях, неопределенностях (гибриды, демократия с уточнениями, авторитаризм с оговорками), что малоплодотворно для научной работы.

В отношении политического режима, как мне кажется, самое главное сейчас – поиск слов, адекватных понятий. Потому что суть режима достаточно прозрачна и адекватно считывается, что демонстрируют исследования последних лет. Система «схватывается» и выстраивается через язык, научные конструкции. Пока мы ее не назовем (не следя за самоназваниями, но их учитывая), она будет сохранять свою неопределенность.

В то же время субъективное нежелание определяться подкрепляется и объективным качеством определяемого. А как, в самом деле, назвать нынешний наш политический режим? Изящный оборот, предложенный В.Г. Ледяевым, – «мы не в демократии» – кажется мне очень характерным. Ведь действительно – не в ней, но тогда в чем? Авторитаризм – точная, по существу, характеристика, но явно недостаточная: требует разъяснения специфики режима. Есть, конечно, более или менее релевантные определения: популистский вариант авторитарно-бюрократического режима, плебисцитарно-номенклатурный режим.

Мне представляется, что *главное качество современного порядка* – именно *его неопределенность*: не демократия, но и не авторитаризм; не политический плюрализм, но и не монополизм. Не определившись, можно быть, чем угодно, совмещать в себе разные «легенды», черты и практики: сегодня – один mixt (скажем, больше демократии, плюрализма и интернационализма «нового типа»), завтра, если ситуация изменится, – другой (поддадим авто-

ритаризма и «удавизма», будем «вставать с колен»). Режим пластичен, подвижен, конъюнктурен, беспринципен; его сила – в pragматической неопределенности (ни то, ни сё – ничто и все). Суть такого режима не выразишь в краткой формуле.

С точки зрения реальной политики очень важно, что режим внутренне отрицает всякие определенности – институциональные, правовые, морально-этические. Они существуют вне и помимо него, никак его не ограничивая. Порядок, абсолютизирующий неопределенность, «заземляется» и работает только на уровне субъектном: *не активизирует демократические институты и гражданские сети, а спротивизирует социальное пространство кланово-мафиозными отношениями*. Это и порождает ту атмосферу («климат»), в которой возможно все; единственным ограничителем деятельности «элит» являются сами «элиты». Происходит «натурализация» господства: действия «человека господствующего» определяются «голым» материализмом, жаждой власти, стремлением быть «впереди планеты всей», инстинктом самосохранения. У него нет цивилизационных ограничений. И именно этот человек устанавливает рамки, пределы для всякого рода плюрализмов – так же, как в советские времена. Социальная активность едва ли не нулевая; роль общества, обладающего признаками субъектности, исполняют сращенные с властью, интегрированные в режим группы.

Видимо, только таким образом и мог реализовать свалившуюся на него свободу *послесоветский* (не русский и антисоветский, а именно *после-*) мир. Здесь *свобода* (скорее, даже «*расконвоированность*»/«*вольноопределение*») – не качество режима, конвертируемое в политический плюрализм и публичность, в демократию, а свойство социальной среды, ощущение, не поддающееся институционализации. Более того, это свойство вообще не имеет политического измерения: теперешняя наша свобода – явление частнобытовое (вольное – без госнадзора и санкций коллектива – самоопределение субъекта в частной, бытовой сфере), а также экономическое (свобода потреблять). Она связана не с осмысленным и ответственным обретением прав, а с инстинктивным отказом от обязанностей. Из анархического, антиправового индивидуализма не рождаются институты, с помощью правовых механизмов трансформирующие свободу как ощущение в свободу как характеристику системы. Напротив, вольное, «дикое» («диким образом» – по типу привычного советского отдыха) самоопределение всех и каждого на об-

щесоциальном уровне уравновешивается организацией «самодержавного» типа.

В постсоветском порядке «негативная» свобода как принцип частно-индивидуального обустройства естественно сплетается с авторитарным принципом социальной организации. Получается «самодержавная демократия» или «народно-демократическое самодержавие». Соединение принципов свободы и несвободы дает в результате неправовой, недоговорный, не поддающийся институционализации порядок. Его определенность в конечном счете – в отрицании права (т.е. цивилизационных норм) как универсального регулятора социальных отношений, в подавлении – сверху и снизу – плюрализма и публичности как механизмов, мешающих реализации естественно-биологических потребностей, потребительских прихотей индивидов в рамках стихийно складывающейся социальной системы.

В конечном счете можно сказать, что наш режим не «прочитывается» через политические категории. Он – *неполитический* и в этом смысле несовременный. Как его можно мерить категориями современной западной науки – большой вопрос. Но их нечем заменить – разве только констатацией того, что они не способны выявить сущность называемых явлений. Скажем, *ЕР*, о которой сегодня говорилось, при соотнесении с классическими критериями партийности выглядит *чистым симулякром*. Однако, ограничившись такой констатацией, мы не выйдем из «зоны неопределенности».

Мне хотелось бы сказать несколько слов по этой теме, неожиданно сегодня возникшей. И, как мне кажется, очень характерной – и для режима, и для его интерпретации. В чем-то я буду отталкиваться от тезисов, сформулированных С.П. Перегудовым. Если упростить, схематизировать, то они выглядят так: партсистема – важный элемент режима, поэтому не может быть имитационна; ее анализ можно свести к ЕР, которая при этом – не правящая партия и не партия власти; ЕР выполняет значимые для режима функции – легитимации, стабилизации, обеспеченияластной политической монополии; ЕР не является исключительно бюрократической партией, имеет потенциал общественной организации и все активнее его реализует.

При оценке ЕР сейчас мало кто ставит под сомнение партийность ее природы; споры ведутся о том, *какая это партия* (доминирующая, правящая, бюрократическая и т.п.). Мы, видимо, уже

прошли стадию ее определения какproto-, еще не-партии и т.п. Зато указывают на растрату ЕР субъектности, т.е. на понижение в ней «градуса партийности» («уже не-партия»)?¹. Но в общем преобладают определения, базирующиеся на самоинтерпретации ЕР и ее легитимизирующие. Оценки ЕР становятся проблемой идеологии (или политтехнологии).

Очевидно: ЕР ее создателями из администрации президента изначально отводилась инструментальная, технологическая роль – политический режим 2000-х не нуждался в партии как субъекте политики. Цель была как раз снизить риски конкурентности/публичности, сделать предельно (насколько это вообще возможно) управляемым и предсказуемым электоральный процесс. Путь – монополизация политического пространства с помощью *инструмента*, адекватного новым (и интернациональным) правилам игры. *Его назвали партией* и придали соответствующую форму. Очень логичный выбор: легче контролировать не людей (непартийных политиков) или мелкие мобильные образования, а суперструктуру, используя опыт советской «партийности» и постсоветского «корпорativизма».

Партия, как и многое в нашей истории, – эксплуатация «чужих» форм. Это естественный способ адаптации к современности, ориентиры которой задали не мы. Причем, способ самый простой, исторически не однажды опробованный и результативный – при нашей способности принимать любую форму (т.е. при анархической бесформенности массовой культуры: неструктурированности, отрицании формально-процессуальной стороны жизни). Облачением в новую форму если и стремились исправить «туземное» содержание, то только поначалу. Скорее, действовала всепобеждающая логика выживания/мимикрии социального естества. Конечно, форма – не пустая формальность; она требует содержательного соответствия. И в ЕР (как и в других элементах *властной партсистемы*) присутствует партийное начало, так или иначе получающее выражение. В этом (и только в этом) смысле тезис об имитационности ЕР и партсистемы не точен.

¹ См., например: Коргунюк Ю.Г. Уничтожение субъектности: «Единая Россия» как партийная организация. Становление и инволюция // Полития. – М., 2009. – № 1(52). – С. 123–150.

Но форма – не догма; наши партии и демонстрируют, насколько она подчинена содержанию. Постсоветская партсистема не нацелена на представительство широких гражданских интересов, а замкнута на узких, «элитарных». Она – в основном и по преимуществу – обслуживает (легитимирует, стабилизирует) монопольное господство утвердившихся у власти и получивших собственность групп. ЕР и другие – партии в том смысле, что артикулируют и агрегируют интересы одного социального слоя, который ощущает и продвигает себя как «элита».

Для защиты режима бесконтрольного, безальтернативного и стабильного господства «элит» их партии *имитируют представительство широчайших социальных интересов* (все метят не просто в массовые, но в общенародные, кроме партий для социально «чужих», т.е. интеллигенции). В этом смысле они имитационны. Хотя для придания «легенде партии» реалистичности наши партобразования вынуждены выполнять и «функции общественной организации». То есть реагировать на социальные запросы, обслуживать социальные нужды. Но людям партии власти/элит служат в последнюю очередь, по «остаточному» принципу, когда уже нет другого выхода. Их партийность не только управляема, но и «остаточна», вынуждена (вымучена), краткосрочна (предвыборна). В остальном они служат тому «классу», к которому принадлежат, т.е. себе.

Поэтому *партсистема по сути своей непублична* – и в этом соответствует закрытому характеру режима. Там, где начинается партийность, реальная партийная жизнь, партия погружается в тайну, уходит в «тень». В зоне публичности наши партии в основном имитационны; их партийная природа реализуется в «теневой» сфере (в «подполье»). Там партии являются крупнейшими бизнес-предприятиями. Там, где вершится реальная политика, они выступают инструментом внутриэлитной борьбы – за ресурсы, влияние, власть, за право продвигать в зону публичности точки зрения, политические линии, интерпретации прошлого, прогнозы на будущее и т.д. Партии участвуют в конкуренции первых лиц («соправителей» В.В. и Д.А.) и их окружений, учреждений, кланов, идеологий, атеистов с православными и т.п. Партии (в первую очередь ЕР) – место действия «элитарного» плюрализма. Причем, не единственное. А также легитимный механизм встраивания страны в международные управленческие структуры. И тоже не един-

ственний. Это образ жизни господствующих групп. И желанный ориентир (один из) для тех, кто мечтает ими стать.

Показательно, что *выборы* в основном перестали быть публичной конкуренцией, превратившись в «площадку» *неформально-теневых сделок «элитных» групп*. Вообще, наш политический режим, постоянно пеняющий на «мировое закулисье», базируется на неформальных, «теневых» механизмах взаимодействия. Он «закулиснее» любого «закулисия». Назначение партий в избирательном процессе – то же, что у администрации президента в отношении партий: не допустить самодеятельности. На выборах партиями решается сложная двусоставная задача: продвижение частных и групповых («элитарных») интересов и подтверждение лояльности населения режиму через плебисцитарный механизм. В рамках первой части задачи ЕР и др. имеют значение партий, играют свойственную партиям роль. Особенно отчетливо это проявляется на региональных и местных выборах, на которых случается межпартийная и даже внутри(ЕР)партийная борьба.

Конечно, С.П. Перегудов не случайно заговорил сегодня о ЕР. Через партию (а теперь уже партсистему) власти отчетливо прочитывается режим. Логика прочтения такова: *каков режим – такова и партия как его элемент*. В последнее время обозначилась тенденция *переворачивания* этой логики: «выводить» режим из партии. Напомню две такие интерпретации, как мне кажется, взаимосвязанные.

В докладе, о котором вспомнил Сергей Петрович <Перегудов¹>¹, конструкция «верховной власти» обозначается как «Три П» – президент, премьер и партия. Так М.В. Ильин с соавторами указал на монопольное положение ЕР в партийной системе и ее особую роль в российской политике. В.Я. Гельман и другие квалифицируют современный режим как авторитарный партийный (партии стали основным инструментом правящей группы, сложился авторитаризм на основе доминирующей партии), в отличие от персоналистского авторитарного режима 1990-х².

¹ Ежегодный доклад ИНОП «Оценка состояния и перспектив политической системы России». 2009. – Режим доступа: www.inop.ru/page484/. Анализ доклада см.: Перегудов С.П. Политическая система России: Опыт коллективного проектирования. По материалам доклада ИНОП // Полис. – М., 2009. – № 6(114). – С. 33–47.

² См.: Гельман В.Я. Политические партии в России: От конкуренции к иерархии // Полис. – М., 2008. – № 5(107). – С. 135–152.

Эта (и подобные им) схемы, в общем, даже увлекательны как своего рода интеллектуальная игра, но вовлекают в какую-то абсурдистскую реальность, где роль исследователя абсурдна вдвойне: дать научную «легенду» (приемлемую классификацию – например, ярлык «мягкий авторитаризм») построенной помимо него конструкции и тем самым ее нормализовать. Ведь авторитарный в сочетании с «мягким» и «партийным» выглядит гораздо более цивилизованно, чем авторитарный как административно-полицейский, репрессивный. А «Три П» – это уже как бы и не «тандемократия», но нечто большее, ориентированное на современно-партийное. Да и характеристика «недемократический» либо прямо высказывается, либо держится в уме. То есть, квалифицируя абсурд через научные категории, мы его не декорируем, а как бы возвращаем в реальность.

Но все равно эффективно «клишировать», вгоняя наши конструкции в современность, не получается. Наш режим сложно нормализовать на партийных путях – противоречит не только режимной действительности, но и обычной логике. Почему верховная власть представлена «Тремя П»? Чтобы добрать до цифры, символизирующей единство и согласие («соборность») по-русски? Тогда логичнее было бы присовокупить к «соправителям» патриарха, по независимости и социальному влиянию явно превосходящего партию. Он хотя бы тоже правит. Ввести его в этот ряд – значит подчеркнуть неформализованность, персонифицированность нашей власти. Или авторы «Трех П» видят ее по-другому – в формально-институциональном ключе? Возможно, партия берется как пристяжная власти – то президента, то премьера. В чем тогда ее особая (самостоятельная, независимая от первых «Двух П») роль? Таких властных инструментов, «опосредованных властей» у « P^2 » много. А что будет, когда премьер станет президентом и не «назначит» президента премьером? Партия останется? И кто будет третьим?

Еще более зыбкая, уязвимая модель (не формула, гипотеза, а готовая, концептуально выверенная, стройная модель) «авторитарного партийного режима». К ней возникают, как минимум, два вопроса. Первый и главный: режим 2000-х, став партийным, перестал быть персоналистским? Он, в отличие от ельцинского, прочитывается не через Путина, а через партию? Зачем же тогда ЕР называет себя «партией Путина»? От скромности? И почему 90-е объявлены сейчас «персоналистскими непартийными»? Потому что не все

партии создавались Кремлем? И второе: электорального и парламентского доминирования ЕР добилась сама? А в Государственной думе она проводит самостоятельную политическую линию, независимую от «П» или «П²»? Если нет (а отрицание законодательной самодеятельности ЕР – одно из оснований модели), то почему в качестве определяющей характеристики режима называется «партийное доминирование»? Модель «партийного режима» рассыпается при наложении на реальность. Хотя, может быть, и не надо накладывать, – модель строится независимо от реальности, имея целью ее перестроить? Возможно, социальная задача постсоветского обществоведения, наследственно-преемственная с советской общественной наукой, – дать (кому? людям? а зачем? себе?) другую реальность?

Повторю, мне представляется, что не режим «выходит» из партии, а она опосредована им, сконструирована под него. ЕР – это *режимная партия*, основание режимной партсистемы. Основная же характеристика режима 2000-х – не демократия или авторитаризм. Его смысл – *безопасность*. Все остальное – вторично, побочно, факультативно. Не случайно главные режимные люди – из безопасности. Только теперь они защищают безопасность не государственную, а личную, групповую, «корпоративную». Это *охранительный режим – режим охраны властно-элитарного благополучия*. Поэтому он не имеет отчетливых идеалов, не базируется на позитивной системе ценностей. Все это режиму не нужно, для него избыточно. Но он все это имитирует – опять же из соображений безопасности.

Что же касается классических определений, то для охранительного режима вообще более естественны авторитарные, а не демократические практики. Режим же, выросший из советского (являющийся результатом его разложения), более, чем какие-то другие, склонен к подавлению последних. Он в принципе исключает для себя демократию. Хотя может использовать обнаруженные «в демократии» технологии. Существенно, что режим 2000-х не выдерживает нагрузки конкуренцией, оппозицией, критикой и по-настоящему не способен к самокритике. Это говорит о его неэффективности, непрофессионализме, общей слабости. Такие режимы возникают только в слабой или неэффективной, инертной, «убитой» социальной среде.

Партия является одной из охранительных технологий. Причем, очень важной. Режим нацелен на ужатие важных социальных процессов до узкого («элитарного») пространства. С помощью партий основная масса населения исключается режимом из системы представления и согласования интересов, разрешения противоречий и конфликтов, процесса принятия социально значимых решений. А потому российская партсистема современна лишь по видимости; режимная логика ведет ее в направлении, противоположном основным тенденциям современности. В случае с партиями мы получили возможность наблюдать, как сложнейшая управленческая технология, нацеленная на разрешение конфликтов и согласование социальных интересов, превращается в примитивную технику обеспечения господства. То есть утрачивает первоначальное значение, исконный смысл, становится партией лишь по названию.

ЛЕНИН И ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКУССИИ (Семинар 3 ноября 2010 г., ИНИОН РАН)

И.И. Глебова (ИНИОН РАН): Сегодня на нашем семинаре выступит профессор Будапештского университета им. Л. Этвеша, заведующий кафедрой истории Восточной Европы Тамаш Краус. Тему своего выступления он обозначил таким образом: история, историографические и теоретические позиции в обсуждении ленинской тематики. Я полагаю, выступление так или иначе связано с книгой профессора Крауса, которая совсем недавно вышла в Венгрии, США и готовится к изданию в России¹. Слово докладчику.



Тамаш Краус: Спасибо, коллеги, что пришли на эту дискуссию, несмотря на канун праздников. Я, правда, не понимаю суть этой даты – 4 ноября, но в конце концов это ваш выбор. В рамках 20–30 минут я решил высказать несколько самых общих и предварительных тезисов. Возможны некоторые недоразумения, так как я буду говорить по-русски, а не по-венгерски, но все, думаю, разрешимо в ходе дискуссии.

Прежде всего, несколько слов об актуальности предложенной мною темы. Я вовсе не произвольно и не так уж давно ее выбрал, хотя и занимаюсь историей СССР много лет. В начале 90-х годов я понял, что новый режим в целях собственной легитимации должен будет актуализировать ленинскую тематику. И действи-

¹ Krausz T. Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. – Вр.: Napvilág, 2008. Русское издание: Краус Т. Ленин: Социально-теоретическая реконструкция. – М.: Наука, 2011. – 395 с.

тельно, не только в Восточной Европе (в том числе, конечно, в странах бывшего Советского Союза), но и на Западе наследие Ленина было подвергнуто переинтерпретации. Я не хочу называть никаких фамилий, но есть такой российский автор, который первый том своего труда о Ленине опубликовал до 1989 г., а другой после. Между этими томами оказались очень глубокие противоречия. Причина понятна — была нужда в новой легитимационной идеологии.

Ленинская тема перестала быть научной. Вокруг нее в 1990-х годах вспыхнула прямо идеологическая борьба. Ее вели и руководили ею люди, которые еще несколько лет назад (даже в перестречные времена) маршировали под знаменем Ленина. И вот пять-шесть лет назад я решил, что напишу книгу, где расскажу об этой борьбе, о пересмотре подходов к ленинской теме. Мне хотелось подчеркнуть, что при старом режиме была своя, достаточно односторонняя логика в изучении этой темы (как, впрочем, и всего советского периода). Сейчас на основе уже либеральной логики, заместившей старую, определились новые позиции, но тоже весьма односторонние. Исходя из ложной нигилистической посылки, вдруг решили, что можно «выгнать» 70 лет из истории. Но это невозможно — что же тогда останется? У меня это главный вопрос в книге: что останется в истории из ленинского наследия? И можно ли втиснуть всего Ленина, всю ленинскую тему в нарратив терроризма, террора или все-таки для ученых это невозможно?

Что еще мне казалось важным? Я стремился понять, почему Ленина сложно и даже невозможно интегрировать в новую социокультурную систему. Кстати, советская культура, по-моему, по крайней мере не хуже, чем царская. В ней соединилось очень много смыслов, ценностей. На Западе же пытаются критически переоценить даже такие элементы советской культуры, которые, по-моему, неоспоримы. Но это в скобках, в качестве ремарки. Так вот, я понял, почему Ленин не интегрируется в постсоветскую систему. Он (его наследие, конечно) с ней несовместим, работает против нее. Даже элементы его наследия, возникшие во время нэпа, — против этой социальной системы. Против нее — все его высказывания (как демократические, так и о терроре), все его идеи.

Но так же с Марксом: у него, например, есть научные работы, очень серьезные с философско-исторической точки зрения, о капиталистических кризисах. Маркс тоже капиталистическую сис-

тему как бы вскрывает изнутри, разоблачает и «взрывает» научными методами. У Ленина нет собственно научных (в Марковом смысле слова) достижений, зато есть исторические исследования – и самое известное «О развитии капитализма в России». Эту книгу читают и сегодня во многих странах, где я бываю, даже в Америке. Там каждая страница – против существующей общественной системы. Поэтому так трудно сейчас заниматься Лениным.

И здесь следует сделать первое, важное для изучающего историографию ленинской темы замечание. И нам, в Венгрии, и вам, в России, следует понять: не надо бояться Ленина; связанный с ним исторический перелом сейчас не повторится. Ленин – это уже историческое явление; зачем воевать против него? Мы живем в новом мире, в котором многое изменилось: не существует того рабочего класса, той фазы развития капитализма, того типа рабочего движения. Октябрьская революция и обусловленный ею исторический процесс закончились, Ленин ушел. И хотя после смены режима уже появились новые опасности, спровоцированные рыночными радикалами, повторения прошлого не будет. Это ясно – тем не менее борьба против Ленина продолжается. И это – первая проблема.

А вторая – это методология, методологические вопросы. Главный среди них: как понять Ленина, возможно ли это вообще? И здесь надо учитывать несколько моментов. Во-первых, Ленин никогда не будет либеральным. Его, конечно, можно измерять с либеральных позиций, но понять таким образом невозможно. Научный подход – неважно, идет ли речь о Ленине или о ком-то другом, – предполагает анализировать какое-то явление в тех ценностных рамках, которые ему адекватны. Если мы поступаем иначе, о науке не может быть и речи. Ленина следует понимать по его собственной логике и, исходя из нее, можно найти его место в истории. По-моему, это необходимо – ведь мы имеем дело с исторической фигурой, сопоставимой по масштабу в русской истории разве что с Петром Великим. Во-вторых, на Ленина надо смотреть как на целостность. Это самое трудное в работе историка, поэтому, кстати, я так уважаю присутствующего здесь Владлена Логинова; он старается восстановить целое, а не вырывать из Ленина как явления, из его наследия какие-то части. Явление истории нельзя, как машину, разобрать на детали, не имеющие внутренней связи. Так его можно дискредитировать, но крайне затруднительно понять.

Следующий свой методологический тезис я сформулировал бы так: был Ленин, но никогда не существовало ленинизма. Сам Ленин возражал против этого термина, хотя применять его начали в 1906 г. или даже раньше. Надо учитывать, что это понятие утверждилось уже после смерти Ленина и использовалось с легитимационной целью. Но сейчас марксизм-ленинизм как легитимационная идеология остался, а легитимация старого режима умерла. Нельзя Ленина втиснуть в эту идеологию. Для изучения ленинского наследия необходимо снять с него те слои, которые наложились позже. Ленина ведь «препарировали» определенные люди и в связи с вполне определенными интересами. Что же тогда останется от Ленина, спросите вы? Прежде всего то, о чем стоит думать и сегодня, – его постановка социальных вопросов. Это и есть главный нарратив, и я к нему еще вернусь.

Именно этот важнейший нарратив заслонила сейчас проблематика террора. О ней надо сказать хотя бы несколько слов. Здесь важнейший вопрос: где оригинал, откуда она исходит, что имеет своим источником? Иначе говоря, изобрел ли Ленин это явление или унаследовал от каких-то времен? На этот счет в исторической науке, в историографии существуют и конфликтуют очень разные мнения. Мне кажется (и многие историки со мной согласны), что террор (как и революционное насилие вообще) «выходит» не просто из российского исторического развития, из национальных традиций, а прямо из Первой мировой войны. От этого невозможно абстрагироваться; поэтому Ленина так сложно втиснуть в нарратив террора – точнее, сделать персонификатором террора.

Теперь о главном нарративе. В России в последнее десятилетие опубликовано много работ сторонников концепции Э. Валлерстайна. И это верное решение. Мы в Венгрии знали о ней уже в 60-е годы. Правда, не слишком адекватно представляли ее источники. А ведь элементы этой теории – и достаточно хорошо разработанные – есть уже у Ленина. Это научно-теоретическая ценность, которой мы сейчас не можем избежать. Ленин, пожалуй, первым представил мировую систему капитализма в качестве иерархической системы (центр–периферия–полупериферия).

Что еще из ленинского наследия останется, как я думаю, с нами? Это теоретический анализ русского капитализма – чрезвычайно дискуссионная сейчас тема. Никто не посмеет сказать, что у Ленина нет интересных соображений на этот счет. Хотя, конечно,

сегодня его гораздо реже цитируют, чем при старом режиме. Зато мы избавились от старых фальсификаций; ленинское наследие очищено, что облегчает его научное познание.

Особый интерес представляют соображения Ленина о перспективах исторического развития России и Европы. Если сузить, следует говорить о возможностях построения социализма. Многие историки характеризуют ленинские представления о социализме как примитивные, используя метафору «казарменного социализма». По-моему, это просто ложь. Причем таким образом мне лгали даже во время перестройки. Ленин был против введения всякого социализма в России. Он никогда и нигде не говорил, что такую систему можно внедрить политическими декларациями и решениями. Все мы знаем, что весной 1918 г. Ленин говорил о новом хозяйстве, а во время Гражданской войны перешел на другую позицию. Позже, в 1920 г., он критиковал собственные взгляды 19-го года – идею о возможности перехода от военного коммунизма к социализму. В начале 1921 г. Ленин уже считал такой переход невозможным, причем по двум причинам. Во-первых, потому, что русский народ тогда не мог жить без купли-продажи. Во-вторых, большевики ошиблись, приняв за образец для России революцию на Западе. Революция (социалистическая, если мы говорим о начале XX в.), конечно, не русское явление. Это хорошо понимают те, кто знаком с историей международного рабочего движения.

Что, на мой взгляд, останется из ленинской теории партии? Некоторые историки считают это самым слабым пунктом наследия Ленина. Возможно, но и здесь есть некоторые положения, интересные именно сегодня, когда ощущается потребность в партийных экспериментах. Я, конечно, не говорю о так называемых традиционных коммунистических организациях, т.е. о партиях, представляющих собой остатки старого режима. Они – я сужу по Венгрии – вообще не понимают новой ситуации. Не думаю я и о социалистических организациях, которые совсем не знают, куда идти, – ведь нельзя вернуться в XIX век. Создать новую «партию авангарда» сегодня очень трудно, но об этом надо думать. Сейчас много говорят, что классовая политика – выдумка, она провалилась. Но что пришло на ее место? Identity policy. В новой ситуации классовую политику попросту выбросили. Даже так называемые социодемократические и коммунистические партии обратились к новой «политике идентичности».



Ю.С. Пивоваров (ИНИОН РАН): А что значит – «политика идентичности»?



Т. Краус: Это значит, что социальные, классовые соображения квазиустарели, в политике появились новые ожидания, мир меняется в соответствии с новыми идентификационными ориентирами – этническими, национальными. Везде, от Венгрии до Индии, уже господствует этническая идентификация.



Ю.С. Пивоваров: А раньше доминировала классовая?



Т. Краус: Скорее, были разговоры о таком доминировании. Если бы серьезно принимались классовые позиции, СССР и социализм в советской форме не провалились бы. Кстати, ту систему я называю – по Марксу и Ленину – государственным социализмом. Хотелось бы подчеркнуть: у Ленина (и других деятелей его партии) не было планов, которые могли бы осуществиться в сталинское время. То есть не Ленин породил Сталина как историческое, властное явление. Между ними и их «режимами» нет преемственности. Если же Stalin сам создал государственный социализм, следует подумать о его исторических предпосылках. Показательно, что в послесталинские времена постоянно говорили, что надо вернуться к Ленину, – даже во время перестройки. Но при этом каждый раз поступали иначе.

Очень важно, что ленинская тема подталкивает к размышлению о современных перспективах. Сейчас ведь никто не может сказать, куда идти. Вообще, это интересный вопрос – о конечной цели. По Ленину, две известные формы – частная и государственная собственность – не относятся к системе социализма. Это что-то другое, своего рода предыстория. А где нынешний ориентир движения? Сейчас, наверное, можно верить в русский капитализм – почему нет? Вера сама по себе не вредное дело. Но есть опыт. К примеру, хороший человек приходит во власть – в него хочется верить и поначалу действительно верят. Однако время идет, а ничего не меняется. Это заставляет сомневаться, размышлять. Так вот, Ленин дает возможность задуматься о том, стоит ли верить в хороший капитализм. А еще о том, как соединить социологический анализ общества и практическую деятельность. Это ведь Ленин и пытался сделать.

Вот чем хотелось бы закончить. Один из лидеров российских либералов, Е. Гайдар, как-то сказал: если бы путь от перестройки к капитализму не был выложен миллионами долларов, старая бюрократия никогда не пошла бы на смену режима¹. Это не дословная цитата, но смысл передан точно. Гайдар знал, о чем говорит, поэтому я предлагаю вам об этом задуматься. Если никто не хочет восстанавливать государственную собственность, то что остается? Конец истории? Ленин актуален сейчас именно потому, что поставил вопрос таким образом: возможна ли альтернатива капитализму? В начале 1920-х годов никто из новых руководителей не мог его избежать. Конечно, другой вопрос, была ли альтернатива сталинизму? Сегодня, слава Богу, уже не стреляют людей, и можно более свободно подумать об этих вопросах.

Сейчас было бы разумно не сражаться с Лениным – его уже нет, а поразмышлять о его наследии. И в связи с ним – о современных перспективах. Спасибо за внимание.

И.И. Глебова: Коллеги, теперь вопросы. Только представляйтесь, пожалуйста.

?

A.В. Гордон (ИНИОН): Вы сказали, что Ленин в нынешний режим не может быть интегрирован.

!

T. Краус: Я так полагаю.

?

A.В. Гордон: А Сталин или сталинизм может?

 **T. Краус:** Я отвечу очень коротко, экономя время для дискуссии. Мне кажется, да – в некоторых своих элементах. В сегодняшней России сложился очень интересный капитализм, в рамках которого, скажем, государственная власть изменяет характер новой буржуазии. Методы его нетипичны. Заметны в нем и элементы великорусского шовинизма (сегодня это, конечно, иначе называется). Национальный шовинизм везде неотделимая часть нового капитализма. Неолиберализм и этнический национализм слиты в некое единство. Одно – причина, другое – следствие.

¹ См.: Глинкина С.П. Феномен коррупции: Теория и российская практика. Рукопись. С. 27



Ю.С. Пивоваров: У меня вопрос вдогонку тому, который поставил Александр Владимирович Гордон. Тамаш, ты начал свое выступление словами, что легитимация нового режима не обойдется без Ленина. Дальше сказал, что Ленина нельзя интегрировать в новую систему. Мне кажется, здесь есть противоречие. Поясни, пожалуйста.



Т. Краус: Может быть, я неточно выразился. Я считаю, что новая идеологическая легитимация требует уничтожения Ленина – именно потому, что его невозможно интегрировать в эту систему.



Ю.С. Пивоваров: А если Ленина нельзя интегрировать в новую систему, то зачем Ленин ей нужен, почему он в ней все время возникает?



Т. Краус: Я сказал, что, если принять тезис о хорошем капитализме, это означает конец человеческого развития. Тогда вполне логичен следующий мой тезис: люди, думающие, что этой системе не нужны альтернативы, стремятся вымести, выбросить из нее Ленина. Они и развязали против него войну. Но он появляется как альтернатива этой системе.

И.И. Глебова: Есть ли еще вопросы, коллеги? Вопросов нет. Тогда давайте обсуждать. Кто-то хочет высказаться?



Б.С. Орлов (ИНИОН РАН): В середине 1980-х годов я был в Вене, изучал деятельность австрийской социал-демократии. В библиотеке мне случайно попалась в руки книжка «Ленин против Ленина», где были собраны противоположные высказывания В.И. по одним и тем же проблемам. Сравнив их, задал себе вопрос (а тогда я был еще сторонником марксизма): что же, собственно, представляет собой учение Ленина? И когда Вы предлагали понимать Ленина, руководствуясь логикой его размышлений, какую логику Вы имели в виду? Какую логику в каждом конкретном случае нам принимать за ленинскую? Это первое обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание.

А вот второе. Один из теоретиков германской социал-демократии в разговоре со мной однажды сказал, что Ленин – гениальный ошибочный стратег. Я же, изучая ленинские работы в начале перестроекных времен, пришел к другому выводу: он, конечно, стратег, но не гениальный. Вот только один из тех примеров, на которых я основываю свой вывод. Случай, кстати, всем известный. В январе 1917 г. Ленин, выступая в Цюрихе перед молодыми социалистами, сказал: вы, молодежь, застанете время коренных революционных преобразований, а нам, старикам, видимо, до этого не дожить¹. И вдруг буквально через месяц он срочно собирается в дорогу: в России революция – демократическая, февральская. В Петрограде, как известно, Ильич провозгласил курс на перераспределение буржуазно-демократической революции в социалистическую. Меня поэтому потрясло Ваше заявление, что Ленин никогда не был социалистом.

Еще один известный факт: когда Ленин скрывался от преследований Временного правительства в Финляндии, он писал «Государство и революцию» – своего рода план действий на случай прихода к власти. Эту работу я в свое время прочитал раз, наверное, пять. И пришел к выводу, что это всего-навсего примитивная имитация работы Маркса «Критика Готской программы». Ну, можно сказать, ошибся человек – Бог с ним, написал и написал. Дело, однако, в том, что установки работы (в частности, о переходе к прямому товарообмену) были реализованы в жизни. И только когда Россия оказалась из-за этого буквально на грани пропасти, Ленин меняет курс – вводится новая экономическая политика. Как это называть – гениальным прозрением или попыткой выйти из тупика, – большой вопрос. Все это какие-то метания, стихийные прозрения – может, и гениальные. Но где здесь предвидение, учение, логика?

Еще одно замечание. М.С. Горбачев любил в свое время повторять ленинское высказывание: возникла потребность в измене-

¹ «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении в Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции» (доклад о революции 1905 г. швейцарским социалистам; датирован ранее 9 (22) января 1917 г.). (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 30. – С. 306–328.)

нии коренной точки зрения на социализм¹. С Горбачевым, конечно, своя история, но вот какую перемену имел в виду Ленин? В его последних статьях (написанных с 22 декабря 1922 г. по 2 марта 1923 г.) многое чего есть – в том числе предложение ввести в руководящие органы коммунистической партии представителей трудящихся и т.д. Но это не гениальная стратегия, а какая-то беспомощная попытка оживить его модель социализма. Точнее, добавить социализм в то, что получилось.

Теперь о том, был ли сталинизм логическим продолжением ленинской политики. Я принадлежу к тому поколению «шестидесятников», которое после XX съезда первым столкнулось с этой проблемой. За ответом мы обращались к поздним ленинским публикациям, тюремным высказываниям Розы Люксембург и тетрадям Грамши, к раннему Марксу, снова к современникам (к тому же Джиласу). Выводы делались разные. Я полагаю, что Ленин сыграл решающую роль в формировании тоталитарной модели партии (с харизматическим лидером/вождем) и, соответственно, модели тоталитарного социализма (с предельно жестким подавлением инакомыслящих). По этим тоталитарным рельсам ленинский паровоз «полетел» вперед, сметая все на своем пути. Сталин лишь сменил Ленина у руля; он – новый вождь, соответствовавший новой обстановке.

И в заключение – о сегодняшнем дне. Не знаю, как в Венгрии, но в России сложилась очень странная ситуация. С одной стороны, нам предлагают вернуться в XIX век, с самодержавием, православием, народностью (один известный и влиятельный кинорежиссер, например, проповедует эту мысль, где только можно). С другой, ориентируют на ленинскую, т.е. советскую социалистическую (так она во всяком случае трактуется), стратегию. Моя личная позиция – ни та ни другая стратегии Россию в нормальное цивилизованное русло не введут. У меня всегда возникал вопрос: почему коллеги, к которым я лично хорошо отношусь, зациклились на неработающей, туниковой теории? Ответа на него я не нашел. Но убежден, что по-

¹ «Ленин проявил мужество, когда он заявил, что “мы пошли не тем путем”, допустили главную ошибку, и теперь надо коренным образом пересмотреть точку зрения на социализм» (вступительная речь М.С. Горбачева на Учредительном съезде Российской объединенной социал-демократической партии 11 марта 2000 г.). (См.: Материалы Учредительного съезда Российской объединенной социал-демократической партии. – М.: ООО «Фантера», 2000. – С. 12.)

пытки актуализации ленинского наследия не обогатят теоретическую мысль.

Ленин, на мой взгляд, – ошибочный стратег. Инициированные им действия, его логика, стратегия привели в нашей стране к тому, что некоторые исследователи называют антропологической катастрофой. Ленин – один из виновников многих бед, случившихся с Россией в XX в.



Т. Краус: Я хотел бы реагировать на выступление г-на Орлова. Я ничего не сказал о гениальности Ленина, не говорил, что Горбачев что-то понял в теории социализма, – он ни в чем не разбирался. Я не предлагал следовать сегодня ленинской политической стратегии. Напротив, подчеркнул: Ленин родился один раз, в определенной исторической ситуации, а сегодня нужно что-то другое. И я постарался показать некоторые элементы его наследия, которые могут быть актуальны. Последнее: не думаю, что ответственность за все катастрофы, которые произошли в этой стране за последние десятилетия, можно возложить на Ленина. Это же смешно. Сейчас совершенно другая эпоха. Надо говорить о новом капитализме, а не о Ленине, умершем в 1924 г.



А.И. Колганов (МГУ): Я не только полагаю, как коллега Орлов, что Ленина можно и нужно критиковать, но и сам являюсь критиком очень многих аспектов ленинской теории. Но, в отличие от коллеги Орлова, считаю: для того чтобы критиковать стратегию Ленина, ее надо знать. Назвав Ленина гениальным ошибочным стратегом, г-н Орлов предложил неточные аргументы. Я с сожалением должен констатировать, что все они от начала до конца фальшивы, не соответствуют действительности.

Прежде всего о революциях. В начале 1917 г. Ленин говорил, что старшее поколение не доживет до решающих событий мировой революции. Причем отмечал (в том же, кстати, выступлении), что ситуация в Европе чревата революцией. Ленин ощущал близость мировой революции, хотя и не был уверен, что доживет до ее победы (или хотя бы до ее решающей фазы). Утверждать, что Ленин не ждал (февральской) революции, совершенно ошибочно, нелепо. Более того, накануне Февраля он даже спрогнозировал состав будущего послереволюционного правительства. Как после этого можно говорить, что революция была для Ленина полной неожи-

данностью? Второе, да... извините, стал излишне эмоционален, но странно сталкиваться с такого рода непониманием.

! **Ю.С. Пивоваров:** Многие не понимают, не один Борис Сергеевич <Орлов>. Я, например, тоже никогда не понимал.

 **А.И. Колганов:** Теперь о революционной стратегии. От человека, изучавшего историю, очень странно слышать, что Ленин ориентировал на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Ни к чему подобному ни на Финляндском вокзале, ни в «Апрельских тезисах» Ленин не призывал¹. Более того, во время дискуссии по поводу «Апрельских тезисов» он уточнил свою позицию, сказав, что не только не призывает к перерождению революции в социалистическую, но и прямо предостерегает против этого. Ваша информация об «Апрельских тезисах» Ленина заимствована из сталинского «Краткого курса ВКП(б)», что опять-таки странно. Нужно базироваться на первоисточнике.

И наконец, о стратегии послереволюционной. Я разделяю позицию Т. Крауса: ленинская стратегия выросла из определенного времени. Призывы вернуться к ней ошибочны, бесмысленны и контрпродуктивны. Более того, к ленинскому курсу 1917 г. следует отнести критически, потому что он содержал определенные ошибки. Я о них писал, но в данном случае мне приходится Ленина защищать. Речь идет о его экономической политике периода Гражданской войны. Содержала ли она ошибки? Да, безусловно. Но в целом экономическую политику военного коммунизма я не могу назвать ошибочной. Причина одна: переход на свободную торгов-

¹ Речь идет о знаменитых «Апрельских тезисах», опубликованных в статье «О задачах пролетариата в данной революции» (см.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. – М., 1969. – Т. 31. – С. 113–118). В «Апрельских тезисах» Ленин указывал: «Своёобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Ленин считал единственно возможной формой революционного правительства Совет рабочих депутатов, требовал «государства-коммуны и... свержения капитала». Он подчеркивал: «...не введение социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за общественным производством и распределением продуктов».

лю хлебом означал тогда голод для всей Центральной России. Да, большевики запоздали с переходом к продовольственному налогу в начале 1921 г. Следовало вводить его сразу, как только они выбили своих противников с большей части территории страны. Но не надо при этом говорить: большевики могли и не прибегать к силовому давлению, чтобы изъять у крестьян хлебные излишки.

! **И.И. Глебова:** Мне кажется целесообразным обсудить еще по крайней мере два тезиса Т. Крауса. Первое: он сказал, что мы, русские, не способны быть нейтральными. И особенно отчетливо это проявляется в отношении к Ленину. Так ли это и почему это так? Второе: утверждение Тамаша, что Ленин предложил альтернативу капитализму. Какова она и может ли в этом смысле быть сейчас полезным ленинское наследие? Мы как-то застяли, зацепившись за прошлое – причем в конкретно-историческом, а не в теоретическом плане.

 **В.В. Лапкин (ИМЭМО РАН):** Я позволю себе ответить предыдущему оратору – по одному, вроде бы частному пункту и очень коротко. Невозможно говорить о деятельности Ленина, особенно начиная с февраля 1917 г. (был ли он социалистом, последователем Маркса и т.д.), уклоняясь от принципиального вопроса: а чем он был движим? Ведь понятно, что главным для этого ключевого политика России революционной эпохи был вопрос о власти, ее завоевании и удержании, причем любой ценой. Игнорировать этот аспект в наших рассуждениях (в том числе, о политике военного коммунизма) – значит уклоняться от сути дела. Необходимо учитывать, что небольшая группа людей должна была контролировать огромную страну. Для этого не жалела ничего и никого. Кстати, и тот самый пролетариат, именем которого делалась революция (его численность в крупных городах, как известно, сократилась за те годы многоократно). Игнорируя это, мы просто потеряем ориентир, необходимый для обсуждения нашей темы.

Теперь перейду к соображениям по основному докладу. Вообще-то, мы в России должны более спокойно относиться к таким темам. К сожалению, мы сами не занимаемся глубоким анализом своей недавней истории, не даем ответов на поставленные ею вопросы. Поэтому вынуждены принимать многие предрассудки и суждения, которые сформировались в советский период, появились

не в России и т.д. Это расплата за невнимание к собственной истории. Я согласен с докладчиком, что современная Ленину форма рабочего движения себя уже изжила, многое изменилось, что-то ушло в прошлое. Осталась, однако, исковерканная Лениным и его сторонниками страна, и она по-прежнему идет в проложенной большевизмом колее. И поэтому, конечно, тема Ленина и ленинизма актуальна у нас не только в научном отношении.

Я подчеркнул бы, что основным результатом ленинского эксперимента стало уничтожение в стране отношений частной собственности. Мы построили уникальное общество, где нет частной собственности, а значит, частного права и многого другого. При этом развивалась очень эффективная индустриальная экономика, создавались гигантские промышленные предприятия, страна вышла на позиции антагониста мирового лидера. Однако не сформировалась социальная основа для постиндустриальной экономики, осуществления «демократического перехода». И восстановить ее крайне сложно.

Я солидарен с докладчиком и в другом. Ленин и большевики сыграли великую первоходческую роль; впервые в мировой истории решали многие актуальные проблемы. По их пути еще пытаются пойти другие. При этом, однако, надо помнить: главное, что Россия привносит в мир, – это урок, как не надо решать проблемы. В этом смысле следует говорить о терроре. Большевики, как и прочие революционеры в России конца XIX в., следовали западноевропейской традиции, учились террору у Европы. Вклад Владимира Ильича в это дело – в том, что он вывел террор на уровень государственной политики. Более того, совместил террор государственный с карт-бланшем на нелегитимный террор. Пожалуй, на этом я закончу.



А.В. Бузгин (журнал «Альтернативы»): В данном случае я еще представляю журнал «Альтернативы», где в трех последних номерах публиковались статьи на ленинскую тему¹. Теперь о том, что касается доклада и обсуждения. Начну с методологии. В период перестройки, который мы здесь упоминали, Ленина

¹ См., например: Бузгин А. Ленин как теоретик // Альтернативы. – М., 2010. – № 1. «Альтернативы» – ежеквартальный теоретический и общ.-полит. журнал, выходит с 1991 г. А.В. Бузгин – его главный редактор.

особенно сильно ругали за то, что он считал общественную науку социально и идеологически окрашенной. Наше обсуждение доказывает, что Ленин был абсолютно неправ. Никакой идеологической окраски в социальной науке нет. Все нейтральны, объективны и корректны. (*Смех в зале.*) Так, по крайней мере одну правомерность у Ленина мы эмпирически доказали.

Дальше ограничусь репликами. У нас пошли в ход разные аргументы: в их числе тот, что целью Ленина был захват и удержание власти. Я не утверждаю, что это неправильно, – просто называю. А разве все иные политические силы не боролись тогда за власть? Просто Ленин вышел из той борьбы победителем, нейтрализовав всех конкурентов. Осудим его за это? Затем, в «Государстве и революции» не представлена концепция планомерного развития экономики после победы социалистической революции. Нет, в работе характеризуется первая фаза коммунистического общества: и в ее рамках, как указывал Ленин, развитие элементов рынка вполне возможно. В отличие от коммунизма как нерыночной системы. Что касается прозвучавшей оценки участия рабочих и т.п. в управлении как популизма – этот тезис доказан всей мировой историей социал-демократии. Конечно, в управлении позволительно участвовать только топ-менеджерам и желательно из номенклатурной среды, но не работникам инженерного корпуса, квалифицированным рабочим и т.д. Можно сделать президентом артиста или культуриста, как в Соединенных Штатах, губернатором – это тоже нормально...



Ю.С. Пивоваров: И у нас спортсмен был.



А.В. Бузгин: Совершенно верно. А привлекать к управлению квалифицированных работников – это грубый популизм, допущенный нецивилизованными большевиками. Примем эту точку зрения. Или, напротив, будем считать, что Ленин был прав; привлечение рабочих к управлению – это нормальная демократия. Давайте зайдем хоть какую-нибудь позицию... Но не занимаем – не можем почему-то. Еще одна реплика – о частной собственности как естественной основе общества. Так ведь, господин профессор (к В.В. Лапкину) – естественной?



В.В. Лапкин: Да.

?

А.В. Бузгалин: То есть данной природой?

!

Лапкин В.В.: Нет. Данной обществом.



А.В. Бузгалин: Если она дана обществом – значит, является социальной и в этом смысле неестественной. Это просто тезис: то, что дано обществом, – то социально. А социальное развитие, как известно, до того, как восторжествовали институты собственности, тысячи лет проходило в примитивных формах. И появлялись произведения высокой культуры без всякой частной собственности. Поэтому считать частную собственность изначально и навсегда данным, абсолютным институтом некорректно. Она однажды возникла и, наверное, когда-то может уйти в прошлое. Строим же мы, здесь присущие, свою научную и культурную деятельность на основе всеобщей коммунистической собственности. Отдаем свою продукцию бесплатно, создавая тем самым возможность присваивать ее бесконечно. Мы не патентуем свою интеллектуальную собственность и не получаем за нее материальную ренту. И в современной социал-демократической модели, где имеется и рыночное, и частное, остается практика присвоения и распоряжения чужим продуктом (в разных, конечно, формах). Речь в данном случае идет не о правоте Ленина, а о корректности политики.

Еще одна важная оговорка. У большинства наших обществоведов почему-то вызывает ненависть диалектический метод. Он ассоциируется с ГУЛАГом, террором. А между тем существует диалектическое наследие как часть общечеловеческого. И вся деятельность Ленина укладывается в его специфическую логику, которая не поддается оценке с позиций стандартных догматов.

Теперь о контексте. Напомню, что Первая мировая война, к которой Ленин и большевики не имеют никакого отношения, унесла 10 млн. жизней. А ведь социал-демократы всех стран проголосовали за участие своих правительств в этой войне. То есть подтвердили их право на легитимное насилие, которое стало одной из причин революций в Германии, Венгрии, России, антиколониальных войн и т.п. Ленинские работы писались в контексте Первой мировой войны. Надо учитывать, что люди сильно зависят от контекста, очень меняются в определенных обстоятельствах. Не только

Ленин, но, скажем, Иван Бунин в своих «Окаймленных днях» демонстрирует это.

Отмечу вот еще что. Посмотрим на наших коллег из социал-демократического и либерального лагеря. Я не встречал ни одного либерала, защитника прав человека, демократа, который выступал бы за то, чтобы предать анафеме, публичному осуждению тех государственных деятелей США, которые инициировали ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Никого, кто призывал бы американский народ и правительство покаяться. А ведь большего государственного террора трудно себе представить. И таких примеров много. Я не говорю, что Сталин и Ленин были правы, выбирая террор, а предлагаю анализировать причины такого выбора.



Реплика из зала: Те вели себя так хотя бы не в своей стране.



А.В. Бузгалин: Вот очень хорошая фраза – всегда жду, когда

ее скажут. В своей стране нельзя, а в чужой, значит, можно.

Давайте на этом я закончу свои полемические высказывания. Я часто так выступаю, с одними и теми же тезисами, вопросами – и в этой аудитории мне было интересно посмотреть еще раз на реакцию. Она не меняется – реакция всегда одна и та же. Спасибо.



И.И. Глебова: Неприятно ощущать себя в роли подопытных.

! И непонятно, почему Вы нам эту роль отвели. Это некорректная, а главное, бессодержательная полемика. Что мы таким образом обсудили? Ваши ощущения от спровоцированных (иногда оскорбительным образом) эмоциональных реакций аудитории?



А.В. Бузгалин: Тогда позвольте несколько слов по существу.

Ленин – это такая фигура, такой политик, который всегда вызывает конфронтационный характер полемики. В сколь угодно интеллигентной аудитории. Я просил бы вас непредвзятым взглядом перечитать «Государство и революция» и сказать, какие из признаков империализма, перечисленные в этой работе, неактуальны сегодня. Есть интересная работа «Ленин: Перезагрузка»¹, где целый ряд западных авторов со статистикой в руках показывают, почему

¹ Lenin reloaded: Toward a politics of truth / Sebastian Budgen, Eustache Howélikis, Slavoj Zirek and others. – Durham; L.: Duke univ. press., 2007. – 337 p.

Ленин до сих пор, к сожалению, актуален. Это относится и к его анализу развития низовой (базовой) демократии, вопросов внутренней политики, проблематики «центр-периферия-полупериферия», о чем говорил Т. Краус. Актуален его анализ эволюции капитализма под влиянием смены исторического контекста. Это не только «Что делать?»; Ленин много писал о разных типах политической организации, о том, как и почему либеральные политики могут двигаться к авторитарной схеме организации общества и т.д. Вот эти правота и актуальность – причина не только жесткой полемики, но и прямого раскола в интеллектуальной среде, в нашем обществе по вопросу о Ленине.



Ю.С. Пивоваров: Позвольте мне тоже выступить. Я начну как раз там, где коллега Бузгалин закончил. Он сказал, что именно по Ленину мы так расходимся; если бы не он, – нашли бы общий язык. И еще одно замечание: он уже 20 лет, говоря похожие вещи в разных аудиториях, получает одну и ту же реакцию. Сначала о реакции. Я внимательно слушал профессора Бузгалина, которого уважаю как человека со своим вполне определенным мнением. И могу сказать, как и Вы: да, одна и та же реакция. А почему она должна быть иной? Опять мне говорят то, что я слышал и 50 лет назад (об американской агрессии, зле частной собственности и т.п.). У вас – одни реакции и у нас – одни реакции. Как Вы понимаете, я не разделяю Вашей точки зрения.

Что касается Ленина, то понятно, почему он так раскалывает и теперь. Безусловно, центральная фигура, человек номер один русской истории XX в. (и даже не только русской – и мировой). Но для одних это, возможно, научный объект, а для меня – трагедия. Т. Краус в своем, кстати, жестком и четком выступлении говорит: Ленина нельзя анализировать, скажем, с позиций либеральных, а надо попытаться понять изнутри. А почему я должен понимать его изнутри? Я стою на либеральных позициях, я – либеральный демократ. И не могу изнутри реконструировать это явление, так как отношусь к нему с других позиций. Это первое.

Второе. Докладчик предложил смотреть на Ленина как на целое. Это тоже очень четкий методологический посыл: возьмите Ленина от первых, начала 1890-х, до последних работ и проанализируйте все. Эта позиция предполагает, что Ленина надо изучать как выдающегося, сложного, великого ученого. Я, правда, не совсем

понял, в чем величие, – Тамаш сказал, что в теоретическом отношении от него, вроде бы, ничего и не осталось. Но я не поклонник Ленина и не берусь судить. Я убежден в том, что вопрос о Ленине – это не вопрос о тонкостях его экономической политики. Поясню с помощью грубого, может быть, сравнения. Гитлер тоже не был идиотом, как его показывали в карикатурных фильмах. Это очень умелый политик, который ловко играл на трудностях немецкой истории.

Конечно, Ленин был гений, о чем речь? У него масса достижений; я вообще считаю, что его «учение» о партии нового типа – то же самое для русской политики, что «Государь» Макиавелли для западной. Ну и что? Тамаш говорил о другой фазе капитализма, иных рабочих. Мне это неинтересно; я не марксист и не смотрю на историю как на арену столкновений капитализма – социализма, центра – периферии. Для меня это совершенно чуждые вещи, но я понимаю, что люди могут так думать.

Разве это главное в Ленине? Ленин из нашей страны никуда не ушел. Он остался в памятниках, названиях улиц, в традициях, даже в стиле отношения людей друг к другу. И что такое Ленин для России, я могу сказать – террор, бесконечный, беспощадный. Ленин – это Сталин сегодня. Мне все равно, как размышляют марксисты; я – жертва этого режима, знаете, как евреи были жертвами Холокоста. Им все равно, какие были противоречия в нацистской верхушке в 1942 г., когда решался еврейский вопрос (а противоречия там были большие, и Гитлер был даже против «окончательного» решения). Еврею все равно, почему, по каким теоретико-идеологическим основаниям его загнали в газовую камеру.

Этот политик, его партия и их последователи загнали наш народ в концлагерь. До 1917 г. Российская империя не была идеальной, но после стала просто пыточной камерой. Вот мы рассуждали о легитимности. Но ведь известно: большевистский режим начинается с совершенно постыдного разгона Учредительного собрания. В чем тогда его легитимность, его народные основания, если говорить не о наших сегодняшних идеологических и моральных предпочтениях, а о выборе *того* народа?

Мы говорим, что Ленин – гениальный теоретик. Возможно, но не в этом дело – практика была отвратительна! Это был гений; в его наследии и сейчас, наверное, каждый что-то может найти. И что мне? Я же живу не с наследием, а в стране. И этот человек –

как интеллектуал, как интеллигент – несет личную, персональную ответственность за то, что с этой страной произошло. А произошло здесь разрушение всех общественных основ. Что такое частная собственность? – Одна из фундаментальных ценностей человеческой цивилизации (как семья, язык, государство), выработанных человечеством в ходе эволюции. Против этих основ и обратился большевизм.

С моей точки зрения, 70 лет советского режима были антропологической катастрофой для народов, населявших мою Родину. Установившийся режим был абсолютно диктаторским, тоталитарным, не сравнимым ни с каким другим в XX в. Даже режим Третьего рейха, которым я тоже занимался, был мягче ко всем народам, кроме одного – еврейского. Наш «мочил», говоря языком премьера Путина, абсолютно все народы. И в этом смысле, мне кажется, проблема Ленина – это проблема морального выбора, а не проблема размышлений: что Ильич думал, когда писал ту или иную работу, или как разочаровался в каких-то взглядах, позициях; почему перешел от проразверстки к продналогу. Мне все равно, что он думал, – важно, что делал. И только так, по реальным делам и их последствиям (в том числе отдаленным) можно судить политического деятеля.

Что же касается А. Шварценеггера (профессор Бузгалин его ведь имел в виду?), то да, он – культуррист, но Калифорния процветает. Неважно, спортсмен ли, артист, важна реальная практика. Я думаю, что по поводу Ленина, советского «социализма» действительно никогда не договорятся люди. Не социал-демократы, либералы и т.д., а люди, для которых определяющим является либо моральный подход к жизни и политике, либо аморальный.

! **А.В. Бузгалин:** Я хочу, чтобы меня правильно поняли: у нас, вроде бы, совершенно другой (не такой, как в начале ХХ в.) капитализм, а Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает 60-часовую рабочую неделю¹. Это морально или аморально?

! **Т. Краус:** Одно замечание. Профессор Бузгалин правильно сказал, что русская революция – продукт Первой мировой войны, а она не была инициирована большевиками. Но предпосыл-

¹ Предложение появилось на сайте РСПП в конце октября 2010 г.

ки для большевизма созрели во время той войны. Это необходимо учитывать при анализе ленинского наследия, политики большевиков.

! **Д. Свак** (*Университет им. Л. Этвеша, Будапешт*): У меня короткий вопрос. Юрий Сергеевич <Пивоваров> очень эмоционально говорил о Ленине. А Вы готовы в том же стиле – о Петре Первом?

! **Ю.С. Пивоваров:** Сегодня не готов – это ведь не тема нашего обсуждения. А потом эмоционально вообще не готов. Я эгоист. Петр Первый задел меня лично меньше, чем В.И. Но я и его не люблю по тем же причинам. Он возвел насилие над человеком в принцип государственного управления.

 **В.Т. Логинов** (*Университет Академии образования*): Я лично глубоко убежден в бесполезности таких дискуссий. Во-первых, мы никогда друг друга не читаем; во-вторых, никогда друг друга просто не слышим. В данном случае это вполне объяснимо: вопрос о Ленине действительно еще и вопрос о нравственном выборе, о нравственной позиции. Всем известно: интеллигент никогда не совершил подлого поступка, предварительно не обосновав его морально. И если уж выбрал, что надо кого-то зарезать, убить, то будет стоять до конца. Поэтому, я считаю, спорить нам бессмысленно. Единственное: ребята, ну давайте читать хотя бы друг друга! Ведь прекрасные книги о послереволюционном переходном периоде вышли – очевидно, что никто их не читал. Сколько про Февральскую революцию написано – бесполезно.

В содержательном отношении вот на что хочу обратить внимание. Может быть, самое важное, что сегодня было сказано, – о связи между либерализмом и фашизмом. Не обижайтесь, – хотя бы А.А. Галкина почитайте¹: либерализм – это то, что приведет к фашизму. Тамаш <Краус> абсолютно прав: со Сталиным они все помирятся, сделают из него государственника, зафиксируют это в учебниках. Ленина не примут никогда. Это ведь другое понимание демократии, идущее с древних времен. Об этом «Государство и революция». Что касается советской истории и ленинской вины –

¹ Речь идет о работе: Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1989.

проблема не в самом Ленине, а в нашей непримиримости. Советскую историю невозможно рассказывать как линейную, как нельзя валить в кучу разные истории (в 1917 г. случилась революция, поэтому в 1985 г. нет колбасы). Это порочная логика.



Ю.С. Пивоваров: Очень странно здесь, в стенах ИИОН, слышать: проблема в том, что мы – в большинстве его сотрудники, а также служащие в РАН, вузах – не читаем. Это ведь совсем небезобидно. Сказать о людях, профессия которых – читать, что они не читают, – значит обвинить их в непрофессионализме. Видимо, все-таки не в этом объяснение нашего взаимонепонимания. У людей просто могут быть принципиально разные точки зрения. Теперь о связи между либерализмом и фашизмом. Вы не декларируйте – докажите. Зачем «шить дело» Галкину? Это явно не его тезис. И потом, оскорбительно для многих миллионов людей либеральных убеждений говорить, что они порождают фашизм.



В.П. Булдаков (ИРИ РАН): Поначалу мне хотелось отмолчаться: дискуссии о Ленине идут уже по десятому, если не сотому, кругу. При этом всякий раз доминируют эмоции, даже страсти. Причем страсти кипят вокруг идолов, некогда воздвигнутых нами самими, что заслоняет существо дела. У нас так всегда. И Ленин, кстати сказать, был человеком того же пошиба. Он до бесконечности мог полемизировать по поводу искусственных понятий, которые сегодня вообще не воспринимаются. Не воспринимаются потому, что они были лишь эмоциональным продуктом тогдашнего (преходящего) ученого воображения.

Тамаш вроде бы назвал меня (или кого-то еще) либеральным автором. Но в научном споре я не либерал, не марксист и тем более не какой-нибудь постмодернист, а просто исследователь, плохой или хороший – это другое дело. Все наши «измы» давно пора бы оставить за бортом. У нас они постоянно превращаются из конвенциональных понятий в настоящие символы веры. Сегодня это выглядит очень по-детски. «Нормально» это смотрелось в Средние века. Или в эпохи, отмеченные откатом (очередным) в далекое прошлое. Так бывает, причем постоянно.

«Время Ленина» – это время настолько мощного социально-экономического рывка европейских империй вперед, что это не могло не вызвать самых невероятных иллюзий – ожили, с одной

стороны, самые низменные человеческие инстинкты, с другой – воскресли великие утопии. Мир в полном смысле слова сошел с ума. И в условиях мировой войны Ленин представлял отнюдь не худший вариант умопомешательства.

Феномен Ленина – продукт мировой войны. Не будь войны, он бы представлял небольшую секту в тогдашнем социалистическом движении. Зачем же копья ломать? Или спорим по инерции, руководствуясь известной интеллигентской привычкой?

Конечно, сегодня идея мировой революции – а это главная страсть Ленина, как и Троцкого, – кажется авантюрой. Но, что бы ни говорили сегодня на этот счет, придется признать, что имя Ленина и в прошлом, и в настоящем неотделимо от образа русской революции. Понять Ленина – значит приблизиться к пониманию революции. Что касается последней, то (не мной было сказано) кто не видел революции, тот и русского народа не увидел.

В нашей дискуссии постоянно звучит: в этом Ленин прав, а в этом не прав. А кто мы такие, чтобы выставлять школьные оценки человеку иного времени? Нравится нам или нет, но Ленин – это продукт целой эпохи, страшной и грандиозной. А эпоху надо понять и соответственно соизмерить некоторые масштабы. Вот когда мы действительно поймем эпоху Ленина (а на это может уйти еще 100 лет), тогда и имеет смысл судить Ленина… Кстати, Владлен Терентьевич <Логинов> совершенно прав: мы не хотим знать историю – слишком тяжелое занятие. Спорить о символах прошлого гораздо проще, тем более что химеры воображения в наш «информационный» век плодятся в геометрической прогрессии. А надо бы задуматься: что сделал (или попытался сделать) Ленин с тем реальным историческим материалом, который ему достался? И наконец, стоит прикинуть: чем история ответила Ленину?

Характерно, что сам Ленин вышел совсем не из революционной среды. Один мой знакомый, историк со всеми степенями, относительно недавно побывав в Ульяновске, недоумевал: «Как в этой обывательской среде мог вырасти такой человек?» Не помню, что я ответил, но следовало бы вспомнить пословицу: «В тихом омуте черти водятся». А если серьезно, то мы действительно не понимаем и не хотим понимать ни прошлой эпохи, ни специфики соединения ее с той или иной микросредой. Отсюда наши бессильные эмоции: «нравится, не нравится».

История (как наука, если только она уцелеет) – это своего рода идентификационный диалог с прошлым. Строго говоря, здесь «вкусовщина» неуместна (хотя она всегда присутствует). Если быть откровенным до конца, то «понять себя» (современность) легче всего, взглянувшись в «злодеев» ушедших времен. И это очень тяжелое занятие.

Вернусь к личности Ленина. У меня к нему всегда было неоднозначное отношение. Таким оно и остается. Было время, когда я Ленина ненавидел, может быть, даже покруче, чем Юрий Сергеевич <Пивоваров>. Постепенно я приучил себя взглянуть на эту личность. Но есть ли смысл копаться в личности разрушителя (а не примитивного террориста) в отрыве от эпохи, реальные (а не выдуманные им самим) противоречия которой он использовал? Вопрос вопросов: почему Ленин был столь популярен? Почему он стал такой ненавистной фигурой? Почему он популярен даже сегодня у людей, которые ничего не хотят знать о реальной истории его возвышения? Вот об этом и надо думать, а не просто выяснять с ним «личные отношения».

Считается, что основной вопрос русской истории: «Кто виноват?» Я давно отвечаю просто: «Сам виноват, потому что не пытаешься понять свою историю». Потому и возникают такие нелепости с Лениным: то он востребован как икона, то как пугало.

Если хочешь понять Ленина, надо правильно оценить возможности его личности на фоне информации, которой он располагал. И тогда окажется, что нелепо делать из Ленина пошлого террориста – он жил интеллектуальными и духовными страстями своего времени. Один из его политических противников откликнулся на его смерть словами: «Он был большой человек». Имелись в виду и его большие ошибки. Они также делают честь человеческому уму, ибо вся история – цепь заблуждений и трагедий. «...То, что называется истиной, всегда в большей или меньшей степени включает в себя ошибку – ошибку, на которую каждая эпоха имеет право и без которой она не может обойтись» (Х. Орtega-и-Гассет). Странно только, что мы к этому никак не можем привыкнуть.

Сегодня не случайно сравнивали мысли Ленина с идеями Э. Валлерстайна. Действительно, Ленин пытался разрушить империализм как систему, а вовсе не собирался строить социализм «в одной отдельно взятой стране». Мне представляется, что ленинское

понимание «развития капитализма в России» – иллюзия, но его «Статистика и социология» – это серия настоящих прозрений.

Но нужен ли сегодня ленинизм? Думаю, что нет. Так называемый ленинизм – это набор догм, воздвигнутых на «фундаменте» иллюзий ушедшей эпохи. Иное дело «живой» Ленин, которого надо уметь разглядеть.



Ю.С. Пивоваров: А ведь я в своей реплике начал с того, что мне лично Ленин абсолютно не интересен. Мне интересны Струве или поэт Блок – не Ленин. И я не размышляю о нем, тем более с позиций: да кто я такой? Но для меня, как историка, важно как раз, кто же он? Это серый, совершенно провинциальный, мало-культурный и малообразованный человек – на фоне той эпохи, выдвинутых ею людей (по-настоящему гениальных, образованных, талантливых). Почему мы крутимся только вокруг Ленина, поддерживаем его репутацию гения?

Да, Владимир Прохорович <Булдаков>, я ведь даже не о Ленине сейчас говорю. Вот Тамаш <Краус> – о Ленине, а я – о ленинизме. Ленинизм для России – это синоним или даже имя того ужаса, что творился 70 лет. Я полагаю, что Ленин страшнее Гитлера: тот разоблачен, а Ленин до сих пор является предметом научных дискуссий. На вопрос – ошибся он или нет? – я отвечу: нет, он все сделал правильно. Так вот я против этого «правильно».



И.И. Глебова: Благодарю докладчика за четкое изложение своей позиции, а вас, коллеги, – за участие в обсуждении. Оно получилось острым, даже нервным. До срыва мы, правда, не дошли, но продемонстрировали: наше прошлое – зона конфликта, на него есть полярные, противоположные точки зрения. Если учесть, что это и пространство современного самоопределения, становится ясно: Ленин – псевдоним гражданской войны, которая в нашем обществе не закончена. Поэтому предложение Т. Крауса примириться неосуществимо.

В дореволюционной России трагический характер имел раскол на две субкультуры (фактически две страны): европеизированную (городскую, интеллигентско-мещансскую, чиновную, ученую) и почвенную (преимущественно крестьянскую, традиционалистскую). Он был одной из причин кошмара 1917–1921 гг. В России нынешней существует раскол культурный, мировоззренческий.

В его основе – не разные взгляды на современный капитализм, а различные ценностные предпочтения, убеждения. Конечно, этот раскол – один из многих, но едва ли не самый показательный. «Ленинцы», «попутчики», «антиленинцы» – это социальные ориентиры сегодняшнего дня. Здесь начало современных общественных противостояний.

Теперь о докладе. Я напомню, как Тамаш <Краус> формулировал свою задачу: рассмотреть ленинское наследие с точки зрения вопроса – возможна ли альтернатива капитализму? Более того, в ходе обсуждения прозвучал тезис: Ленин (как историческое явление, т.е. не только как теоретик) есть альтернатива капиталистической системе (и в ее прежнем – начала XX в., и в нынешнем видах). Причем, речь идет о хорошей альтернативе.

Тамаш, как мне представляется, выбрал практически беспрогрышную исследовательскую «площадку». В интеллектуальном наследии Ленина можно обнаружить и критику капитализма, и черты альтернативной ему социальной модели. Однако здесь возникает трудность: Ленин как теоретик – не уникальное явление, а лишь представитель большого «отряда» критиков/альтернативщиков. Уникальность героя Крауса – в практике; его до сих пор поднимают на щит или развенчивают потому, что он перевернул жизнь миллионов людей в огромной стране, его именем (и апеллируя к «леннаследию») 70 лет действовали «продолжатели дела». И если представлять Ленина фигурой супермасштаба (что делает наш докладчик), обращение к практике неизбежно. Тамаш этого и не избежал, вступив на – не скажу зыбкую, но – альтернативную «почву», где профессионализм, стремление быть объективным, избежать «презентизма» не гарантируют «единственной правильности» исследования. Потому что взгляд исследователя определяет позиция: есть хорошая альтернатива плохому капитализму, и это – Ленин.

Опыт «реконструкции», предпринятый Тамашем, оставил у меня несколько вопросов. Первый связан, если пользоваться термином Крауса, с нарративом террора. Докладчик как бы разводит Ленина и террор, оправдывая Владимира Ильича тем, что революционное насилие «выходит» из мировой войны. То есть фактически предлагает исходить из посылки: не Ленин был таким – жизнь такова. Если следовать этой логике, тогда правительственный террор начала XX в. прямо «выходит» из крайностей революционного

движения и из первой революции. Меры МВД, военно-полевые суды – следствие 1905 г., а Белое движение и белое насилие – реакция на Октябрьский переворот. История выстраивается как простейшая цепь причинно-следственных связей; при этом любой исследователь может «развернуть» ее в «пользу» своего героя в соответствии с собственными предпочтениями.

Потом, Ленин – революционер, преобразователь российского социального строя (и в этом смысле его действительная альтернатива). Это известно. Преобразовывать невозможно, не имея конечной цели и инструмента. Цель все-таки – социализм, не будем лукавить; Владимир Ильич ведь использовал этот термин для называния антикапиталистического общества, которое он проектировал. А инструмент преобразования – государство, поэтому оно (во всяком случае, на первом, т.е. ленинском, этапе) – разрушитель, монополист насилия. И Ленин, как его глава, – персонификатор террора. Он этого не скрывал (см. его работы); зачем нам теперь его «прикрывать», отрицая этот факт. Это не только неисторично – нелогично, умаляет заслуги. Ведь именно здесь Ленин победил: разрушил «в основном» старый строй, чтобы на его месте строить свой новый. А «окончательно» вопрос решали после него. Лениннейтраллизовал реальные и потенциальные силы сопротивления города (террором против интеллигенции, доминировавшей в политике, управлении, экономике, культуре), Сталин преобразовал/переломил – прежде всего насилием – деревню. В этом их преемственность – притом что Сталин, конечно, есть и отрицание Ленина. Такая диалектика. Если это затушевывать, тогда непонятно, чем вообще занимался Владимир Ильич, каков его исторический масштаб.

И наконец, уже при Ленине новая система обрела некоторые определяющие черты, качества альтернативности. Это действительно не капиталистическое общество: минимизированы частная собственность, «буржуазные» право и мораль, открыты шлюзы социальной мобильности (из самых «низов» – на самый «верх») – притом что социальных гарантий (даже минимальных) еще не создано. Но масштабные насыщения «почвенными» («простыми») людьми слоя социальных управляющих в России случались и до Ленина – вспомним петровскую революционную перестройку. Эволюционным образом «круг» социально влиятельных людей расширялся в пореформенный период – без смены социального

строя. Что же до остального, то если это и альтернатива, то очень временная: человеческая природа такова, что человеку хочется и частной собственности, и личных прав. На определенном этапе эволюции общества (переход от задач исключительно выживания к задачам развития) появляются условия для реализации этих естественных человеческих потребностей. Можно перекрыть эти возможности – законсервировать примитивную экономику, изолировать от внешнего мира и проч. Но наша же практика показала, что долго запретительные механизмы не работают.

Еще одна черта альтернативного порядка, создававшегося Лениным, – бесклассовость. Действительно, классы убрали, но иерархия осталась. Ее основой стала партия Ленина (причем уже при Ленине). Партийные функционеры заняли место (и места – в том числе жительства) старой иерархии. Плюс такой альтернативы – ее «почвенность». Но это же делало ее (начиная с ленинского времени) менее эффективной, чем прежняя (из-за недостатка или отсутствия образования, опыта, общей культуры, «соотнесенности» с миром). Отсюда – тяготение советских «элит» к простейшим, преимущественно экстенсивно-насильственным методам социального управления. Разрастаясь и все больше работая только на себя, иерархия постепенно «пожирала», обессмысливала социальные гарантии – в конце концов принесла систему в жертву собственному эгоизму.

Для меня не очевидны преимущества альтернативы, основы которой заложил Ленин. И Тамаш не помог мне их обнаружить. В реальном социализме (и ленинском тоже) было столько порочного, что его «плюсы» не стоили принесенных ради него жертв.

Мне кажется, я понимаю внутреннюю мотивацию Крауса. Его «Ленин» – это реакция современного «левого» на мир, который для него сводится к «плохому капитализму». Это, вообще, естественная реакция человека, пожившего в венгерском социализме: он ведь был мягче и человечнее «социализма» в СССР. Казалось, ослабить давление идеологии, дать чуть больше свободы – и с таким порядком вполне можно согласиться. Почему нет? С этой идеей я солидарна: следует улучшать, а не громить наличную действительность. Но Ленин-то ввел в социальную практику как раз огромный алгоритм, задал нашей социальности, и без того склонной к крайностям, порочный принцип преобразования: «или – или». Капитализм плох – даешь хороший социализм; для победы все сред-

ства хороши (за хороший социализм все «спишется»), кто не с нами, тот против нас. А разве не так же «сработали» на рубеже 1980–1990-х практики «хорошего капитализма»? Они оказались ленинцами по культурно-ментальному складу. Вот главное, мне кажется.

У нас оказался востребован погромный потенциал ленинского наследия, а не его аналитическая, критическая, интеллектуальная часть. Возможно, потому, что этот потенциал является в «наследии» Владимира Ильича главным – притягивают победный магнетизм, беспощадная последовательность стратегии и тактики, действует пропагандистский образ самого правильного («человечного») человека. Особенно востребован этот потенциал сейчас – как более всего понятная постсоветскому человеку реакция на плохую действительность. Чем она хуже, тем больше Сталина–Ленина.

Ю.И. ИГРИЦКИЙ

ЛЕНИН КАК ВОСПОМИНАНИЕ¹

Как это ни парадоксально, но в сегодняшней России, когда в спектре политических сил и идеологических предпочтений явственно заметны леворадикальные и леводержавные оттенки, Ленин, наверное, чувствовал бы себя неуютно. Не он, вождь российских большевиков и творец Октябрьского переворота, а его «верный ученик» Иосиф Сталин все чаще красуется на щите и знамени левого дела. Не на него, а на Сталина равняются противники капитализма и критики нынешнего режима в России. Не его, а Сталина хотят видеть у власти поборники «сильной руки». И даже сторонники режима с большим историческим почтением относятся не к нему, а к Стalinу. Грустно и унизительно для правоверных марксистов-ленинцев. Это ли не лучшее свидетельство того, что для Ленина и его идей остается все меньше места в политической жизни его родной страны? И, воскресни Ленин, обидней всего для него было бы то, что в народе помнят не его, а Сталина, а среди молодежи только узкий слой всяких-разных «кружковцев» интересуется его творческим наследием.

¹ Этот текст мы получили сразу после семинара в качестве реакции/отклика, поэтому печатаем вместе с его материалами.

Но понятным образом и память, и интерес сохраняются профессиональными историками. И сегодня, и через десять лет, и через столетие будут изучать историю России конца XIX – начала XX в., а в исторических текстах (и книжных, и электронных) читатели увидят знаковые имена: Ленин, Николай II, Распутин, Столыпин, Керенский и т.д. И сейчас, и потом будут востребованы оценки этих фигур, их исторической роли и значения, да и личностей тоже.

Оценки эти будут, скорее всего, разниться – как разнятся они сейчас. В мировой общественной мысли они разнились всегда. Если в СССР официально всегда был один Ленин – марксистско-ленинский, истпартийский, КПССный, то за рубежом по большому счету было по крайней мере два Ленина – коммунистический и некоммунистический, а в конечном счете – гораздо больше. Коммунистический Ленин имел два подвида – леворадикальный и умеренный, еврокоммунистический. И некоммунистический Ленин тоже делился на два подвида – социал-демократический и буржуазный. Ну и, конечно, все изучающие Ленина за рубежом могли иметь (и имели) свои личные точки зрения на этого политического деятеля и его дела. Это довольно грубое деление ленинианы (в действительности оно более дробное), но и из него явствует, что там, где допускается свободное выражение политических взглядов, единой точки зрения на отца-основателя революционизма XX в., вождя Октябрьской революции и создателя Советского государства быть не может.

Эмоционально-ценностное восприятие Ленина сглаживается со временем, но и сейчас в среде российской диаспоры за рубежом есть люди, воспринимающие (вслед за Буниным) этого человека как «бешеного и хитрого маньяка», а среди коммунистов – как «человечнейшего человека». Понятно, что он не был ни тем, ни другим – просто потому, что в этом случае он становится одномерным марксистским человеком, которому не место в политике. Между тем именно в политике (с позиций современности можно сказать: в реальной политике, в *Realpolitik*) он стал одной из самых крупных, если не сказать крупнейшей, фигурой XX в. Тут все надо учесть: и разрыв с идеологией и стратегией II Интернационала (к какой социальной группе мог бы успешно апеллировать в России собственный, доморощенный Бернштейн или Каутский?); и допущение того, что социальный взрыв планетарного масштаба может произойти в крестьянской стране, истощенной мировой войной (а до мировой

войны Ленин ничего подобного и не говорил); и ставку на социальную дезорганизацию и политический вакуум в России (а не на созревание парламентской, учредительной поддержки) как на благоприятствующие революции факторы; и готовность в ходе переговоров о Брестском мире с Германией отступить, отдать территорию в обмен на время, необходимое для консолидации власти (хотя обсуждение этого вопроса в партии чуть не вызвало ее раскола); и предложение концессионных сделок классовым врагам-капиталистам (и с ними можно и нужно договариваться к своей выгоде).

Это послужной список (далеко не полный) гибкого прагматичного политика, понимавшего, что на скамье оппозиционера можно просидеть до естественной кончины; революционер же должен не упустить ни одного шанса для взятия власти. Первая мировая война и внутрироссийский хаос дали ему наивыгоднейший шанс, которым он в полной мере воспользовался и без которого Красного Октября просто не было бы. Да, можно сказать еще проще: его не было бы без Ленина. Десяток троцких, сталинских, зиновьевых, каменевых не заменили бы одного Ильича. Мог бы состояться альянс правых и левых социалистов на Демократическом совещании, а позже – на Учредительном собрании, и страна пошла бы каким-то иным путем; тогда этого радикального, разрушительного (не кровавого, а именно разрушительного; в Феврале было больше жертв) события русской революции, именуемой Красным Октябрем, точно не было бы.

Гражданская кровь, «кровь былей» (Пастернак) начала обильно литься позже, когда Ленину и его соратникам было необходимо удержать власть. Гражданская война явилаась ключевым оселком проверки нравственного потенциала победившей партии и ее отношения к собственному народу. Важно, однако, понять, что готовность в борьбе за власть прибегнуть к решительно любым, в том числе кровавым, средствам, выработавшаяся в толще большевистской партии в ходе Гражданской войны, Ленину была присуща изначально. С какого именно момента? После казни брата? Во время первой русской революции? В годы конспирации и эмиграции? Летом 1917 г., когда он скрывался от полицейских агентов Временного правительства? Мнения могут быть разными. Но уже в начале января 1918 г. в споре с Марией Спиридоновой о том, морально ли будет разогнать Учредительное собрание, Ленин сказал

как отрубил: «Морали в политике нет, есть только целесообразность».

Целесообразность сохранения и укрепления власти партии, романтически называемая «революционной целесообразностью», проявлялась далее во множестве ленинских указаний: поощрять массовый террор, расстреливать без «идиотской волокиты» (т.е. без суда), «повесить (непременно повесить, дабы народ видел)» не меньше определенного числа классовых врагов, брать заложников, загородиться от врага живой изгородью из десяти тысяч буржуев, за которыми поставить пулеметы, ограбить церковь (назвав это изъятием ценностей), сжечь целый город (Баку), выдворить за границу или в ссылку элиту российской науки и т.д. И все это ради народа? Во имя диктатуры пролетариата? Этую мнимо классовую, властно-партийную логику развенчивают расправы над самим пролетариатом в 1918–1919 гг.: расстрел недовольных действиями советской власти трудящихся в Предуралье, на Урале, в Сибири и других местах, в том числе митинговавших рабочих в Астрахани (по С.П. Мельгунову, две тысячи жертв; может, меньше, может больше – сути не меняет); жесточайшее подавление Кронштадтского мятежа в 1921 г. Прав оказалось, стало быть, осмейанный разномастными историками Керенский, когда на первом Всероссийском съезде Советов назвал Ленина и его соратников «держимордами старого режима», для которых главные средства политической борьбы: арестовать, разгромить, убить. (Еще правее Наум Коржавин: «Все обойтись могло с течением времени, / В порядок мог втунуться русский быт... / Какая сука разбудила Ленина? / Кому мешало, что ребенок спит?»)

Конечно, белый террор был ненамного лучше красного, но классово близкие себе слои белые не репрессировали. Ленин шел на это, потому что рассчитывал как на твердую опору только на «сознательных рабочих (при этом понимал, что таких «передовых и сознательных» в России мало). «Остальная масса» против нас, заявлял он. Ее надо было учить и воспитывать политически, в том числе методом устрашения («пусть видят и трепещут», говорил он), прививать ей трудовую этику, поскольку русский человек – «плохой работник» в сравнении с трудящимися передовых капиталистических стран.

Испытывая почти паническую боязнь потери власти в неустойчивой военно-политической ситуации лета 1918 г. (ибо проиг-

рыш означал бы уход и полное забвение Ленина и его партии), руководство большевиков совершило еще более жуткое преступление, чем французские якобинцы, казнившие Людовика XVI и Марию-Антуанетту. Те были гильотинированы по решению Конвента путем голосования (праведное или неправедное это решение – другое дело). Николая II и его семью расстреляли без суда и следствия из-за угрозы захвата Екатеринбурга белочехами, а поскольку детей императора и судить-то было не за что, в прессе сообщили, что казнен один самодерjeц, а его семья перевезена в «надежное место». (В сентябре 1941 г. точно так же ввиду приближения войск вермахта были расстреляны политические узники орловской тюрьмы, включая Марию Спиридонову, боровшуюся вместе со своими соратниками, левыми эсерами, как и Ленин, против царизма. Этот акт – не вина Ленина, но следствие инициированного им порядка внесудебной ликвидации политических противников.)

Будучи в политике прагматиком и законченным циником, Ленин тем не менее оставался человеком идеи. Всепоглощающей и немеркнущей, способной адаптироваться к меняющимся условиям (наиболее яркие примеры – допущение возможности антикапиталистической революции в одной, притом не самой передовой стране; после победы революции переход от военного коммунизма к нэпу). Эта идея состояла из двух частей/задач: 1) совершить революцию; 2) заменить капиталистический общественный строй социалистическим. Для выполнения первой задачи было необходимо создать дисциплинированную партию – и Ленин ее создал; для выполнения второй – создать новое государство. Ленин создал и его. Тут ни убавить, ни прибавить, а споры могут носить только ценностный характер – хорошо это или плохо. По масштабам XX в. как деструктивная, так и креативная деятельность Ленина не знала равных.

Полагаю, однако, что было бы неверно считать Ленина создателем тоталитарного режима. Незачем было бы ему призывать к обучению кухаркиных детей искусству государственного управления, если цель государства – тоталитарный контроль над обществом; для этого хватило бы и ЧК. Ленин не зажимал, а поощрял внутрипартийные дискуссии, требуя одного – всей партии подчиняться принятым решениям. Впрочем, в этом он не был оригинален. Нет и не было такой политической организации, руководство которой поощряло бы фракционность. Критики в свой адрес Ленин

не боялся, можно сказать, он ждал ее, так как получал возможность лишний раз изложить свою точку зрения и «приложить» оппонентов. Когда в партийных инстанциях обсуждались меняющиеся условия мира с Германией на переговорах в Брест-Литовске, Ленин шесть раз (подсчитали историки) оставался в меньшинстве, однако все же продавил подписание мирного договора. Злопамятным, в отличие от своего «верного ученика», не был.

Но черты личности Ленина и стиль его руководства, вехи его побед и поражений (конечно, были и поражения – взять хотя бы его призывы к гражданской войне в период двоевластия весной-летом 1917 г., приведшие к его преследованию и поставившие всю работу партии под угрозу), – все это имеет самое отдаленное, самое минимальное отношение к современности. Те исторические условия и сложившаяся ситуация повториться сейчас не могут, и извлечь из них полезный опыт негде и некому. Тактическое наследие Ленина вряд ли дождется своей востребованности.

Тем интересней, обсуждая ленинскую тему, посмотреть, насколько актуально сейчас его *стратегическое, теоретическое наследие*.

Проф. Краус отмечает, что в ленинском труде «О развитии капитализма в России» «каждая страница против существующей общественной системы». Можно понять так, что против российского капитализма не только конца XIX в., но и начала XXI. И это верно. Но еще более верно то, что докладчик говорит далее: «Ленин ушел..., повторения прошлого не будет». Действительно, «продолжающаяся борьба» против Ленина – теперь это *modus operandi* небольших групп интеллектуалов. Когда во второй половине 1980-х годов часть советских коммунистов во главе с М.С. Горбачевым пыталась ради сохранения общественного строя реанимировать соображения Ленина о нэпе и будущем социалистического строительства, дискуссии об актуальности ленинизма (употребляю термин «ленинизм» очень условно – он годится для обозначения теории и практики революционной борьбы, но не государственного созидания) были действительно важны. Однако строй подремонтировать не удалось, и, как говорит Т. Краус, Ленин ушел вместе с ним. Тогда в чем сохраняющаяся актуальность ленинских теоретических работ и его соображений по поводу социалистического строительства в России?

Для того чтобы обнажать системные недостатки нынешнего социального порядка в России, Ленин не нужен. Они видны и без Ленина. После него и вплоть до настоящего времени сотни компетентных исследователей самой разной идеологической ориентации показывали (и показали) эти системные недостатки на примере развитых капиталистических стран и государств капиталистической периферии. Капитализма второй половины XX в. Ленин не предвидел – этот капитализм, вместо того чтобы породить пролетарскую революцию, похоронил все надежды на нее. Здесь главный стратегический просчет Ленина; он почумял недобродое, когда были подавлены революции и вооруженные восстания в Европе, но пересмотреть свою теорию революции не смог или не успел.

Для того чтобы понять, что социализм (как, впрочем, и капитализм, и любая другая общественная система) не вводится декретами, Ленин тоже не нужен. России в ее нынешнем состоянии никакой социализм не светит. Так называемый скандинавский социализм был бы предметом мечтаний, но он предельно далек и от ленинского теоретического наследия, и от нынешней российской действительности.

Для того чтобы обличить бюрократию, которую Ленин (как и Троцкий) смертельно ненавидел, он сейчас тоже не нужен. Другая страна, другой бюрократ (побрившийся с предпринимателем), а если что и общее, так это невозможность одолеть бюрократию. Ни с Лениным, ни без Ленина. Впрочем, это, как и практически безнадежная борьба с коррупцией, не вопрос теории.

Даже для того, чтобы разжечь революционный пожар в отсталых странах (о развитых речи нет), где больше горючего материала для социального протesta, Владимир Ильич не нужен. Скорее уж сгодился бы Ильич Рамирес Санчес, но только, чтобы бомбы бросать, а не вершить социальную революцию. В этом, может быть, и есть продолжение жизни Ленина – назовет какой-нибудь радикальный интеллигент в розовеющей Латинской Америке свое чадо «Ильич» или даже «Ленин» и возьмет это чадо в руки уже не «Государство и революцию», а взрывное устройство, чтобы пополнить ряды террористов, последователей народовольцев, эсеров, Камо Тер-Петросяна и Кобы. Только не он станет анафемой погрязшего в потребительском довольстве цивилизованного мира, а террорист этнонационалистического или конфессионального по-

кряя. Опять не по-Ленину. (Но в данном случае – и слава Богу, с Россией будет меньше негативных ассоциаций.)

Изменить такой ход вещей может только глобальная катастрофа, подобная той, которой явилась Первая мировая война и без которой не было бы русской революции, да и о Ленине знали бы только историки. Существование исторической науки остается главным залогом памяти о вожде большевиков. О нем будут писать и в будущем – и, вероятно, во все более спокойных тонах, как пишут сейчас о великих революционерах Запада.

ЗАКАТ РОССИИ?
(Семинар 8 ноября 2012 г., ИНИОН РАН)

И.И. Глебова (*ИНИОН РАН*): Уважаемые коллеги, сегодня у нас очередной семинар Центра россииеведения. Наш гость – Юрий Николаевич Афанасьев. Прежде чем он начнет свое выступление, несколько слов – скорее о докладе, чем о докладчике, – скажет Юрий Сергеевич Пивоваров.

 **Ю.С. Пивоваров** (*ИНИОН РАН*): Уважаемые коллеги! Хочется ведет семинар Ирина Игоревна <Глебова>, я попросил первое слово. Во-первых, хочу сказать: для ИНИОНа, для этого семинара и всех собравшихся коллег большая честь, что у нас выступает Ю.Н. Афанасьев. Все мы знаем: в конце 1980-х – начале 1990-х годов он был одним из самых ярких деятелей того исторического процесса, который одни считают демократической революцией, другие – драматической эпохой распада Советского Союза. Но люди разных лагерей и взглядов не могут отказать Юрию Николаевичу в том, что он сыграл выдающуюся роль в российской истории. Во-вторых, я хочу напомнить, что Ю.Н. Афанасьев был создателем РГГУ, который переживает сейчас нелегкие времена. Во многом он был воплощением надежд и представлений советской интеллигенции об университете, о высшем гуманитарном образовании. РГГУ – это «выражение» того расцвета, который российская гуманитарная наука пережила в 1990-е годы. И то, что фоном для него служили сложные, негативные, упадочные процессы в обществе, не отменяет факта этого подъема.

Но сегодня речь пойдет не об этом. Юрий Николаевич предложил для своего семинарского доклада абсолютно провоцирующее

название: «Закат России?» Это явный пародия работы О. Шпенглера «Закат Европы» – одной из самых важных книг XX столетия. Несмотря на пророчества этого блестящего ума, заката Европы, как мы знаем, не произошло. Может быть, мы услышим интонационно близкий, пророческий доклад о том, что будет с Россией. Юрий Николаевич! У вас есть время, спокойная, домашняя, интеллигентная обстановка. Потом будут вопросы, полемика. Прощу Вас.



Ю.Н. Афанасьев: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Я очень рад возможности встретиться с вами. Не скрою, в последнее время ситуация в стране складывается так, что очень хочется поделиться с кем-то своими мыслями. Они – не только о происходящем в России, но и о том, что происходит с самой Россией. Я благодарен Юрию Сергеевичу <Пивоварову> за приглашение выступить в ИНИОНе. Для меня это большая честь. Я подготовил большой текст, но потом решил не устраивать громкую читку. Предложу вам для обсуждения несколько тезисов.

Прежде всего о том, что касается предложенной мною темы. Всем, наверное, понятно, о чем содержательно пойдет речь. О социальном кризисе, разложении и прочем в современной России много писали, говорили и раньше, но почти никогда существование этих процессов не определяли таким образом: «закат России». Хотя я сам придумал эту «формулу», не очень ее люблю. От нее отдает, во-первых, какой-то банальной попсовостью; во-вторых, чем-то высоким, пафосным, почти метафизическим – такими словами говорят люди большой науки (здесь действительно неизбежны ассоциации с «Закатом Европы» Шпенглера). Однако избегали этой формулировки, по-моему, по другим причинам. Видно, до самого последнего времени эта тема не доходила в современной России до такой степени остроты, трагизма, если угодно. Хотя если взять историю России последних ста лет, то эта тема звучала в ней очень сильно, громко, емко. Посмотрите послереволюционные (особенно «белозимигрантские») публикации – там тема крушения, кризиса России звучала во весь голос.

И сейчас, в самые последние дни, о том, что происходит с Россией, все больше и больше говорят в категориях «заката». Эта интонация доминирует в публикациях, в официальных докладах; я уже не говорю о том, что делается в сетях. Даже в выступлениях

наших первых руководителей эта оценка звучит вовсю. Если вы внимательно прочитаете знаменитую статью «Россия, вперед!»¹, то обратите внимание не на перспективно-оптимистическую интонацию, не на тот выкрик, что стал ее заглавием. По существу, там написано, почему России деваться некуда, кроме как рваться вперед. Содержательно речь в статье идет о закате России. В конце концов это отношение ощущается даже в высказываниях В. Путина. Вот, например, его последнее обращение «к народу и миру» – о том, что мы непременно должны сделать рывок, равный по силе и мощи тому, который совершили в 1930–1940-е годы. Причем звучит этот призыв так: «Или мы его (этот рывок) сделаем, или...»². И за этим «или» совершенно отчетливо просматривается диагноз: закат (падение) России.

То есть я хочу сказать, что предложенная тема не надумана, не вымыслена, не вызвана какими-то личными настроениями и эмоциями. Она – из разряда реальностей. Таков, к примеру, вывод одного из самых серьезных исследований России последнего времени, которое стало очень известно по публикациям в сетях и т.д. Я имею в виду доклад группы ученых под руководством Михаила Дмитриева³, заключение которого я вам прочитаю: «Наиболее реалистичным становится сценарий национального вымирания, характеризующегося усилением синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов, доля которых быстро

¹ Речь идет о статье Д.А. Медведева, президента РФ в 2008–2012 гг., опубликованной на сайте kremlin.ru 10 сентября 2009 г. В статье, в частности, говорилось: «Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство, на границу, на какое-нибудь “всесильное учение”, на что угодно, на кого угодно, только не на себя? И есть ли у России, перегруженной такими ношами, собственное завтра?». – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/5413#sel=>

² Имеются в виду слова президента России В.В. Путина, сказанные 31 августа 2012 г. на заседании Совета безопасности РФ: «Нужно совершить такой же мощный комплексный прорыв в модернизации оборонных отраслей, как это было еще в 30-е годы прошлого века». – Режим доступа: <http://kremlin.ru/news/16328>

³ 24 октября 2012 г. Центр стратегических разработок опубликовал политический доклад «Изменения политических настроений россиян после президентских выборов». – Режим доступа: <http://www.csr.ru/2009-04-23-10-40-41/378-2012-10-23-14-37-20>

возрастет до критического уровня. Этот сценарий – национальная смерть русского народа. И это тот курс, по которому ведет страну нынешняя российская власть». Замечу: это последний из трех больших докладов недавнего времени, зондаж общественного мнения для которых проводился по всей России. Выводы сделаны на основе анализа огромного фактического материала; там приведено множество конкретных фактов, цифр, высказываний, статистики.

Именно в связи с этой темой я скажу несколько слов о протестном движении, которое так ярко вспыхнуло в декабре 2011 г. и сейчас, кажется, пошло на спад в количественном отношении. Оно и было ответом на социальное ощущение заката России. В докладе М. Дмитриева, который я цитировал, утверждается: количественный спад протестной активности в крупных городах России совсем не свидетельствует о том, что исчезли основания, причины, вызвавшие ее всплеск. Напротив, авторы доклада показывают, что эти основания усилились; теперь у населения гораздо больше причин для выражения протesta, чем год назад. Просто условия в разных городах России, кроме Москвы, такие, что люди боятся участвовать в уличных акциях. Или, имея основания протестовать, не считают нужным проявлять свое недовольство таким образом. Вообще, несмотря на то, что причины для протesta сохраняются, а само протестное движение как бы затухает, общественное настроение таково, что в стране вполне возможна революция, т.е. изменения по радикальному сценарию и в радикальных же формах.

Видимо, вполне естественно, что в этих условиях появились политические деятели, которые считают не только возможным, но даже и необходимым усиливать протестное движение и довести его до такой остроты и силы, чтобы оно могло свергнуть путинский режим. Таково намерение и руководителей протesta, и его участников, и «сочувствующих» (а таких немало). Эта идея – разворачивать, активизировать протест – ярко выражена, например, в словах Гарри Кимовича Каспарова: «Мы активно действуем в ходе предвыборной кампании, используем Интернет и создали новый орган – координационный совет оппозиции. Наша цель заключается в том, чтобы успокоить людей, которые, естественно, боятся перемен. Проблема в том, что при Путине никакие изменения невозможны. Как в Египте или Тунисе необходимо, чтобы от 200 тыс. человек до полумиллиона человек вышли бы на улицу. Только затем, после

организации настоящих выборов, мы сможем выбирать идеи и программы»¹.

Посмотрите, как формулируются цель и стратегия протестного движения одним из его лидеров: вывести на улицу массы (не менее 400 тыс.), добиться тем самым ухода Путина и только после этого выбирать идеи и программы. То есть сначала насильственным образом, под массовым напором добиться свержения режима, провести выборы парламента и президента, и только в ходе выборов рассуждать об идеях и программах. Сначала мы свергаем режим, а потом задумываемся: что делать в России после Путина?

Именно этой стратегии придерживаются многие протестные лидеры. Вот что, например, говорит один из них, Андрей Андreeвич Пионтковский: крах режима непременно повлечет серьезные риски для российской государственности, но его сохранение ведет не к росту рисков, а к неизбежной системной катастрофе². Приводя слова и критикуя Г. Каспарова и А. Пионтковского, я должен сказать, что это мои друзья, достойнейшие, по-моему, люди. Те идеи, которые они высказывают, вполне приемлемы, но как одна из позиций для научной, академической дискуссии. И именно потому, что в ходе обсуждения можно добиться преодоления этих идей – ведь с ними необязательно соглашаться, их можно опровергать.

К чему, по существу, призывают лидеры оппозиции? – «Идем на улицу! Давим на правительство! Добиваемся свержения режима! А потом задумаемся над идеями и программами – станем определять, как быть России без Путина!» В качестве призыва к действию эти идеи кажутся мне совершенно недопустимыми. Протестное движение так и не смогло выработать консолидированную

¹ См.: Каспаров Г.К. Кремль менее стабилен, чем раньше: Интервью // Le Figaro. – Р., 2012. – 2 nov. – Опубликовано на сайте Le Figaro 1 ноября 2012 г. – Режим доступа: <http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/11/01/10001-20121101ARTFI G00407-kasparov-le-kremlin-est-moins-stable-qu-auparavant.php> Выдержки из интервью. – Режим доступа: <http://www.inopressa.ru/article/02nov2012/lefigaro/kasparov.html>

² Статья А. Пионтковского «Проект переходного периода» была опубликована 30 ноября 2012 г. на сайте www.kasparov.ru. Точная цитата: «Переходный период должен стать ювелирной операцией по демонтажу криминального режима с одновременным сохранением символов преемственности российской государственности. Подобная трансформация неизбежно влечет серьезные риски. Необходимость ее диктуется, однако, тем обстоятельством, что пролонгация существующего режима ведет уже не к рискам, а к неизбежной системной катастрофе». – Режим доступа: <http://www.kasparov.ru/material.php?id=50B7463D72554>

программу и стратегию действий. Не случайно оно идет на убыль – на сегодня это факт. Однако при этом не только не уменьшились, а даже увеличились причины быть недовольными политикой властей (правящего слоя).

Здесь мы сталкиваемся с явным и критическим противоречием. Людей, имеющих основания протестовать, не стало меньше; для многих из них жизнь становится уже невозможной; вопрос о том, где находится Россия (в цивилизационном отношении, в большой исторической перспективе), вроде бы, понятен. Однако эти реалии, трансформируясь в лозунг политического действия: «Долой правительство! Путина – на нары! Капиталистов – в расход!», становятся проявлением инфантилизма и безответственности. Собственно, это первое, о чем я хотел бы сегодня сказать.

Почему политические идеи профессиональных оппозиционеров кажутся мне неприемлемыми, представляющими прямую опасность для будущего России? Потому что реализовать их будет совершенно невозможно, а затеять очередную мясорубку, пролить потоки крови в ходе реализации – возможно вполне. Риск в том, что оппозиция по существу создает у массы людей ложное впечатление: главная беда современной России, причина ее критического положения – Путин. Он – воплощение зла; освободимся от него – и станет лучше. В то же время доказывается: если выведем на улицы 200–400 тыс. человек, то свергнем Путина, «антинародный» режим. Протестное движение под такими лозунгами способствует нагнетанию тумана в сознании людей. Происходит помутнение массового сознания; оно подпадает под власть иллюзии.

До тех пор пока общественное сознание питается иллюзиями, пока нет понимания, в чем истинная причина бед России, о каком-то рациональном протесте, обдуманных стратегиях преобразования говорить нельзя. Конечно, вполне может быть, что протестное движение станет расширяться, распространится даже по всей России – просто под давлением внутренних обстоятельств, под тяжестью социальных проблем, из-за оскорбительной для граждан политики властей. Так уже много раз бывало в истории России. Это угроза очередного бунта – того праздника дикой воли, который Россияправляла в ритме «раз в столетие» на протяжении последних 300 лет.

Если это случится, никто не вспомнит ни о Каспарове, ни о Пионтковском, ни о только что избранном координационном комитете оппозиции. Бунту нужны будут совсем другие вожди, герои,

участники. Я не предрекаю будущее, но говорю о возможных его сценариях. Правда, мне кажется, что состояние российского общества – его расколотость по многим граням, энтропия и проч. – не позволит разыграться очередному такому «празднику». Скорее всего, «закат» России усилится; сумерки сгустятся, наступит мрак. Притом что это более реальный сценарий, нельзя, конечно, исключать и самый катастрофический.

Теперь о главной беде современной России, главной причине ее нынешнего положения. (Это необходимо сформулировать, чтобы понять, в чем же подлинная цель, которую надо иметь в виду.) Мне кажется, Россия не развивается по «восходящей» прежде всего потому, что подавляющее большинство населения отрешено от свободного доступа к ресурсам (недрам, земле, основным фондам, финансам) и тем видам деятельности, которые формируются в ходе освоения этих ресурсов (производство, торговля, транспорт, образование и т.д.). Кроме того, отсутствуют те правила и нормы, по которым осуществляются эти виды деятельности, т.е. нет долговременных, укоренившихся, направляющих социальную практику институтов: собственности, прав личности, даже морали и нравственности и проч. Тут возникает вопрос: мы говорим о последнем времени, а бывали ли когда-нибудь в нашей стране другие времена? И ответ на него неутешителен: других времен, по-моему, не было. Население России не только никогда не имело свободного доступа к ресурсам и основным видам деятельности по освоению этих ресурсов; не видно даже исторического движения в этом направлении.

Теперь – к вопросу о том, почему и как этот «порок» (или специфическая черта) российского развития так обнажился именно сейчас, в постсоветской России. Причины отрешения населения от доступа к национальным ресурсам актуализировались и, так сказать, обновились после распада Советского Союза и в ельцинский период в связи с проведением приватизации – сначала в «ваучерной» форме, потом в виде залоговых аукционов. Это продолжительное «действие» – его не назовешь реформой или совокупностью реформ – обнажило факт отсутствия свободного, основанного на конкуренции доступа населения к ресурсам. В советское время его тоже не было – доступ анонимно монополизировали власть, государство. Теперь же произошла персонификация отрешенности, в силу чего отсутствие свободы доступа к ресурсам стало очевидно всем. Часть ресурсов персонифицировали – закрепили за конкрет-

ными людьми, отдали им в собственность. Какая-то часть оказалась распределена прямо пофамильно. У нас, в нашей «вчера» еще «социалистической» стране, вдруг поняли, что и недра земли, и финансы, и образование, и информация, и т.д. могут находиться в частной собственности, закрепляться за такими-то и такими-то людьми, которые совсем недавно ничем не владели.

Действо в форме приватизации было нацелено (и охватило) в основном на «вещную», материальную составляющую – на предприятия, заводы, фабрики, рудники и т.д. И потом вся эта приватизированная «матчасть» не вполне осознанно стала восприниматься людьми как награбленное. Поэтому и получается, что главные беда и боль сегодняшней России «выражаются» в вопросе, важном для миллионов: как быть с награбленным? Свержение путинского режима и понимается как возможность приступить к решению этой проблемы. Предлагаются разные варианты. Некоторые (в том числе умные, уважаемые люди) говорят, например, о национализации – причем даже не ресурсов, а «недр». Другие (скажем, И.В. Пономарёв, С.С. Удальцов) предлагают отобрать «награбленное» у «держателей» и поделить на всех. Есть еще более радикальные варианты: вообще ликвидировать буржуев и капиталистов. И т.п. Но вот как это сделать, каким образом реализовать предложения, изменив к лучшему жизнь всего «народонаселения», не знает никто.

Здесь, правда, возникают простые, вполне конкретные вопросы: у кого надлежит отобрать награбленное? Что это за люди? Сколько их? Ответы есть – и тоже очень конкретные. Существуют даже пофамильные списки тех, у которых надо отобрать награбленное. В известной публикации «Политбюро-2»¹ названы даже не сами персоны-«владельцы», а «кусты» этих персон. То есть речь идет о неких объединениях, холдингах в оборонной, агропромышленной, военной, прокурорской и других сферах, владеющих недрами, ресурсами, контролирующих финансовые, информационные потоки и т.д. Над каждым из таких «кустов» стоит фамилия: С.В. Чемизов, А.Б. Миллер, А.Э. Сердюков и т.д. – всего 86 персон, какая-то тысяча семей. Дескать, если встанет вопрос о том, кого

¹ Речь идет о докладе группы политологов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», опубликованном в августе 2012 г. Полный текст доклада доступен на сайте – <http://www.minchenko.ru/>

ликвидировать и у кого отнять, – вот они, самая верхушка. Достаточно убрать их, а с остальными будет попроще.

Вроде бы задача решается. Но беда целой страны и многих поколений ее граждан не может быть сведена до нескольких персон. Мы имеем дело с итогами приватизации, осуществленной при Б.Н. Ельцине Е.Т. Гайдаром, А.Б. Чубайсом, А.Н. Шохиным, А.А. Нечаевым и др. Приватационное «действие» охватило массы людей: собственниками – даже не квартир, а предприятий, рудников, банков и т.д. – стали миллионы.

Надо понимать, что «действие» первой половины 1990-х годов – вовсе не начало, а продолжение процесса «переоформления» тотального отрещения населения России от свободного доступа к ресурсам. Вспомните серию реформ конца 1980-х годов (о кооперации, трудовых коллективах, акционировании и т.д.). Тогда еще был полный социализм, власть принадлежала КПСС, а реформы (кооперирование, акционирование и проч.) осуществлялись на основании постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Именно тогда произошло самое главное. Ведь на основе этих постановлений осуществлялось финансирование из госбюджета. И вот на всех предприятиях, заводах и проч. деньги – бюджетные и частные (или кооперативные) – слились в одной «емкости». Причем они были не равны по частям, а разбавлены в соотношении «один рыбчик – один конь»¹. Основу составили бюджетные деньги, но решения об их расходовании принимались в обход государственных законов на основе правил и норм, установленных в данном коллективе, кооперативе и т.д. Тогда эти государственные, бюджетные средства начали вовсю расходовать не на основные фонды, а на оплату труда. А это понятие очень зыбкое; тут как решил директор или администрация, так и платили.

То есть новый этап отчуждения населения от доступа к ресурсам (переоформления «схем», технологий и т.д.) начался в по-

¹ В дореволюционной России одним из самых популярных ресторанных блюд были котлеты из рыбчика (это обыгрывал Маяковский: «ешь ананасы, рыбчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй!»). Ресторанная история получила продолжение во времена создания советского нарпита – как шутка/аллюзия, воспоминание об ушедшем. На вопрос: «Как вы умудряетесь в рабочих столовых кормить рыбчиками?», их сотрудники отвечали: «Мы добавляем конину – в соотношении один рыбчик, один конь». Интересно, что в современной русской речи такая «фигура» – уже анахронизм; она нуждается в разъяснении.

следние советские времена. Ельцин с Чубайсом и Гайдаром – это уже очередной этап, дальнейшее заглубление «действия». Путин же оформил процесс квазиориридическим, квазиправовым образом. Оказалось, что отрешение населения России от ресурсов осуществлено законным путем, на основе права (понятно, что все надо поставить в кавычки).

Что в результате? На глазах у всей России было проведено неправовое, криминальное по существу и всеобщее действие. Тем самым показано, что действовать неправовым образом в стране можно безнаказанно и в любых масштабах. С конца 1980-х годов и по сегодняшний день криминализация российского социума стала всеобщим явлением, охватив практически все активное российское население. Поэтому, когда говорят: «А давайте покумекаем, как быть с награбленным», – это обман, нечто невообразимое. Нельзя волюнтаристски составить списки тех, у кого следует отобрать награбленное, – к грабежу так или иначе оказались причастны все; различие в масштабе.

Теперь – о намерении, существующем не только у оппозиции, но в самых разных слоях населения: «Мы отберем награбленное!» Кто это мы? И как эти «мы» будут отбирать? Иногда предлагаю изымать «справедливо, по суду». Но только начни процедуру «изъятия», и сразу обнаружится, что судов-то у нас нет. Таких судов, которые могли бы по существу вникнуть в проблемы, возникшие в связи с приватизацией или в результате кооперирования конца 1980-х годов. А ведь тогда в «кооперацию» вошли все работники министерств и ведомств Советского Союза. И участвовали в распределении того общака, который создавался из бюджетных денег. Как возможно справедливо и мирно решить все эти вопросы, правовым образом «отбирать награбленное»?

Политическая оппозиция говорит о свержении режима. Но ведь режим включает в себя всю пирамиду – совокупность государственных организаций: административных, силовых, внешне-политических и т.д. Как возможно, свергнув режим, сохранить государство? Значит, речь идет о сознательном разрушении государственности в том виде, в каком она сформировалась за ельцинско-путинское время. И что дальше будет?

Таковы мои соображения о том, как формулируется сегодня стратегия протестного движения и почему, с моей точки зрения, ее

осуществление связано для страны с угрозой самоубийства. Как вы понимаете, я всего-навсего коснулся этой проблемы.

В заключение затрону еще один вопрос. Д.А. Медведев не так давно произнес знаменательные слова про Сталина, про преступность сталинской власти. Дословно: война власти со своим народом – это преступление¹. Я вполне разделяю эту позицию, но как «испорченный» историк хочу встрять с вопросом: только ли при Сталине власть вела войну с народом? Мой ответ: в России так было всегда. Борьба власти со своим народом – это самая устойчивая традиция российской истории. Более того, Россия как страна, как общество, как цивилизация создавалась на основе этой доминанты.

Я думаю, происходящее в последнее время, т.е. квазиоридическое оформление при Путине отрешенности населения от доступа к ресурсам, – финал войны нашей власти с народом. Мы дожили до такого момента, когда народ России стал не только ненужным власти, но и вредным для нее. Комплект законов, принятых в последнее время, нацелен на то, чтобы «устаканить» население в этот заказник, где его можно будет по возможности «сберегать». Известное выражение А.И. Солженицына: «Главная задача – это сбережение народа», – обернулось такой метаморфозой.

И.И. Глебова: Спасибо, Юрий Николаевич! Очень оптимистично! Коллеги, вопросы?

• **К. Роуз (ИНИОН РАН):** Юрий Николаевич, Ваш доклад касается главным образом вопросов политэкономии России последних двадцати пяти лет. Это очень интересно и, конечно, напрямую связано с тем, что происходит сегодня. Но все же, как мне кажется, дискурс заката – будь то закат России, Европы или чего-либо еще – располагается в иной плоскости. Он больше связан с социально-философскими, цивилизационными категориями. Скажите, пожалуйста, обусловлены ли те политэкономические аспекты сегодняшней ситуации, о которых Вы говорили, цивилизационными предпосылками?

¹ Во время рабочей поездки в Пермский край в октябре 2012 г. Д.А. Медведев сказал: «Это должно остаться в анналах нашей истории, чтобы никогда этого не повторилось. Потому что война со своим народом – это тягчайшее преступление». – Режим доступа: <http://ria.ru/politics/20121030/908003376.html#ixzz2JYNNh3aS>



Ю.Н. Афанасьев: Мне кажется, Вы несколько ограничительно истолковали мой доклад. Он касался и философских, и политологических, и других проблем, в том числе, конечно, и политэкономических. Но ведь и современную российскую реальность очень трудно расчленить – предметно-тематически, по отраслевому принципу и т.п. Это комплексный, целостный объект анализа, включающий природные, географические, экономические, социальные, духовные и т.д. явления и факторы.

Мне представляется, что интегральным показателем *именно заката* России является демография. Многие демографы констатируют, что у нас самая высокая смертность мужчин, причем в самом активном возрасте – от 30 до 50 лет. Средняя же продолжительность жизни наших мужчин – 62 года. Россия занимает одно из последних мест в мире по естественному приросту населения. То есть речь идет и об абсолютном сокращении численности населения. Это трагический контекст и определяющий фактор нашей сегодняшней истории. Выделить какие-то другие интегральные социальные характеристики мне трудно.

• **Ю.С. Пивоваров:** Я думаю, всех заинтриговал Ваш доклад.

Все это очень интересно, но вот проблема: Вы указали на отчуждение населения от ресурсов как на норму российской истории. То есть недоступность ресурсов для населения – такая же неизменная характеристика российской социальности, как, например, климат в Сахаре. Тогда о чем могут говорить ученые, общественные деятели? Отчуждение не устраниТЬ, не исправить – это данность, историческая константа. Вы оцениваете отчуждение отрицательно – значит у нас плохая норма, только и всего. От нее никуда не уйти, не деться. Согласны ли Вы?

И второй вопрос. Вы сказали, что на всем протяжении нашей истории (даже в догосударственный период) власть эксплуатировала народ. Получается, это тоже русская норма. Но если так было всегда, – значит и нормально. О чём и в этом случае речь? Выскочить из этого невозможно, никогда не удавалось. В нашей частной беседе две недели назад Вы произнесли ключевое в этом отношении слово – в России не было развития.



Ю.Н. Афанасьев: Да, говорил.

?

Ю.С. Пивоваров: Видимо, в этом причина наших бед – и тогда надо ответить на вопрос: почему? Ответы на такие вопросы ищутся не на митингах, а в таких вот научных аудиториях. Мы, исследователи, научные работники, должны сказать, как складывается эта норма и почему ничего у нас не меняется; знаем ли мы еще такие культурно-исторические (цивилизационные) типы, которые сопротивляются изменениям. Мы не можем завершить анализ российской социальности констатацией – таковы наши нормы, и их отрицательной оценкой. Даже если все с этим согласны. Вот такие наивные вопросы у меня к Вашему докладу.



Ю.Н. Афанасьев: Нет, вопросы Ваши совсем не наивные – напротив, я считаю их самыми сущностными. Действительно, именно в этих вопросах все дело. Убежден, что главная отличительная черта русской (или российской) цивилизации в том, что это цивилизация без развития, без принципиальной возможности развития. Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.

Дело в том, что Россия – не единственная страна в мире, большинство населения которой не имеет свободного доступа к ресурсам. Такие страны как раз преобладают. И, напротив, стран, где такой доступ существует, по мнению разных ученых, всего ничего – около 25. На отрезке от «совсем ничего» до «обладания» страны располагаются как бы в разных временных точках.

Специфика России в том, что здесь не развивалось общество. Кстати, не надо путать развитие с изменениями. Изменения у нас бывали – разные, в том числе и большие, вплоть до неузнаваемости. Московское царство, например, очень отличалось от послепетровской императорской России. А она, в свою очередь, мало походила на Россию советскую. Постсоветская же страна совсем не равна СССР.

Однако различия эпох еще не свидетельствуют о развитии. Под развитием я понимаю становление, утверждение и господство институционального начала, когда «правят бал» даже не долговременные организации, а институты. Они охватывают (поглощают) всю сферу экономического, политического, правового, ментального и т.д. Так, мне кажется, Россия никогда не развивалась.

И.И. Глебова: Есть ли еще вопросы, коллеги?

• **Ю.И. Игрицкий (ИНИОН РАН):** У меня вопрос, который, по-моему, напрашивается сам собой: не могли бы Вы провести сопоставление с Украиной?

 **Ю.Н. Афанасьев:** Могу, по крайней мере, попытаться. Я считаю, что с Украиной у России очень много общего: язык, пространство, когда-то одна династия. Сейчас, однако, это две разные страны. Принципиальное различие обусловлено, на мой взгляд, тем, что иногда называют культурным кодом, или матрицей, или парадигмой. Должен оговориться: хотя я часто употребляю эти понятия, они мне мало нравятся. Мы заимствуем их из других наук (не гуманитарных, не социальных) и, употребляя в отношении культур, цивилизаций, стран, подразумеваем наличие в них чего-то неизмененного, едва ли не фатального, генетически обусловленного.

Мне кажется, принципиальное отличие русской культуры от других (христианских прежде всего) культур заключается в ее «двоичном» характере. Культуры стран Западной Европы имеют «троичную» основу. Если воспользоваться культурологическими понятиями, то имеется в виду полярная бинарность оппозиций в культурной программе. Можно сказать и по-другому: в одной культуре имеются две противоположно заряженные программы, которые при столкновении друг с другом начинают «выяснять отношения», уничтожая одна другую. Если в «троичной матрице» из столкновения бинарных оппозиций рождается третья сущность, принципиально иное качество, то в русской «парадигме» противоборство двух начал приводит к их взаимному уничтожению.

Именно в этом смысле Украина и Россия, как культуры и цивилизации, имеют историческую развилику. В догосударственные времена в культуре и социальной практике восточнославянских племен (и не только восточнославянских) присутствовали и авторитарное, и вечевое начала, которые между собой противоборствовали. Но торжествовали не всегда вечевое и не всегда авторитарное начала. Так, например, было в киевский период, потому что кроме этих двух начал – авторитарного в виде князя и вечевого – в социальной жизни присутствовали дружины, церковь, города.

Только с XII в., а именно с Андрея Боголюбского, стал заметен перевес (но еще не торжество) авторитарного начала в ущерб вечевому. Тогда всерьез началась колонизация территорий, засе-

ленных угрофинскими племенами, – и именно на основе авторитарного начала. Дальше, во времена Александра Невского, оно расширяется, усиливается, почти абсолютизируется, все больше тяготея к самодержавному варианту. Апогей же самодержавно-авторитарного порядка, торжество «двоичной» культуры приходится на ордынский период. А Россия по своей социокультурной сущности есть наследница и продолжение Орды.

У Украины – другая судьба. Украинские земли были частично под Ордой, большей частью – под Литвой, Польшей. Во многом из-за этого – западного – влияния там возобладала «троичная» культура (в большей мере в южных областях, особенно в Галицкой Украине). Теперь эту разницу цивилизационных начал довольно трудно нашупать в действующих институтах, обнаружить в социальной и политической жизни. Вроде бы ситуация на Украине – почти копия нашей. Однако очевидно, что выборы там остаются реальностью, политические партии – не манекены, и смена власти действительно происходит.

?

Ф.Г. Тараторкин (*Историко-архивный институт РГГУ*):

Юрий Николаевич, Юрий Сергеевич <Пивоваров> назвал свои вопросы к Вашему докладу наивными. Я же позволю себе задать Вам несколько хулиганский вопрос. Но продиктован он исключительно особыми, если так можно выразиться, шпенглеровскими интонацией и логикой Вашего доклада. Сначала Вы говорили о закате России как о явлении сегодняшнего дня, затем, уже в ходе обсуждения, уточнили свою позицию: Вы утверждаете, что это затяжной, так сказать, хронический закат. Скажите, пожалуйста, когда же, на Ваш взгляд, русское солнце было в зените?

 **Ю.Н. Афанасьев:** Тут я как бы иду вслед за Юрием Сергеевичем <Пивоваровым>. Я слушал Ваши лекции в «Академии»¹ и слушал с удовольствием. Мне кажется, Вы очень многих смогли убедить, что «зенит» России пришелся на вторую половину XIX – начало XX в. Трудно с этим спорить, но я все же попробую – как совсем уж испорченный, неисправимый историк.

¹ Речь идет о цикле лекций Ю.С. Пивоварова, посвященном ХХ в. и прочитанном в 2012 г. в программе «Академия» на телеканале «Россия–Культура».

С точки зрения такого историка, XIX в. нельзя рассматривать сам по себе, изолированно; его необходимо поместить во временной контекст. Только в категориях «большого» времени можно определить, какое место занимает та или иная страна на временной экспоненте. Только так мы можем понять, является ли «время России» линейно-восходящим, т.е. развивается ли она с нарастанием, или по какой-то замысловатой спирали, или мы имеем дело с постоянным чередованием непрерывности и дискретности, т.е. с циклическим развитием. Только на основе сравнения типов исторической динамики можно сделать вывод относительно того, когда Россия была «в зените».

Предположим, вслед за Юрием Сергеевичем я говорю: своих высот мы достигли в последней трети XIX – начале XX в. Но, имея в виду темпоральную перспективу, тут же задаю вопрос: а что последовало за столь обнадеживающим, будящим гордость за Россию XIX в.? Мы все знаем ответ: XX – самое трагичное, кровавое, преступное столетие в нашей истории; по существу, финал всей исторической динамики России. Как же это возможно?

Вы, Юрий Сергеевич, называете одним из показателей того мощного движения по восходящей великую русскую литературу. XIX – золотой век русской литературы. Я с этим вполне согласен; думаю, мало что есть более величественного в истории России, чем ее литература. Но вот вопрос: а о чём вся эта великая русская литература – и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский, и Гоголь? Да и потом – Платонов, Булгаков, Зощенко, Ахматова и др. О чём все эти «мертвые души», «свиньи рыла», герои Чехова? О том, что русский человек ущербен, русские люди не способны нормально жить. А Россия-то вроде бы в зените.

Ну, хорошо, это литература. Обратимся к социальной жизни. Великое царствование Александра II Освободителя – реформы, причем какие реформы! Создается все то, к чему так долго шла европейская цивилизация. Вроде бы зарождаются те самые институты, институциональные нормы, которые являются гарантией доступа всех людей к ресурсам на основе принципов конкуренции, свободы и т.д. И где все это?

Теперь нашли убедительный ответ: война, революция, большевики – вот что ввергло Россию в пучину падения и уничтожения. Классический пример такого подхода – А.Б. Зубов (я думаю, многие из вас его знают). Все было хорошо, правильно, но война и

большевики-сволочи сорвали Россию с пути – многие так считают. Но ведь большевизм имеет глубочайшие русские корни. Он – из той России, которую «мы потеряли». Революция 1917 г. – глубоко обоснованное, «корневое» явление русской истории, грандиозный процесс – в смысле его влияния на дальнейшее развитие России. Революция последовала за благополучным XIX в., когда солнце России было в зените. Я спрашиваю: как это возможно?

Была ли революция ответом на XIX в. или здесь «работали» какие-то иные связи, вызовы, остается вопросом. Но все-таки надо осторожнее говорить о высотах, об общественно-культурных, цивилизационных достижениях XIX в. Революция их не обесценивает, но проблематизирует.

! **Ю.С. Пивоваров:** Заметьте, Юрий Николаевич, и в Германии после гениального XIX в. произошло нечто подобное: пришли мясники и тоже «порубили» и свой, и другие народы. Значит, не только мы дали самоубийственный «ответ» на тот социальный, культурный взлет, который был на рубеже XIX–XX вв. Надлом произошел во всей Европе. Почему? – Вот проблема.

? **В.В. Лапкин (ИМЭМО РАН):** Мой вопрос слегка провокационный – вполне в духе предыдущих. В своем совершенно замечательном докладе Вы как бы оставили за рамками проблемы мирового развития. Вопрос в том, насколько это сознательно и какова цель такой изоляции России? Можно ли вообще рассуждать о России, игнорируя внешнее влияние, европейские и другие обстоятельства?

Едва мы помещаем Россию в глобальный контекст, как появляются ответы на многие вопросы, в том числе: почему замечательный «рассвет» так быстро обернулся мрачным XX столетием. При таком ракурсе видно, что Россия до конца XIX в., т.е. до момента перелома, чрезвычайно эффективно осваивала незанятые другими государствами земли. К концу века она дошла до предела – и начались большие проблемы. Возможно, это и есть объяснение «падения».

 **Ю.Н. Афанасьев:** Конечно же, я не специально опустил эту тему. Понятно, что, исключая мировой контекст, любой исследователь получает искаженную картину. Но в рамках доклада

те или иные ограничения необходимы – просто из-за нехватки времени. Теперь о Вашем комментарии. Действительно, именно к XIX в. Россия достигла пределов своего территориального роста – дойдя до Тихого океана, до предельных рубежей на юге. Проблемы страны, конечно, отчасти обусловлены тем, что она не могла «переварить» уже приобретенное и постоянно стремилась к дальнейшим захватам. Едва ли не все русские историки писали, что Россия жила, употребляя свои внутренние силы и энергию на внешнее завоевание и оборону завоеванных рубежей; сил на освоение пространства уже не хватало. Этим Россия в конце концов и надорвалась. Вполне с Вами согласен.

• **С.В. Беспалов (ИИИОН РАН):** Юрий Николаевич, у меня к Вам сразу несколько вопросов. Первый. Ключевой проблемой России Вы назвали отчуждение народа от основных ресурсов, к которым отнесли не только недра и землю, но и производство, транспорт и т.д. То есть речь идет и о ресурсах, доставшихся нам от советских времен, и об основных видах деятельности, которые неизбежно должны строиться на основе доступа к этим ресурсам. Но пока мы вот уже 20 лет после распада СССР говорим о сценариях передела этой «материальной базы», в других странах она обновилась уже более чем наполовину. Не кажется ли Вам, что бесконечные разговоры о доступе все к тем же самым ресурсам – это обсуждение сценариев деградации («заката»), а не возможностей перехода к развитию?

И второй вопрос. Вы совершенно справедливо напомнили нам о том, как проводилась приватизация. Ни один порядочный человек не скажет, что она была честной, эффективной и т.д. Однако понятно, что в продолжении таких разговоров и соответственно в поддержании на низком уровне легитимности частной собственности более всего заинтересована именно существующая власть. Это позволяет ей сохранять полуфеодальную структуру и условный характер собственности, строить чиновниче-предпринимательские кланы с ключевой ролью чиновника, о которых Вы тоже говорили. Не стоит ли попытаться закрыть эту тему – понятно ведь, что пересмотреть итоги приватизации мы уже не сможем. Так, может быть, попробовать снять сам вопрос?



Ю.С. Пивоваров: Как большевики сняли когда-то вопрос о земле, не решив его?



Ю.Н. Афанасьев: Да, это логично: раз невозможно ничего перерешить, тогда почему бы не закрыть вопрос? Чего его действительно мусолить-то? Продолжая такие разговоры, ты невольно становишься подпевалой того или иного клана, который именно этого и добивается. Вот, сегодняшний конфликт ВР и «Роснефти» – чем не проблема? Есть противоречие, идет острая борьба – все влиятельные кланы разделились: кто-то за объединение, кто-то – на стороне ВР, кто-то – «Роснефти». И получается: когда я затеваю этот разговор, то вольно или невольно занимаю определенную позицию в этих «войнах» – либо за кого-то в ВР, либо за кого-то в «Роснефти». И т.д.

На самом же деле речь совсем о другом. Не о том, чтобы перераспределить все наследие вплоть до царских времен. Вопрос в том, как в наших условиях перейти к нормам человеческого общества, каким образом задействовать институты. Как наладить работу этих институтов – ведь для этого необходимо преодолеть колossalные трудности, решить почти неразрешимые проблемы. Я, например, не знаю, что необходимо сейчас делать.

Это по второму вопросу. А первый я попросил бы Вас уточнить.



С.С. Беспалов: Мы уже 20 лет говорим о том, что делать с тем массивом собственности, который остался от царей, от СССР, вместо того чтобы создавать что-то новое. Может быть, пора остановиться?



Ю.Н. Афанасьев: Да, Ваша позиция понятна. Вы опять произнесли слово «собственность». А я упорно повторяю, что ресурсы и собственность – принципиально не одно и тоже. Речь идет о том, как устроить, утвердить это понятие (или категорию) – собственность. У нас ее нет. Все строится на отношениях «principal – agent»: кто временный собственник, тот и решает, кому, что, на какое время и на каких условиях давать. Потом «патрон» запросто может все перерешить. И так живет вся страна.

Фактически у нас нет собственников – есть клиенты. Точнее, эта клиентела имеет в русских историях и языке не очень приятное

определение: холопы. Холопами являются все без исключения – в том числе олигархи. Все эти Абрамовичи и проч. – не собственники. В этом-то и дело. Но институт собственности не учреждается одним декретом, в один день. Тут нужна система мер, определенная очередность, последовательность, упорство. И люди, желающие проявить какую-то активность, чего-то добившиеся в жизни. Они должны иметь представление о «дорожной карте» – не только о своей личной, но и о той, которая определит путь всей России.

? **В.П. Булдаков (ИРИ РАН):** Из Вашего доклада я понял: все, о чем Вы говорили, мы уже проходили. Было у нас время, которое определял лозунг экспроприации и экспроприаторов: «Грабь награбленное!». В связи с этим – вопрос о наших днях, о нашей внесистемной оппозиции. Осознают ли ее лидеры, скажем, такую простую вещь: революции в европейском смысле слова в России не было. То, что мы называем революцией, по существу является смутой. Она следовала за крахом государственности; государственность же рушилась потому, что оказывалась выеденной изнутри. Кем – это другой вопрос: бюрократами, коррупционерами. Так или иначе, те, кого мы называем виновниками революции, по сути дела приходили на готовое.

Потом, думают ли нынешние оппозиционеры о том, в каком процессе в 1990-е годы многие из них участвовали? Тогда было хорошее словечко – «прихватизаторы». Мы имеем дело с генерацией целого класса «прихватизаторов», каждый из которых что-то прихватил. Когда государственность, выросшая из этой основы, рухнет, их как ветром сдует – и концов не найдешь. По моим представлениям, они давно уже сидят на чемоданах. Доходят эти простые вещи или нет до нынешней внесистемной оппозиции?

! **Ю.Н. Афанасьев:** Во-первых, извините, что сразу Вас не узнал. И разрешите выразить Вам свое почтение. Но в Вашем выступлении вопроса не усмотрел. В чем вопрос?

? **В.П. Булдаков:** Вы начали с характеристики внесистемной оппозиции. О чём думают ее деятели, учитывают ли те моменты, о которых Вы говорили?



Ю.Н. Афанасьев: Прежде всего, я никогда не был и не

числил себя в составе внесистемной оппозиции. Поэтому то, что я скажу, – не отчет, а мнение наблюдателя. Я пришел к ним однажды, на самый первый «круглый стол» 12 декабря 2011 г. Получил приглашение – и пришел. Начал примерно с того, что хотел не поработать за «круглым столом», а выразить свою позицию. Нельзя говорить о противостоянии или диалоге с властью, если вы не решили, чем полагаете эту власть, на что рассчитываете, каковы ваши планы. Но, к сожалению, у меня не очень получилось: времени мне дали полторы минуты, даже свое «фэ» я толком высказать не успел.

Что же касается того, о чем они думают... Мне доводилось несколько раз разговаривать с кем-то из них. Когда в самом начале семинара я сказал, что это мои друзья, – не оговорился. Это было сказано не для приличия; я действительно считаю их достойнейшими людьми. Но в тех мыслях, которые они превращают в политические лозунги и действия, ничего программного, стратегического я не откопал. Идти на такое большое дело – преобразование системы – с тощим, нищим багажом нельзя ни в коем случае. Это не просто безответственно – это смертельно опасно.

И.И. Глебова: Предлагаю закончить с вопросами. Может быть, кто-то хочет выступить, отреагировать на доклад Юрия Николаевича?



Ю.С. Пивоваров: Позвольте, Юрий Николаевич, сказать, что Ваш доклад был чрезвычайно интересен для меня. Поэтому я хотел бы его прокомментировать. Сначала о том общественном явлении, которое принято называть внесистемной оппозицией. Вот, Владимир Прохорович <Булдаков> несколько пренебрежительно говорил об этих людях. Но ведь понятно, что они внесистемны потому, что система не принимает оппозицию. Любая оппозиция в сегодняшней России, к сожалению, обречена быть внесистемной. Как и Юрий Николаевич, я был на встрече 12 декабря 2011 г. и тоже от нее не в восторге. Меня, например, покоробило, как роскошно собирались оппозиционеры – в гостинице «Мариотт», а не в каком-то деревенском клубе. Однако справедливости ради должен сказать, что там были какие-то предложения и идеи кроме «Путина на нары!».

Вы, Юрий Николаевич, верно заметили, как опасна исклучительная и персонифицированная *антивластность* оппозиции. Но важно понимать, чем именно она опасна. Во время первой русской революции, в 1906 г., Макс Вебер написал работу о псевдо-конституционализме в России, где указал на опасность «первобытного коммунизма». Он видел, что образованное общество во главе с конституционными демократами борется за конституцию, ему противостоит власть, а помимо этого поднимается волна первобытного коммунизма, который может снести весь социальный порядок. Я думаю, главная опасность нынешней ситуации – не ошибки путинского режима или агрессия и безответственность оппозиции. Очевиден подъем того, что известный исследователь Лев Тимофеев называл русским фашизмом. Это явление может наложитьсь на опять-таки очевидный проклерикальный подъем (не путать с темой веры) и проч. Вот в чем действительно страшная опасность, которая должна вынудить и оппозицию, и власть быть очень осторожными.

Теперь – к Вашей, Юрий Николаевич, концепции. Вы отчасти строили свои рассуждения на идее двойичности русской культуры. Я думаю, здесь во многом на Вас оказал влияние замечательный ученый, работавший, кстати, и в РГГУ, и в ИНИОН, – Александр Самойлович Ахиезер. Он постоянно об этом писал – и повлиял на всех нас. Но я не думаю, что это, как бы так сказать, фотография один к одному. Вы говорили о разных началах, взаимодействовавших в русской истории: не только о вечевом и авторитарном, но и о дружине, церкви и проч. В Новгородской Руси, например, все они действовали. Причем это именно четыре начала, а не столкновение бинарных оппозиций. Но даже и борьба двух «начал» – еще не приговор русской истории. Эта культурная модель могла преодолеваться, и моменты такого преодоления нам известны. Однако я не хочу сейчас спорить по философско-историческим проблемам. Мне интересен настоящий момент.

В дискуссии возник вопрос: что делать – перераспределять или не перераспределять собственность? И ответа, вроде бы, нет. Мне кажется, начинать надо с политики, а не с экономики. В политическом же отношении нам просто необходима сейчас оппозиция. Чему нас учит русская история? Россия развивается более или менее нормально только тогда, когда взаимодействуют власть и общество – как оппозиционная его часть, так и та, что сотрудничает с

режимом, действует в рамках системы. Сейчас очень непростой момент в нашей истории. Россия меняется, пытается обрести современные формы. Ей просто жизненно необходима серьезная и большая оппозиция. Вопрос – чем ее сплотить? (Кстати, я не считаю пореформенное время и последнее царствование предельной высотой русской истории – зенит впереди. Тогда пробовали повернуть русло русской истории, сделать этого по разным причинам не удалось, но, я думаю, все еще впереди.)

В конце XIX – начале XX в. и общество, и оппозицию связывал один лозунг: «Долой самодержавие!». Та власть воевала со своим народом, поэтому общество, интеллигенция выдвинули такой лозунг. Он сплотил всех – от октябристов и кадетов до самых левых. Какой лозунг был у советских диссидентов в 1960–1970-е годы? – «Соблюдайте свою конституцию!» Центральной и интеграционной проблемой в России всегда была проблема власти. Ленин в этом смысле прав. И из Вашей концепции это следует.

Оппозиции необходима совершенно внятная, определенная программа. Сплотить ее может, я думаю, идея изменения Конституции. По Конституции 1993 г., Россия фактически является монархической страной с самодержавным президентством. Мы должны отказаться от этой модели и перейти к полигархической системе – за счет перераспределения полномочий внутри Конституции. Поскольку, как Вы говорили, в русской традиции власть есть все, надо перестроить ситуацию, в которой один является «монгольским ханом» (в том смысле, что от них-то наша власть идет), а остальные – его холопами. Должно быть много центров, источников власти, что по Конституции возможно. Россия столетиями шла к тому, чтобы стать полисубъектной, полигархической. К 1917 г. она этого почти достигла – значит это возможно и сейчас. И даже более, чем когда-либо.

Далее, необходимо реформировать систему налогообложения – по социал-демократическим «рецептам», которые хорошо известны. Перераспределять ресурсы надо через систему налогообложения – не через революцию. Кроме того, в программе оппозиции обязательно должно быть требование прав человека. Это огромное достижение советских инакомыслящих: впервые в русской истории они заговорили не о социальной справедливости, а о человеке, его правах.

Следующая часть программы – борьба за историю. Это вовсе не метафора. Как мы сейчас прочтем свою историю, таким и будет наше будущее. Современный режим, как бы следя за поздним

Сталиным, всю свою легитимность пытается свести к войне. Но главное – в другом; «нерв» сегодняшних «войн за историю» – это сталинизм. Мы должны дать четкий ответ на вопрос: каково наше отношение к тому, что произошло в нашей стране в XX в.? Не думаю, Юрий Николаевич, что Вы правы, утверждая: власть так жестоко эксплуатировала свой народ не только в сталинский период – так было всегда. В середине XX в. квинтэссенция насилия власти над собственным народом превзошла все, что было до того. И случилось это «вчера», поэтому наша тема – Сталин, а не Иван Грозный или Петр I. И здесь ясно: пока в народном сознании не произойдет изменений, не изменится и наша жизнь,

Еще одна тема для оппозиционной программы – внешнеполитическая ориентация. Россия должна заявить, ориентируется ли она на какой-то тип «восточничества» (Китай, к примеру) или мы являемся членами евроатлантической цивилизации, христианского мира, и в этот мир стремимся.

Я думаю, несколько таких простых, но четких предложений могут сформировать новое общественное движение. Сегодняшняя внесистемная оппозиция не виновата в том, что она наивна, часто безответственна. Откуда ей быть ответственной и не наивной, когда все основания для самоорганизации были разрушены в XX в.? Общественные движения складываются десятилетиями. У нас все только начинается. Вы сами мне рассказывали, как наивны и неумелы были «перестройщики» конца 1980-х годов. Но это же естественно. Нынешние не менее неумелы.

В заключение после всего услышанного я должен сказать: в Москве есть много мест, где можно послушать умных людей. Ваше выступление, несмотря на страшный пессимизм, – одно из самых тонких, глубоких и филигранных анализов современности. И я кланяюсь Вам и говорю спасибо.



В.П. Булдаков: Юрий Сергеевич <Пивоваров>, почему Вы решили, что я пренебрежительно отношусь к внесистемной оппозиции? Все мы, по сути дела, «оттуда» – хотим того или нет. Что же касается доклада, несмотря на пессимистичный конец, он произвел на меня скорее оптимистичное впечатление. Только в одном хотел бы поправить – относительно тезиса о борьбе власти с собственным народом. Все было по-другому. Всю свою историю наша власть почти исключительно занималась самообслуживани-

ем. Для этого ей были нужны холопы – и самые разные. Взаимодействие русской власти со своими холопами не было борьбой с народом. Государство производило селекцию: одних отбрасывало – превращало в лагерную пыль, других на время приподнимало, потом снова опускало.

? **Ю.Н. Афанасьев:** И это все не борьба?

 **В.П. Булдаков:** Здесь не было энергии и пафоса противостояния. У нас законсервировался тот тип отношений, который относится к доисторическим временам: власть – субъект, остальные – объект. Это разные сущности – между ними происходит не борьба, а нечто иное.

Мне кажется, основная проблема нашего времени и нашей страны – совсем в другом. В конце XX – начале XXI в. во всем мире произошел крах трудовой этики. Во многом в результате информационной революции. Известно, что Россия мировыми болезнями страдает в очень острой форме. Наша проблема даже не в том, что в советское время порушили все возможные институты. Хотя это и очень серьезно: у нас нет общества в нормальном смысле слова, а все твердят про гражданское. Но когда нет трудовой этики, какие могут быть институты? Сегодня проблема проблем – это возрождение трудовой этики. Правда, как это сделать, я не представляю.

В целом, мне кажется, что доклад Юрия Николаевича не столь пессимистичен. Россия в своей истории переживала сходные периоды. Ну, не повезло нам – можем вляпаться в очередную смуту. Но и это не конец, уверяю вас.

И.И. Глебова: Коллеги, мы работаем уже два часа и должны завершать. Я благодарю докладчика, выступавших, всех участников. Заключительное слово – Юрию Николаевичу.

 **Ю.Н. Афанасьев:** Спасибо за то, что вы пришли, послушали и услышали. Что же касается возражений, то каких-то особенных и категоричных «против» я не услышал. Даже по поводу пессимизма. Я-то считаю: то, что вы называете пессимизмом, на самом деле – возможность посмотреть правде в глаза. А это, по моему, вполне достойное человеческое качество.

В КАКОГО БОГА ВЕРИТ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

(Семинар 19 марта 2013 г., ИНИОН РАН)

Ю.С. Пивоваров (ИНИОН РАН): Коллеги, сегодня я на правах директора проведу этот семинар. У нас всем, конечно, известный гость – Андрей Сергеевич Кончаловский. Он выступает в несколько неожиданном для вас качестве, в непривычной для себя аудитории, с весьма интригующей темой. Тем интереснее наша встреча. Прошу Вас, Андрей Сергеевич.

 **А.С. Кончаловский:** Сегодня в России возникла совершенно особая ситуация: все большее место в общественно-политической жизни занимает русская религиозная идея. Дело «Пусси-райот», которое в любой европейской стране прошло бы незаметно, приобрело в России невообразимые для современного человека масштабы. Их можно сравнить лишь с реакцией мусульманских стран на попытки иноверцев нарушить неприкосненность Корана или оскорбить Пророка. Реакция государства и верующих на происшествие в ХХС¹ обнажила скрытое, но подспудно нарастающее противостояние, затронула центральный болевой нерв русского общества. Вскрылся конфликт между очень яростным, воинственным утверждением, что «Бог есть», и не менее воинственным, но стыдливо приглушенным утверждением, что

¹ 21 февраля 2012 г. три участницы панк-группы «Пусси-райот» устроили «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя. Акция получила большой резонанс в СМИ и вызвала негодование не только верующих, но и большой части общества. 17 августа 2012 г. участницы группы были признаны виновными в хулиганстве («по мотивам религиозной ненависти») и приговорены к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Бога нет». Две эти крайности в России всегда находились и до сих пор находятся в раскаленном противоборстве. В современном мире такой накал возможен исключительно в мусульманских обществах. Ничего похожего мы не можем видеть в других христианских странах, даже православных – Греции или Болгарии.

Эта эмоциональная, можно сказать, иррациональная реакция общества на богохульство девушек-панков навела меня на мысль, что русская цивилизация в какой-то степени ближе к исламской, чем к христианской. И я задумался: что знает русский человек о Боге?

У А.П. Чехова есть рассказ «Студент», где, предвосхищая М.А Булгакова, он гениально использует библейский мотив об отречении Петра. Герой, переживший историю, сродни легендарной библейской, ощутил, что прошлое связано с настоящим неразрывной цепью событий. Неожиданно для себя он как бы увидел оба конца цепи: коснешься одного – вздрагивает другой. Это замечательная метафора взаимосвязи времён подсказала мне, что все происходящее в сегодняшней России имеет корни (начала) в чрезвычайно далеких, дохристианских еще временах. Наблюдая попытки власти внедрить православие в русское сознание, понимаешь, что язычество, с которым так яростно боролся Владимир Красное Солнышко, в общем-то так и не было побеждено до сего дня. В чем это ярко выражается?

Для русского православного человека любой религиозный артефакт – крестик, ладанка, поясок – являются материализацией божества. Когда Лев Николаевич Толстой писал: «Если чувашин мажет своего идола сметаной или сечет его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он делает во имя чуждого мне своего суеверия...»¹, – он как раз и указывал: язычнику необходимо иметь физический контакт с предметом, олицетворяющим божество. Язычнику требуется материальное воплощение Бога – тотем, который можно пощупать, повесить на шею или даже высечь. Толстого не устраивало то, что эта языческая потребность в тотеме плавно перешла в русское православие и стала определять отношение человека к христианскому Богу. Знаменательно, что и

¹ Толстой Л.Н. Ответ на постановление Синода от 20–22 февраля <1901 г.> и на полученные ... по этому поводу письма // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. – М., 1952. – Т. 34. – С. 245.

сегодня для верующего русского вешь, имеющая религиозный смысл, является частицей божества. И причаститься для него – значит стать – буквально, а не символически – частью Бога.

Почему язычество так и не было изжито в России? На мой взгляд, в русском религиозном сознании исторически не произошло интеллектуализации отношений с Богом, тогда как другие христианские конфессии это пережили. У нас это возможно только как индивидуальный опыт. Здесь опять вспоминается Толстой: «Если бы Он (Христос) пришел теперь и увидал то, что делается его именем в церкви, – писал он, – то …наверно повыкидал бы все эти ужасные… кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все то, посредством чего, колдуя, скрывают от людей Бога и его учение...»¹.

Когда я уезжал в Америку, мать дала мне с собой свою иконку, свой нательный крестик и поясок с молитвой «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…», которым она просила обязательно обвязаться! Для моей матери – поэтессы, интеллигентной женщины, воспитанной в европейском духе, как для языческой жрицы, эти маленькие предметы все еще обладали божественной, чудодейственной охранительной силой.

Вспомните огромные очереди в Храм Христа Спасителя к поясу Богородицы², отдельный вход для ВИП-персон, к которому подъезжали лимузины, и по-европейски одетые чиновники с сосредоточенным видом ныряли под священную реликвию, в обход общей очереди… Этот феномен, характерный для сегодняшней России, бесконечно далек от современности – можно сказать, отделен веками. И если такое поклонение еще можно себе представить в крестьянской Южной Италии, то в Северной Европе это просто немыслимо. Чем объяснить такую разницу?

По существу, со временем появления христианства в Европе никогда не прекращались теософские споры. Свободная мысль тысячелетиями подвергала ревизии и сомнению любые христианские догматы и парадигмы. Право на сомнение выработало у европейца иное отношение к тому, что называется Бог. Русская же религиоз-

¹ Толстой Л.Н. Ответ на постановление Синода от 20–22 февраля <1901 г.>.

² 20 октября 2011 г. частица пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском мужском монастыре на горе Святой Афон в Греции, по инициативе российского Фонда Андрея Первозванного была привезена в Россию. С 19 по 28 ноября, когда святыня находилась в Храме Христа Спасителя, в центре Москвы выстраивались километровые очереди паломников, желавших к ней прикоснуться.

ная культура исключала это право и строилась только на **вере**. Собственно, можно сказать, что в России религиозной мысли не было до середины XIX в. Русский человек вместо **права** размышлять о Боге имел **обязанность** истово верить.

Б.О. Ключевский писал в 1898 г.: «Вместе с великими благами, какие принесло нам византийское влияние, мы вынесли из него и один большой недостаток. Источником этого недостатка было одно – излишество самого влияния. Целые века греческие, а за ними и русские пастыри и книги приучали нас веровать, во все веровать и всему веровать. Это было очень хорошо, потому что в том возрасте, какой мы переживали в те века, вера – единственная сила, которая могла создать сносное нравственное общежитие. Но не хорошо было то, что при этом нам запрещали размышлять... больше всего потому, что мы тогда и без того не имели охоты к этому занятию. Нам указывали на соблазны мысли прежде, чем она стала соблазнять нас, предостерегали от злоупотребления ею, когда мы еще не знали, как следует употреблять ее... Нам твердили: **веруй, но не умствуй**. Мы стали бояться мысли, как греха, пытливого разума, как соблазнителя, раньше, чем умели мыслить, чем пробудилась у нас пытливость. Потому, когда мы встретились с чужой мыслью, мы ее принимали на веру. Вышло, что научные истины мы превращали в догматы, научные авторитеты становились для нас фетишами, храм наук сделался для нас капищем научных суеверий и предрассудков. Мы вольнодумничали по-старообрядчески, вольтерьянствовали по-аввакумовски. Как старообрядцы из-за церковного обряда разорвали с церковью, так мы из-за непонятного научного тезиса готовы были разрывать с наукой. Менялось содержание мысли, но метод мышления оставался прежний. Под византийским влиянием мы были холопы чужой веры, под западноевропейским стали холопами чужой мысли. (Мысль без морали – недомыслие; мораль без мысли – фанатизм)...»¹.

Размышления Ключевского – образец глубочайшего проникновения не только в сущность русского мышления, но и в образ жизни русского человека. Русская культура формировалась, конечно, под влиянием многих факторов, но **метод мышления** в значи-

¹ Ключевский В.О. Верование и мышление // Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. – М.: Наука, 1983. – С. 384.

тельной степени был обусловлен той особой формой православия, которую оно приняло на Руси.

Указывая на позитивные и негативные последствия принятия Русью православия, Ключевский, однако, не ответил на главный вопрос: почему способ мышления православного русского человека исключал право на сомнение. Попробуем ответить за Ключевского. Для этого прикоснемся к той уходящей в глубь веков цепи причинно-следственных связей, о которой писал Чехов.

Христианство пришло к нам в переводе на древнеславянский (читай: болгарский) язык в IX в. Разделение христианства на две ветви началось где-то в IV–V вв. Оно возникло вполне естественно, ибо две великие античные цивилизации – греческая и латинская – при всех их кардинальных различиях продолжали сосуществовать. Различия обусловлены тем, что греческая ментальность базировалась на дионасийском, чувственном восприятии мира, на хтоносе (от греч. «*chthon*» – «земля»), на приятии мира во всей его хаотичности. Латинская же, римская культура изначально строилась на желании упорядочить представление об окружающем мире, систематизировать эмпирическое знание. Это в конечном счете породило аполлонизм и римское право.

Из этих великих культур и выросли два религиозных и политических центра: восточный – Византия, западный – Рим. Но метод мышления в обеих цивилизациях был европейским. В этом легко убедиться, если посмотреть труды святоотеческих философов. Святые отцы как Восточной, так и Западной церквей были исключительно образованы, говорили на трех языках – по-гречески, по-иудейски и на латыни. То есть оперировали общими инструментами логики и софистики. Как подчеркнул в одной из своих речей бывший Папа Бенедикт¹, три кита, на которых поконится европейская цивилизация, – это схоластика Иудеи, философия Греции и римское право. Поэтому в основе европейской философии лежит диспут как инструмент познания истины. Отцы Восточной церкви были образованы не меньше латинцев и знали, что такое диспут. Они были знакомы с Платоном, Плотиным, Аристотелевой диалектикой, схоластикой, математикой, знали право. Они имели удовольствие применять свои знания, делиться сомнениями, они соз-

¹ Бенедикт XVI – 265-й Папа Римский (интронизирован 24 апреля 2005 г.). Первым за последние 600 лет отрекся от папского престола (28 февраля 2013 г.).

дали культуру полемики. Искусство красноречия и диспута было основой развития европейского, в том числе византийского, богословия. Богословы состязались в красноречии и логике даже на византийских базарах!

Тронем другое звено логической цепи. Когда викинги, уже имевшие с V–VI вв. некое подобие государственности, в VIII–IX вв. пришли на Русь, восточноевропейская равнина была заселена разрозненными дикими, варварскими племенами славян и финнов. Они жили общинно-родовым строем, языческими верованиями. Основными их занятиями были охота, рыболовство и хлебопашество. В отличие от городов цивилизованных народов, города славян не являлись центрами ремесел и торговли. Они представляли собой те же села, огороженные стеной. Славяне не имели представления о рынке и торговле. У них не было своей письменности. Викинги колонизировали эти вполне варварские территории и жили на них христианскими общинами в замкнутых анклавах, не смешиваясь с туземцами. Порабощенных язычников называли «смердами».

В 863 г. Кирилл и Мефодий с благими намерениями изложить смысл Писания на понятном народу языке, перевели его на церковно-славянский (или средневековый болгарский). Сначала принесли в Болгарию, а потом на Русь, положив начало славянскому алфавиту и письменности. Деяние Кирилла и Мефодия привело к невероятной демократизации самого учения. И это замечательно. Но, с другой стороны, будучи переложенным на славянский, оно утратило ту глубину, которую имело в Византии. Об этом, к сожалению, В.О. Ключевский не писал. Он не пояснил, что русское православие было с самого начала отрезано от культуры Древней Греции и Рима, от культуры античного мира! Историк лишь констатировал факт: «Нам сказали – веруй и перестань размышлять». Культура диспута была вне досягаемости, вследствие чего любая попытка критического осмысления религии воспринималась нетерпимо – как подрыв веры. Критика религии расценивалась с языческим трепетом как смертный грех.

Поэтому в Западной Европе университеты «вышли» из монастырей и религиозных центров, а в русских землях монастыри стали охранными форпостами ортодоксальной, непогрешимой истины. Университет – это диспут. Неудивительно, что в России университет, как независимый институт, возник на шесть столетий

позже. Вполне закономерно он немедленно стал рассадником свободы и крамолы и существовал под неусыпным оком царской охранки, под постоянной угрозой закрытия.

Можно сказать, что в течение почти 900 лет критическое осмысление христианской веры не имело в России права на существование, беспощадно каралось. Это, конечно, не значит, что в то время не появлялись отважные и пытливые умы, пытавшиеся понять, каково соотношение веры и религии.

В Европе церковь все время противостояла светской власти и успешно конкурировала с ней в борьбе за политическое и экономическое влияние. Безмерная жадность, распущенность, стремление Ватикана к роскоши осуждались задолго до появления протестантизма. Одним из героев, восставших против разврата и стяжательства церкви, был Савонарола. Проповедник нестяжательства, труда, скромности и бескорыстного служения, он собирал тысячные толпы. Не могу не вспомнить, что под влиянием его проповедей разгорелись так называемые костры тщеславия, в которых раскаивавшиеся зажиточные горожане жгли предметы роскоши. Сам Ботичелли кинул в костер несколько своих шедевров!

На Руси были свои нестяжатели – борцы против стремления служителей церкви к хищнической наживе, богатству, порицавшие рабовладение монастырей, царившие там разврат и содомию (есть достаточное количество документов, подтверждающих эти злоупотребления). Первый из этих борцов, кто приходит на память, – Сергий Радонежский. Известна история его конфликта с Дмитрием Донским по поводу назначения митрополита. Когда Дмитрий решил поставить митрополитом своего прислужника – пронырливого Митяя, стареющий митрополит Алексий воспротивился и вызвал к себе Сергия, чтобы уговорить его взойти на пост. Когда тот прибыл, Алексий повесил ему на грудь золотой крест в каменьях. Рассерженный Сергий скинул его со словами: «От юности я не был златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете».

Особый интерес вызвала у меня фигура Максима Грека. Его судьба показывает, насколько невежественна и нетерпима была русская церковь по отношению к самым просветленным мужам православия. Максима Грека прислали в Москву афонские старцы по просьбе Василия III для редактирования и перевода духовных книг. В московских религиозных текстах он обнаружил множество несуразиц, смысловых извращений и заявил, что «у вас тут все пе-

реврано». Его заявление было встречено озлоблением и обвинениями в жидовстве. Более того, став свидетелем чудовищной жестокости и несправедливости русской жизни, Максим критиковал церковь и власть за златолюбие и угнетение крестьян... Ну, его и посадили на цепь в темницу на долгие годы. Знаменательно, что Максим Грек присутствовал на том Флорентийском соборе, где мог слышать Савонаролу. Не сомневаюсь, проповеди пламенного оратора-борца со стяжательством навсегда остались в его сердце. Можно даже сказать, что все первые русские религиозные революционеры, восставшие против разврата и златолюбия иерархов, были «обожженены» словом Савонаролы.

Максим Грек приехал в Россию как воинствующий нестяжатель, философ, человек свободной религиозной мысли. И вот судьба: прочитал книги, сказал то, что думал, а его – в темницу. Отцы Афона просили отпустить его обратно – мол, соскучился он по апельсинам. Но царствовавший уже в то время Иван Грозный греческого монаха не отпустил. Позже Максима тайно, не известив царя, перевели в Троице-Сергиеву лавру. Жил он там полугегально, но иноки обращались с ним с величайшим почтением. Однако вернуться «к апельсинам» он так и не смог. Такая грустная история.

Русская церковь, считая себя единственной хранительницей истинной веры, с самого начала пресекала всякую попытку ее критики, пребывала в страхе перед схизмой. Недаром по-латыни она и называется ортодоксальная церковь. И до сих пор сомнения в христианской догме вызывают в России обвинения в ереси, в жидовстве...

Когда вместе с Андреем Тарковским мы изучали историю крещения Руси¹, то были удивлены жестокостью, с которой искоренялось язычество, и отчаянной твердостью сопротивлявшихся язычников. Это был кровавый процесс. Тем не менее можно констатировать, что язычество до сих пор живо в русской культуре. Так что ее и сейчас отличает своеобразное «двоеверие». Не все, однако, помнят, что долгое время в Московской земле существовало и «троеверие»: верили в христианских святых, языческих богов и Аллаха. Интересно, к примеру, что «Хождение за три моря» Афанасия Никитина начинается тюркско-арабской молитвой из

¹ В первой половине 1960-х годов А. Кончаловский и А. Тарковский работали над сценарием фильма «Андрей Рублев». Картина была закончена в 1966 г.

Корана, написанной по-славянски: «...Милостию Божиєю преидох же три моря. Дигерь Худо доно, Олло перводигерь дано. Аминь! Смилна рагим. Олло акъбірь, акши Худо, илелло акшь Ходо. Иса рухоало, ааликъсолом. Олло акъбель...»¹.

Русский философ Г.П. Федотов писал: «Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее – сперва почти точка, потом расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю Восточную Русь. Это Москва – “собирательница” земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего *татарофильской* и *предательской* политике своих первых князей, Москва, благодаря этой политике, обеспечивает мир и безопасность своей территории... В московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не только извне, а изнутри татарская стихия овладевает душой Руси, проникает в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XIV в. тысячи крещеных и некрещеных татар, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражало его восточными понятиями и степным бытом...»². Экзотический симбиоз «трех вер» повлиял на формирование русского религиозного сознания, а также способствовал укреплению традиционных для русского мировоззрения антizападничества, антиевропеизма.

В силу политических и экономических причин на Руси так и не возникли города по западному образцу – как политические образования с независимым самоуправлением, с рыночными отношениями. В Московии не было ни одного города с магдебургским правом. На Украине магдебургским правом пользовались около 60 городов, в Белоруссии – около 40, а в России – ни одного! Правда, были у нас Новгород и Псков – с самоуправлением, с развитыми торговлей и ремеслами, но чем они закончили? Их уничтожила Московия. Собственно, их топили в крови все властители, начиная с Александра Невского.

Не могу не отвлечься от темы и не сказать несколько слов об этом историческом деятеле. Факт противостояния князя и свободо-

¹ «Хождение за три моря» Афанасия Никитина / Подготовка текста М.Д. Коган-Тарков и Я.С. Лурье, перевод Л.С. Семенова, комментарии Л.С. Лурье и Л.С. Семенова // Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV в. – М.: Худ. лит-ра, 1982.

² Федотов Г.П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. – СПб.: Изд-во «София», 1992. – Т. 2. – С. 276–303.

любивых новгородцев не очень удобен для его апологетов. Когда новгородцы восстали и выгнали его сына Василия, Александр помчался в Орду и натравил татар на непокорных республиканцев. Два десятилетия Новгород и Псков подвергались жесточайшему террору Александра и Орды, но не сдавались. И потом в течение трех веков Новгород и Псков сопротивлялись московскому «тоталитаризму», пока Иван Грозный не утопил их в крови.

Попутно замечу: наша история настолько изолгана, что, пока мы не попробуем найти истину хотя бы в свободной, не скованной рамками благочиния историософской дискуссии, мы не поймём, *кто мы такие*. Почему, например, Александр Невский причислен к лику святых – судя по историческим источникам, он всегда стоял на страже татаро-монгольских интересов, использовал военную силу Орды в борьбе как против других русских князей, так и против собственного народа. Достаточно погрузиться в историю войны Александра с Новгородом, чтобы понять, что он – коллаборационист, узурпатор и предатель своего народа. Очевидно: пока официальная история нашей страны будет оставаться изолганный по идеологическим мотивам, мы не сможем понять, *почему мы такие*.

А в это время в Европе, в ареале влияния католической церкви, бурно развивались города, крепла буржуазия. Новый «класс», энергично освобождавшийся от «доброжуазного» мировосприятия, быстро завоевывал себе место в обществе, принципиально его меняя. Возникало гражданское сознание, оформлялось понятие Личности. Пока человек работает на земле, которая ему не принадлежит, он не может стать гражданином. Такое самоощущение свойственно горожанину. Правда, «городское сознание» не дается автоматически – местом жительства или работой в городе. Этот комплекс идей является следствием осознания своих обязанностей и прав. Это продукт сознания человека, который зарабатывает деньги, пользуясь не чужой землей, а своими знаниями, мастерством, свободно продаёт плоды своего труда. Когда у человека появляется экономическая независимость, он начинает требовать себе политических свобод. В этот момент он и становится личностью, гражданином. В Англии, например, это случилось в XIII в., когда была принята Великая хартия вольностей.

В России же крестьянское сознание оставалось нетронутым, так как не возникла национальная буржуазия. Известно утверждение историка и философа К.Д. Кавелина: Русь и русский народ

вышли на историческую арену, будучи лишены личностного начала. Это справедливо. Я думаю, что архаическое сознание сохранилось в России до сегодняшнего времени – большая часть населения живет в «*доброжуазном* обществе». Поэтому и государство имеет больше общих черт с государствами африканскими, чем с европейскими. Поэтому отсутствует гражданское общество: граждан нет – есть население.

Если до принятия христианства русская культура начиналась как периферия европейской культуры, то при татарском владычестве она стала вполне азиатской. Радикальную попытку вернуть Россию в Европу предпринял Петр Великий. С Петровских реформ формируется новый тип русского человека. Можно сказать, эти реформы породили другой народ – русских европейцев, не имевших ничего общего с той огромной массой людей, которые пребывали в архаическом, полуязыческом состоянии.

Немногочисленный («малый») народ – русские европейцы, который славянофил А.С. Хомяков сравнил с европейским поселением, заброшенным в страну дикарей (в «большой народ»), развиваясь и умножаясь, за двести лет создал великую культуру. Россия и сегодня гордится ею. Мы говорим: «Наш балет, наши Чайковский, Достоевский, Чехов, Пушкин». Все то, что обогатило мировую культуру, за короткий исторический срок было создано «малой нацией» русских. Европейская культура возникла в России исключительно благодаря Петру I. Если бы не было Петра, что бы мы знали, на что бы повлияли? Только после Петра Россия вышла на мировую арену как великая культурная страна.

Однако сосуществование двух народов, прямо противоположных по своим идеалам и вкусам, не могло не привести к катастрофе. И она случилась – в 1918 г. «единственного европейца» (по выражению Пушкина) расстреляли в Ипатьевском доме, а следом и остальных представителей европейской России стали гонять по улицам, высыпалить подальше на «философских пароходах», расстреливать. Ленин открыто признавал: мы стреляем не за преступления, а за принадлежность к классу. А класс этот и был классом «белых» (т.е. европейских) русских. К 1940 г. европейская Россия закончилась. Осталась «черная» Русь, Московия.

«Большой» русский народ вышел на историческую сцену и сразу вернулся к варварской цивилизации, уничтожив непонятный и враждебный мир «другой» России. Собственно, большевизм и

расцвел как месть, реванш русского «большого» народа-язычника, вырвавшегося из-под векового гнета русских-европейцев и института церкви. Иначе, чем можно объяснить, что большинство христианского населения огромной страны так охотно поддалось атеистической, марксистской пропаганде, глумилось над религиозными храмами и святынями, уничтожало духовенство и с леденящим кровь вдохновением участвовало в уничтожении собратьев?

Но вернемся к нашей цепи причин и следствий... Что же происходило с европейской религиозной мыслью в XV–XVI вв.?

Возникновение буржуазии потребовало интеллектуализации отношений с Богом. Когда человек почувствовал себя **личностью**, понял, что от него лично, а не от наместника Бога на земле зависит его успех, возникло протестное движение против корысти и властолюбия католической церкви, которая всегда пыталась подмять под себя светскую власть. Из этого вырос протестантизм, цель которого – убрать посредника между Личностью и Богом. С упразднением посредников исчезли тотемы. Их нет в протестантизме, где единственная священная вещь – Библия: читай и живи по ней. А если кто-то и носит крестик, то для него это абстрактный символ его принадлежности к религии, а не магический предмет, охраняющий от зла (как медвежий клык для тунгуса или перья для индейца). У католика, а тем более у протестанта, зависимость от чудотворных реликвий ушла – остался лишь символ веры. Осталось отношение к Богу как к постоянному и недремлющему судье. Его присутствие в сознании как раз и формирует личную ответственность – не только перед Богом, но перед собратьями, детьми и родителями.

Индивидуальная ответственность человека перед Богом есть основа современного общества, члены которого ответственны за свою работу, платят налоги, где крепкие семьи и нет беспризорных детей на улицах. Личная анонимная ответственность – краеугольный камень современного государства и общества. Персональная неанонимная ответственность существует и в России – практически в любой семье. Если мальчик пишет мимо унитаза, то он знает, что получит подзатыльник. В общественном же туалете он спокойно нарушит правило, потому что в ситуации анонимности ответственность пропадает.

В бытовом ежедневном поведении человека религия и этика связаны неразрывно. Вернувшись к понятию «крестьянское сознание» –

по этому поводу у меня однажды возник спор с профессором Ясиным¹. Когда я сказал, что в России господствует крестьянский тип сознания, Евгений Григорьевич возмутился: Андрей Сергеевич, ну что Вы говорите? Больше 70% населения России живет в городах. На что я ответил: дорогой мой, и в Кремле живут люди, но у них по-прежнему добуржуазное (читай: крестьянское) сознание. Убедить его мне, правда, так и не удалось.

Что представляет собой тип «доброжуазного», крестьянского сознания? Для его понимания мне кажутся важными исследования аргентинского социолога Мариано Грondonы². Он разработал сравнительную систему установок, предпочтений, присущих разным национальным ментальностям, и противопоставил общества с прогрессивной шкалой ценностей тем, в которых преобладает традиционный, патриархальный взгляд на мир. Его поддержал известный культуролог Лоуренс Харрисон – в книге «Кто процветает» привел типологию культур, разработанную Грondonой³. Изучая причины, по которым одни страны процветают, а другие приходят в упадок, Харрисон сделал вывод: если не всё, то очень многое зависит от традиционной культуры этих стран.

Изучая ментальность аргентинцев, Грondona пришел к выводу, что она трудно поддается изменениям в отличие, скажем, от ментальности бразильцев. А Харрисон решил установить, что представляют собой культурные коды (я бы сказал, культурные геномы), благоприятствующие развитию творческих способностей человека или их подавляющие. Харрисон выделил четыре фундаментальных фактора, определяющих «качество» данной культуры, – сопротивляется ли изменением, т.е. инертна ли она или, напротив, динамична и легко усваивает новшества, помогающие развитию. Перечислю эти факторы.

1. РАДИУС ДОВЕРИЯ. «Способность отождествлять себя с другими членами общества, сопереживать, радоваться успехам другого и огорчаться неуспехам» – вот что определяет доверие. «В большинстве отсталых стран радиус доверия преимущественно ограничен семейным кругом. Все, что находится за пределами се-

¹ Е.Г. Ясин – российский экономист, министр экономики РФ с 8 ноября 1994 г. по 17 марта 1997 г.

² Мариано Грondona – аргентинский журналист и социолог. Выделил 25 культурных факторов, оказывающих влияние на развитие разных стран.

³ Харрисон Л. Кто процветает. – М.: Новое издательство, 2008. – 300 с.

мыи, обычно вызывает чувство безразличия и даже враждебности. Для такого рода обществ характерны непотизм и другие виды коррупции...». Ничего не напоминает?

2. ЖЕСТКОСТЬ МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА. Обычно источником системы этики и морали является религия. В иудохристианской морали человек ответствен перед Богом за все свои деяния – будь то отношение к людям или к труду. *Но в разных конфессиях мера ответственности различна.* Более того, проступки и нарушения морали либо возможно, либо невозможно искупить. Поэтому в разных культурах степень индивидуальной ответственности личности различна.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАСТИ. «В Латинской Америке власть традиционно воспринимается как лицензия, право на обогащение... Если кому-то этот стереотип покажется оскорбительным и необоснованным, пусть он поразмышляет о том, почему типичный президент латиноамериканского государства покидает свой пост чрезвычайно богатым человеком...» Что-то знакомое, правда?

4. ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ, НОВАТОРСТВУ, БОГАТСТВУ. В отсталых странах к труду относятся как к повинности. Там работают, чтобы жить. В развитых, динамических живут, чтобы работать. Новаторство в «доброжуазных» обществах воспринимается как угроза стабильности, как ересь. Отношение к богатству определяется там архаическим представлением: богатство существует в неизменном количестве, и его только *перераспределяют*. В динамической культуре богатство понимается как постоянно приращающая величина, вырабатываемая трудом и поэтому исключающая сам феномен перераспределения.

Я полагаю, отношение к богатству у крестьянина архаично, ибо оно связано с землей. Земля – единственное богатство, которое ему понятно. Но земля в принципе предельна – можно лишь передвигать границы. Поэтому пространство издавна являлось и до сих пор является мерой богатства. Говорят, чем больше земли, тем человек богаче. Собственно, это и есть крестьянское представление о богатстве.

Буржуазное представление о богатстве, порожденное рыночными отношениями, перевернуло «феодальное»: богатство прирастаемо, оно не только перераспределяется. Большевизм построил свою идеологию на крестьянском понимании богатства как *пере-*

распределения (перераспределяемой субстанции): «отнять и разделить!» Экономическое возвышение соседа воспринималось крестьянином как угроза собственному благополучию, вызывало иллюзию, что у него что-то отняли. Отсюда знаменитая крестьянская зависть. Буржуазная же концепция такова: «Если я буду хорошо работать, то стану богаче, чем мой сосед».

Интересно, что перечисленные аргентинским исследователем факторы удивительно совпадают с базовыми постулатами русского православия. Уход от мирской жизни считается здесь большей добродетелью, чем труд. Его отличает нетерпимость к инакомыслию. Оскорблениe иконы вызывает физическое страдание верующего, как оскорблениe самого Бога. В католической Испании прихожанка-энтузиастка из лучших побуждений повредила вековую фреску с изображением Спасителя, пытаясь дорисовать стершиеся от сырости фрагменты старинной работы. Ее просто оштрафовали. А в протестантских странах и оскорблять нечего: есть единственная священная вещь – книга, лежащая на тумбочке рядом с кроватью.

Л. Харрисон пришел к выводу, что культурные коды, которые определяют ежедневное поведение человека, его взаимоотношения с семьей, рабочую этику, способность к организации своего быта, складываются под влиянием многих факторов – климата, географии, истории. Но самым существенным является религия. Систематизировав страны по религиозной принадлежности, исследователь показал: страны с различными господствующими религиями имеют и разные экономические показатели. Первенствуют протестантские, далее следуют католические, в хвосте плетутся православные.

Это поразительный, на мой взгляд, факт, требующий совместного исследования историков, социологов, теософов, культурологов и политиков. Ведь везде в этих странах люди живут, работают, надеются на лучшую жизнь, но... В чем же дело? Исключим Россию, для которой катастрофическими оказались последствия татаро-монгольского нашествия, и посмотрим на другие европейские православные страны – Сербию, Румынию, Болгарию, Украину, счастливо избежавших «ордынского синдрома». Появление городов с магдебургским правом привело там к рождению буржуазии, вследствие чего этим православным странам удалось выкарабкаться из добуруженного состояния, избавиться от рабства. Однако буржуазия не стала доминирующим классом; большую

часть народа составляли крестьяне, над которыми высился правящий класс. Это особенно очевидно теперь: в бывших соцстранах, где православие – господствующая религия, деньги и влияние сконцентрированы в руках монополистов, кланов олигархов и миллиардеров, не дающих развиваться мелкой и средней буржуазии.

Посмотрите на хаос в самой европейской из православных стран – Греции. Это не протестантская Эстония, в которой вообще ничего нет, кроме гранита и селедки. Но в Эстонии был и есть порядок. А в Греции не проходит ни одна реформа. Не будем сегодня говорить о Кипре – все деньги, которые были вкачаны туда ЕС, ушли в чьи-то карманы. Этот опыт подтверждает, что в православных странах очень вольное отношение к закону, ибо этический «кодекс» мягок и расплывчат. Для России это особенно верно. Если спросить русского человека, в какого Бога он верит, он скорее всего ответит: **в Бога, который все простит**. Всепрощающий русский Бог поддерживает не только множество простых и искренне верующих людей. Даже отъявленным преступникам, «братьям» он дает бесхитростную надежду: регулярное посещение церкви и иконка в джипе обеспечат им полное искупление всех смертных грехов, оградят от гибели на следующей «стрелке». Только этим можно объяснить поголовное воцерковление криминалитета.

Вернувшись теперь к той формуле, которую я предложил для нашей встречи: в какого Бога верит русский человек? Хочу привести цитату из записок Антона Павловича Чехова 1897 г.: «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит громадное целое поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало»¹.

Выдающийся филолог и лингвист Александр Чудаков дал подробный анализ этой чеховской мысли.

– Два понятия – «есть Бог» и «нет Бога» – по отдельности либо не значат ничего, либо значат очень мало. Они обретают значение только тогда, когда их соединяет поле, которое проходит только мудрец.

¹ Чехов А.П. Дневниковые записи: 1897 г. // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1974–1982. – Т. 17: Записные книжки.

– Русского человека интересуют или одно, или другое утверждение. Ему не интересна середина («поле») – тот интеллектуальный, духовный путь, который проходит мудрый. Но тот, кто не понимает значения этого Пути, просто не приучен думать.

– Чехов не указал, каков «правильный» вектор: от «Бога нет» – к «Бог есть» или наоборот. Ему это неважно. Важен Путь. Недаром в своих работах Чехов утверждал: дело не в Боге, а в его поисках. Настоящая религия – в поисках Бога¹.

Чудаков и указывает нам на убежденность Чехова в том, что истинно религиозный человек свободен в своем выборе между одной крайностью и другой. Почему русского человека не интересует середина? Потому что архаическая, «доброжуазная» культура не приучила его мыслить. Ему никогда не разрешали сомневаться. Поэтому и получается, как говорил Аксаков, что русский человек либо святой, либо скотина. Середины нет.

Европейский гуманизм как идея появился именно тогда, когда человек «между святым и зверем» стал искать себя. Именно тогда в Италию вернулась античная философия, появились Петrarка, люди, которых интересовали платоники, неоплатоники... Возникли культурная среда, интеллектуальное пространство – то, из чего потом родились протестантизм, европейская философия и европейская система мышления. Именно тогда «доброжуазное» общество уступило место новой формации.

Я убежден: для нас самое главное – понять, что и почему нам мешает создать предпосылки для выхода «большого» русского народа из «доброжуазного» состояния. Нам необходимо создать условия, при которых «малый» русский европейский народ станет большинством. Только тогда у нас возникнет свободная религиозная мысль, а вместе с ней – надежда на избавление от крестьянского сознания, на построение современного общества и государства.

Надо признать, что после 70-летнего варварского торжества «большого» народа в России снова прорастают побеги европейского «малого». Можно надеяться, что нация европейских русских будет множиться. И тогда у власти появится та же задача, которую сформулировал в XIX в. итальянский премьер-министр Кавур²,

¹ Чудаков А.С. «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле...»: Чехов и вера // Новый мир. – М., 1996. – № 9. – С. 186–192.

² Камилло Бенсо ди Кавур – первый премьер-министр Италии (1871).

объединивший страну: «Мы создали Италию как государство, теперь нужно создать единый народ».

Вопрос о том, какой народ появится в России – азиатский или европейский, и станет главным историческим выбором для будущего правительства.

Ю.С. Пивоваров: Благодарим докладчика. Прошу, коллеги, – вопросы, комментарии.

?

В.В. Лапкин (ИМЭМО РАН): Мой первый вопрос – реакция на Ваши размышления вокруг основной темы. Андрей Сергеевич, что такое русский человек? Если придерживаться Вашей логики, все люди городской постпетровской культуры (условно, начиная с Пушкина и кончая Мережковским) оказываются нерусскими людьми.

!

А.С. Кончаловский: Можно продолжить – Ахматова, Пастернак, Зощенко...

?

В.В. Лапкин: Это в самом деле нерусские люди?

!

А.С. Кончаловский: Почему же? Это русские европейцы.

?

В.В. Лапкин: Что же такое русский человек?

 **А.С. Кончаловский:** Нет просто русского человека – есть разные русские люди, явившиеся из различных культурных сред. Здесь мы имеем дело с последствиями того самого раскола, который произошел после реформ Петра. Тогда у нас появились две «нации»: «белая» Россия и «черная» Россия. «Черная» не понимает «белую»; «белая» вечно чувствует себя виноватой перед «черной». Ее «ходоки» шли в «большой» народ, пытались его учить. А «черная» Россия гнала их палками.

?

В.В. Лапкин: Второй вопрос непосредственно касается поставленной Вами проблемы. Возможно, он слишком широк, но все-таки... Как Вам видятся перспективы христианства в России и на Западе?



А.С. Кончаловский: У меня есть надежда на эволюцию российского православия под европейским влиянием, в ходе «конвергенции» Московии с Европой. Это неизбежно, потому что без этого нельзя развиваться. Рано или поздно Россия, где обитает «белая раса» европейского происхождения, должна вернуться в семью европейских народов. Не на словах – путем формирования личностной культуры, выращивания Личности. Здесь возможен мягкий вариант: необходимы не менее 15–20 лет для воспитания хотя бы одного поколения учителей и родителей, стабильная власть с последовательной государственной политикой. В случае катастрофы с экономикой или демографией, коллапса институтов индоктринация может проводиться жестким, приказным, «квазипетровским» методом, как это делали Ли Кван Ю в Сингапуре или Ататюрк в Турции.

Так или иначе, европеизация, повторю, неизбежна. Европе нужна Россия – хотя бы как источник рабочей силы. Легко обучающейся. Русский человек хорошо адаптируется к Европе. Попадая на Запад, он быстро перенимает европейские правила общежития, учится принимать европейские ценности. Условно говоря, он привыкает ездить по правой стороне и на левую уже не выезжает. Нужны мы Европе и потому, что Россия – неизбытный источник богатств: недр, пространства, золота, питьевой воды и проч. Россия же нуждается в Европе просто в силу того, что ощущает естественную потребность вернуться в то лоно, из которого когда-то вышла. В противном случае, как полагает историк И.Г. Яковенко, российская цивилизация в нынешнем ее виде закончится. Тогда неизбежна диффузия с Китаем...



В.В. Лапкин: А западное христианство? Каковы его виды на будущее?



А.С. Кончаловский: На мой взгляд, оно неуничтожимо в силу того, что западный человек имеет религиозную свободу. В том числе сегодня говорить «Бог есть», а завтра утверждать, что «Бога нет». Но европейские, гуманистические, если хотите, буржуазные ценности никогда не позволят ему при этом обдирать и разрушать церкви или жечь иконы. Он признает: духовная (более того, поэтическая) часть религии необходима человеку для того, чтобы иметь... не надежду, но хотя бы иллюзию надежды.

?

В.В. Лапкин: То есть Владимир Соловьев заблуждался?

!

А.С. Кончаловский: Так мне кажется. Чехов, по-моему, гораздо ближе к истине – как ни странно, вместе с Эйнштейном. Ибо он тоже утверждал, что никто не знает подлинной правды, и все на свете относительно.

?

Ю.Ю. Черный (ИНИОН РАН): Скажите пожалуйста, Вы думали так с юности, с молодости или эти мысли пришли к Вам в зрелом возрасте?

 **А.С. Кончаловский:** Если я скажу, что думал об этом с рождения, это будет неправдой. В той, советской жизни, где-то в 1960-е годы, пойти в церковь для мыслящего, интеллигентного человека было отдушиной. Это ведь было запрещено: церковь гонима, священники – «придавленные» люди. Потом в этом было нечто романтическое – как у Лизы Калитиной: церковь, свечи, воск и прочее. Когда я уехал за границу, православная церковь напоминала мне о принадлежности к России. Но со временем начинаешь думать: почему мы такие? Влияет ли религия на мораль, на этику? Ощущают ли это влияние те, кто сидит в Кремле? Почему, кстати, воспроизводится это ощущение: «мы» и «они»? Это же удивительно: всегда – «мы/они», всегда раскол на властвующих и подвластных.

В России жить нелегко. Сначала думали, что причина тому – коммунизм. Надеялись, что коммунизм уйдет, русский народ освободится и все будет замечательно. Освободился. И ничего замечательного. За одним, пожалуй, исключением: теперь можно уехать. Это и есть основа патриотизма. Именно возможность уехать из страны рождает патриотизм. Он не появится в закрытой, изолированной от мира стране. Есть и еще кое-что: свои мысли я могу выражать без страха, что меня завтра вызовут в особый отдел. Пока. В нашей стране это немало.

?

Т.Г. Пархалина (ИНИОН РАН): Как у эксперта по проблемам европейской безопасности у меня возник такой комментарий-вопрос. ХХ век доказал: когда мы конфронтствуем с Европой, мы проигрываем. Это подтверждает и XXI столетие. Но с удивительным упорством мы продолжаем идти по этому пути. Сейчас

на первой космической скорости просто летим в объятия Китая. А ведь понятно, что Россия может стать только очень-очень-очень младшим партнером Китая. Союзником же, пусть и младшим, может быть только для Евроатлантики. А нас это не устраивает. Россия сопротивляется всем видам сотрудничества, отвергает европейизацию. Понятно, что это связано с определенной ментальностью. Однако удивительное нежелание понимать свои истинные интересы должно иметь еще какое-то объяснение. Мне кажется, это позиция «элит»; у нас интересы страны не совпадают с интересами правящего класса.

Коррумпированный бюрократический слой, который сейчас оказался во главе государства, не заинтересован в распространении европейской системы ценностей. Правда, их отторжение «верхами», как не соответствующих «элитарным» интересам, традиционно. Когда Вы говорили, что Петр европеизировал Россию азиатскими, насильтвенными методами, я вспомнила: единственной институцией, которую Петр не захотел посетить в Лондоне, был британский парламент. Он сказал: а мне это не надо. Не понимал значения этого института. А может быть, напротив, хорошо понимал. При всем том, что Вы нам сказали о крестьянском сознании, особой ментальности, специфической роли церкви, есть ли у России шанс? Сможем ли мы осознать в конце концов свои реальные интересы и двигаться в сторону, которая обещает нам будущее, или все предопределено?



А.С. Кончаловский: Русское государство действительно очень последовательно в выборе союзников и противников.

Последние 800 лет русской истории каждый раз, когда наша власть выбирала себе союзника, она выбирала его против Запада. Почему? Именно потому, что Запад требовал «присоединиться» к европейским ценностям. Московское государство добивалось моноцентризма, монолитности и единоверия. А Запад имел агрессивную, экспансионистскую католическую церковь. И русская православная церковь – вполне оправданно – опасалась коварных и изворотливых соперников. Поэтому российская политика и была такой, какой она была. За несколько столетий образ Запада как недремлющего врага был успешно внедрен в русское сознание. Союзников искали на Востоке. Этим объясняется постоянное противостояние Московии и Европы.

Русское сознание двойственно: исторически русский человек противопоставляет себя Европе, но подсознательно хочет быть европейцем. Отсюда желание «их догнать и перегнать». Все естественно: хотим того или нет, мы – часть Европы. Наша культура выросла из недр европейской, точно так же как культуры Греции или Болгарии. Самобытность индийской, китайской, японской и даже мусульманской культур настолько велика, что они могут быть самодостаточными. Они уважают христианство, им интересна Европа. Но они не нуждаются во взаимопроникновении, самоустроиваются самостоятельно, вне христианской традиции.

Феномен российской культуры заключается в том, что при гигантской территории страны, мощнейшем человеческом ресурсе – неиссякаемом источнике талантов, поставляющем всему миру спортсменов, танцов, ученых, музыкантов, она **не может, да и не должна** быть самодостаточной, как индийская или китайская. Как бы мы ни претендовали на «особый путь», преследуя свои экономические и политические интересы, он невозможен. Пора отбросить ложный стыд и признать, что исторически Россия возникла на периферии христианского мира, в глубочайшей провинции Европы. Зачатки европейского мышления, не успев развиться, были искорёжены монголо-татарским нашествием. Эта незавершенность цивилизационного процесса, прерванная другой, пришедшей с Востока архаической цивилизацией, сделала нас неуверенными. Мы и сегодня не знаем, в какую сторону двигаться, боимся признаться в своей отсталости и открыться жестоким «ветрам», которые дуют в современном мире.

Этот-то страх и «диктует» потребность во внешнем враге. Враг, естественно, – на Западе. Десять лет, с 1990 по 2000 г., были исключением: Запад на время перестал вызывать вражду, стал источником надежды. Но массовое сознание, архаическое по преимуществу, оказалось не в состоянии «освоить» свалившуюся на нас свободу. В русской культуре настолько минимизировано личностное начало, что условия свободы не удалось использовать для развития личной инициативы, подъема мелкого и среднего предпринимательства. Откуда было взяться собственнику в «добуржуазном» русском мире, испокон веков лишенном института собственности? Только для самых инициативных и не связанных никакими ограничителями (прежде всего моральными) людей открылась головокружительная возможность присвоить колоссаль-

ные средства – при полной пассивности нищающих масс. За десять лет реформ страна оказалась на грани полного краха.

В.В. Путин первые четыре года собирал разваливавшийся на лету «самолет». Тогда я очень верил в то, что он пошел по правильному пути. Но последующие события показали, что вектор развития быстро сбился, стрелки компаса заметались, потеряв верное направление. Возникает вопрос: Путин развалил Россию или Россия «развалила» Путина? В России очень многие, прежде всего оппозиция, убеждены, что Россию развалил Путин. Но это не более чем иллюзия, причем очень русская. Она вызвана вечной потребностью экстериоризировать причину неудач вне себя, найти виноватого, сняв с себя личную ответственность.

Петр I создал армию, флот, суды и коллегии – подобие тогдашней европейской государственности, но перебороть особый тип мышления, о котором писал В.О. Ключевский, и создать из русских единий европейский народ ему не удалось. Ясно, что этого не смог сделать и Путин – если, конечно, у него были такие намерения. Признаюсь, я думал, что были. Но Московия у людей в головах; преобразовать этот мощнейший ментальный блок пока никому не удавалось. Поначалу казалось (возможно, такие надежды были и у Путина), что власть способна толкнуть общество в сторону развития частной инициативы при жестком контроле государства. Последующие годы, однако, показали: власть на местах быстро «вспомнила» о традиционных для Руси феодальных привычках и срослась с инициативными людьми, которых отличает криминальное (читай: «феодальное») сознание. В «добуржуазном» обществе единственной формой инициативы может быть только беззаконие.

Общим местом стало утверждение: у нас нет гражданского общества. Это исторически объяснимо. В России зажиточный человек никогда не был буржуа в полном смысле слова, так как всегда зависел от правительства. Читайте Гоголя, вспомните истории Саввы Морозова или Рябушинского. Тогда царь мог разорить любого миллиардера, сейчас Кремль разрешает или не разрешает быть богатым. Ментальность Московии все время побеждает. Причины, по-моему, очевидны. Попытки Петра I европеизировать Россию привели к ее расколу. Его наследники отступили перед необходимостью преодолеть этот раскол между «большим» и «малым» русскими народами. Страх перед решимостью некоторых монархов продолжить европеизацию принимал иногда крайние формы, при-

водя к цареубийству – Петра III, Павла I. Властителей сдерживали разные соображения. Александр I, к примеру, был до крайности религиозен, даже боялся церкви. Это объяснимо – его отец покровительствовал Мальтийскому ордену! Петровская попытка европеизировать Москвию не была всерьез продолжена.

Русский крестьянин, никогда не имевший в собственности земли, так ее и не получил. Но не имея собственности, невозможно обрести буржуазный образ мыслей. На Украине, состоявшей преимущественно не из деревень, а из хуторов, не было «черного передела». А в городах, повторю, действовало «магдебургское право». Это принципиально иная, чем у нас, ситуация. Честно говоря, у меня нет ощущения, что сегодня возможно «перерастание» московской ментальности в европейскую. Точнее, это немыслимо без насилия, без революции в головах. Ведь в Европе индоктринация была жесточайшим процессом, который длился три века. Поэтому, мне кажется, без предательства своего класса, т.е. без предательства интересов элиты, у власти ничего не выйдет. А это возможно только при крайней жизненной необходимости – в критической ситуации или, не дай Бог, в случае большой катастрофы.

?

Л.В. Скворцов (ИНИОН РАН): Андрей Сергеевич, а какую функцию в жизни народа выполняет религия? Это ведь всегда какое-то мировоззрение. Религия создавала картину мира, на основе которой формировались единые мировосприятие, мироощущение. Как Вы полагаете, возможны ли единая картина мира или общая религия для всего человечества? Объединится ли когда-нибудь человечество в этом смысле?

!

А.С. Кончаловский: Знаете, есть замечательное выражение: люди строят между собой стены, и эти стены до Бога не достают. Но многообразие религий ни в коем случае не говорит о том, что неизбежны религиозные конфликты. Ведь единая религия, как я понимаю, нужна для того, чтобы избежать конфликтов.

!

Л.В. Скворцов: Нет, я говорил о единстве человечества. Общая религия, скорее инструмент, технология такой интеграции.



А.С. Кончаловский: Единое человечество – это, на мой взгляд, всегда многообразие. Помните, каким был коммунистический идеал гармоничного человека? Чтобы играл на скрипке, как еврей, а тяжести поднимал, как русский. Это невозможно. Гармония – в многообразии: это когда один играет на скрипке, а другой поднимает тяжести.

А религии неизбытны: они отвечают на главный для человека вопрос. Человек одинок, физиологически одинок. Но один он не выживет – опять же физиологически. Ему нужен сексуальный партнер. То же и в социальном отношении: человек не может выжить, если он не включен в социальные связи. Поскольку, как говорит марксизм, человек есть пересечение социальных связей, без них он не существует. Пошлите человека в космос, снабдите всем необходимым для продления жизни, включая МТВ и даже любовницу, – и он умрет, причем очень быстро. Потому что ему нужны не только друзья, но и враги. Он нуждается в людях, чтобы чувствовать себя включенным в социальные отношения. Для того же, чтобы не быть одиноким в экзистенциальном смысле, человеку нужен Бог. Наука не может избавить его от одиночества. Человеку необходим некий духовный покой – то, что можно назвать смыслом жизни. Без этого он жить не способен. Смысл и дает ему религия.

Самюэль Хантингтон в знаменитой книге «Столкновение цивилизаций», которую очень критиковали, предсказал неизбежность столкновения христианской и мусульманской цивилизаций. Как в воду глядел. В этом конфликте мы пока находимся в нерешительности – не знаем, к кому примкнуть. Вроде бы, христианская по преимуществу страна должна противостоять исламу. В то же время ислам бросает вызов «неистинным» христианам, нашим вечным соперникам. Нужно выбрать сторону. Выбор небольшой: либо раствориться в мусульманской цивилизации, либо стать европейцами.

Философ П.Б. Струве утверждал, что цивилизация определяется продуктивностью индивидуума. Сейчас продуктивность российского работника медленно сползает, производство хиреет, умы бегут. Мы неизбежно окажемся перед необходимостью что-то делать, чтобы выжить. По-моему, нужно осознать, что смирение – самая страшная сила, признать: да, ребята, извините, мы слегка опоздали – лет так на 500. И начать учиться – вместо того, чтобы учить. Тут нам в помощь мог бы быть какой-нибудь глобальный проект – вроде скоростной железной дороги от Португалии до Ар-

гентины через всю Россию, сквозь Сибирь, с туннелем под Берингом (американцы такой тоннель уже рассчитали). И давайте строить такую планетарную магистраль, которая объединит все белые христианские народы одной экономической связью. Возможно, добьемся и конвергенции идеологий.

! **А.Л. Юрганов (РГГУ):** Вы мне представлялись таким авторитетным и интересным источником, который многое открывает в современной жизни. Чрезвычайно любопытна Ваша семья: два брата, одна кровь, но при этом совершенно разные, противоположные даже. Когда мы говорили о существовании в нашей культуре глубокого раскола, то обращались к послепетровским временам. Мне кажется, Ваша семья дает пример более глубокого, сложного, более многоаспектного раскола. Такое полное, принципиальное несовпадение у людей примерно одного общественного положения – это, наверное, и есть современная Россия. Я следил за Вашиими выступлениями, в том числе по поводу событий на Болотной и т. д. Могу с Вами согласиться. Вообще-то я не большой поклонник семьи Михалковых, но мне всегда чрезвычайно интересно то, что Вы говорите. И все, что я услышал здесь, было интересно. Благодарю Вас за это.



А.С. Кончаловский: Сам факт, что к семье Михалковых есть некое «отношение», – это уже много. Потому что есть масса семей, к которым никакого «отношения» нет. Да, так получилось, что моя семья впитала в себя несколько поколений разных (в том числе противоположных) талантов, способностей. Что касается нашего «принципиального несовпадения» с Никитой Сергеевичем. Во время Гражданской войны, других исторических событий люди в России оказывались по разные стороны не только идейных, философских и религиозных баррикад, но просто физически – друг против друга. Это называется братоубийством – Каин и Авель. Поэтому наш случай вовсе не трагический.

Никита Сергеевич – человек эмоциональный, глубоко русский: предпочитает не сомневаться, а по-настоящему верить. Он мне так и говорит: ты не сомневайся, верь – и все будет хорошо. Лет сорок назад он прочитал Ивана Ильина, да так и остался с ним, став его адептом. Я – более сомневающаяся обезьяна. Мне от любопытства хочется, слезши с философского дерева, отправиться в

пампасы, хотя я и понимаю, что это небезопасно. И хорошо, и слава Богу, что мы с братом разные. Никита – русский человек «из Москвы». А я – «из Петербурга».



Л.В. Скворцов: У меня еще вопрос – в продолжение предыдущего. Вы противопоставляли Москвию Западу. Но если мы внимательно посмотрим на историю Европы, то увидим «Московию» и там. Варфоломеевская ночь, инквизиция, охота на ведьм – нетерпимость к религиозному инакомыслию на Западе была не менее, а подчас и более жестокой, чем в России. Ваш анализ, как мне кажется, страдает определенной односторонностью. Я не настаиваю на своей точке зрения, но все-таки скорректировал бы Вашу позицию. И на Западе сложные отношения со свободой. Это факт.

И следующая «площадка», с которой можно корректировать Вашу модель. Для чего нужна религия, какую социальную функцию она выполняет? Философы еще с античности утверждали: человек не может чувствовать себя счастливым; его существование конечно, его главное экзистенциальное ощущение – переживание этого своего несчастья. Но с несчастным, страдающим, одиноким (Вы об этом говорили) человеком просто невозможно строить цивилизацию. Он не станет работать – будет страдать и метаться, искаль что-то такое, что удержало бы его в этом мире. Или уйдет из жизни, не найдя ей оправдания. В этом проблема. Культура всегда строила миры, которые позволяли «нормализовать» человека, сделать его созидателем. Функция религии в этом смысле всегда и везде одна и та же. Поэтому говорить, как Хантингтон, о полной противоположности религий не совсем точно.

Задача религии – спасение: человечества, жизни и т.д. Она общая для всех религий, здесь они могут взаимодействовать. С этой точки зрения возможно взглянуть и на нашу историю. Отчего такой драматизм, такое преследование инакомыслия? Ответ ясен: либо вы следуете каким-то общим правилам – и это путь спасения, либо вы не спасаетесь. На сомнениях цивилизацию не построишь. Народные сомнения нельзя интегрировать, организовать. Пока человек ищет истину, он мечется, сомневается – и ничего не делает. Если он ее нашел, начинается работа. Рациональность веры – в том, что с ее помощью народ организуется на цивилизационное строительство. Это своего рода технология созидания.



А.С. Кончаловский: Вот очень интересный вопрос: какую роль религия играет в жизни человечества и в разных культурах. Вы начали с того, что и в Европе были нетерпимость, несвобода. Абсолютно согласен. В Средние века в Европе, как и на Руси, человеческая жизнь ценилась очень низко. Тогда можно было убивать и не быть за это наказанным. Но в Европе по каким-то причинам запретили убийство раба, а потом отменили рабство не в XVI и не в XIX в., а в XII. В XIII в. уже возникла Великая хартия вольностей. Религия или какие-то другие обстоятельства, скорее всего связанные с религией, порождали у них и у нас разные формы самоорганизации, разные социальные устройства. Вот что интересно.

Безусловно, Средние века были жестокими. Но есть одно «но». Инквизиция – это жестокость, идущая от церковной власти. В России жестокость всегда шла от власти светской. Только от нее. Церковная власть в Европе пыталась подчинить себе светскую. Шла постоянная война между церковью и цезарем, в которой выигрывала то одна сторона, то другая. Однако со временем Ватикан перестал претендовать на политическую власть, отделил себя от власти. Именно поэтому в недавние времена польская церковь встала на сторону «Солидарности» против государства. А наша постперестроичная церковь, как только получила свободу, стала поддерживать власть. Надо понимать, что институт церкви – не религия; это организация, состоящая из людей. Они принадлежат той или иной культуре со всеми ее достоинствами и недостатками, т.е. с тем, что мы называем национальными особенностями, не пытаясь разобраться в них по существу.

Интересно, что из буддизма, например, выросли колоссальные цивилизации, которые сейчас развиваются чрезвычайно активно, – как и Китай с его компартией и конфуцианским миропониманием. Это доказывает: темпы экономического развития в какой-то степени зависят от того, как человек понимает свою роль в обществе. Разные конфессии, как мне кажется, накладывают различные обязательства на индивидуума. Религия есть отношения между человеком и Богом. И в разных религиозных системах они складываются по-разному. Мусульманин очень педантичен в соблюдении обрядов: молитва шесть раз в день, омовение всех частей тела, прежде чем приступить к трапезе, и т.д. Но если Аллаха изобразили карикатурно, мусульманин будет бегать за осквернителем, чтобы отрезать ему уши. А вот протестанту это глубоко безразлично –

у него иные отношения с Богом. Поэтому ошибочно думать, что все религии гомогенны. Нет, они моделируют разные формы поведения, настраивают на разное мировосприятие.

Вот, африканские религиозные культуры тоже довольно устойчивы и влиятельны, но почему-то не дают оснований надеяться на скорое возникновение в Африке цивилизованных государств. Мы предпочитаем об этом стыдливо молчать, чтобы избежать политических некорректностей. А один африканский культуролог выразился очень точно: у нас в Африке одна проблема – hardware демократический, а вот software авторитарный. И в России так же: хардвер демократический (выборы, верховные советы, дума, сенаторы, конституция), а софтвэр-то все равно средневековый.

Существует биологический геном. Я предлагаю выделить еще и культурный геном. Он определяет все поведение человека той или иной культуры. Нет понятия «человек и закон» – это абстракция. Есть японец и закон. Поляк и закон. Еврей и закон. Закон и Бог – в некотором смысле одно и то же. После Бога человек стал контролировать и сдерживать закон. Поэтому «русский человек и закон» – это тема «русский человек и Бог». Мы боимся тронуть эту тему, отделяемся формулировкой «национальная специфика». Но пока не разберем геном русской культуры по кирпичику, не поймем, что нам мешает быть цивилизованным гражданским обществом. Лоуренс Харрисон рассказывал о приеме у Д.А. Медведева. Харрисон скромно (а он – такой старый еврей) говорит: знаете, господин президент, было бы неплохо, если бы ваши ученыe всерьез занялись изучением русского национального «комплекса», типологией русского характера. Медведев немедленно среагировал: мы не позволим менять русскую самобытность. И Харрисон понял, что к этому разговору (тогдашний) президент не готов. Нас держит эта русская самобытность, страх, что кто-то отнимет у нас нашу «русскость». А по мне, хоть бы избавиться от нее! Петр Романов сильно поприжал эту «русскость» – то отжившее и архаичное, что мешает нашему вхождению в современный мир, нашей европейской интеграции. Но преодолеть ее так и не смог.



Ю.С. Пивоваров: Когда мы с Вами познакомились и пожали друг другу руки, я даже испугался, какая сильная у вас рука. Сильный Вы человек. И Ваша концепция России, если так можно выразиться, сильна и, на первый взгляд, непротиворечива. По-Ва-

шему, русская история оказалась плохой, неудачной. Но неудачна она потому, что Вы ее так интерпретируете.

! **А.С. Кончаловский:** Конечно, она неудачна. Я как-то даже сказал в Казани: лучше бы вы сделали нас мусульманами – больше было бы порядка. Не получилось. Да, плохие. Но какие есть.



Ю.С. Пивоваров: Что было хорошего в русской истории по Кончаловскому? Появление тех «белых» русских, которые в XIX и немного в XX в. сочиняли стихи и прозу, писали музыку... Получается, что за тысячу лет эта цивилизация только одно и произвела: культуру «белого» европеизированного меньшинства. А сейчас, как Вы утверждаете, Московия все-таки победила. Кончаловских в стране просто физически мало. На что же остается надеяться? На какой-то коллапс, результатом которого станет либеральная диктатура, полицейщина с либеральным лицом? Но ведь это, по существу, повторение того, что говорили люди, которых Вы не любите – большевики. Они примерно так же интерпретировали русскую историю. Может быть, были какие-то другие акценты, но логика, интенция, цель–средства.... Все эти ленины, троцкие хотели переделать Россию, были своего рода организаторами «счастья не по-русски». Ничего не получилось.

Вот, интересная вещь. Мы – Институт научной информации по общественным наукам. Мы, ученые-обществоведы, работаем, изучаем. А тут приходит умный, образованный человек и говорит: нет, ребята, не нужно ничего этого. Необходим новый Петр. Почему? Если уж говорить всерьез, ничего хорошего для России этот «медный всадник» не сделал. Ведь что он натворил? Установил дичайшее крепостное право. Разрушил единственный уцелевший за XVII в. демократический институт – выборы патриарха. Именно с петровских времен русская православная церковь, как говорил Достоевский, находится в состоянии паралича. А все эти «птенцы гнезда Петрова»? По сравнению с более-менее уточненной русской допетровской аристократией это же бандиты. Разве можно сравнить окружение Петра, например, с князем В. Голицыным – по существу, главой «кабинета» Софьи Алексеевны? Нет, не повезло нам с Петром. Он и был квинтэссенцией «русскости», дикости, неевропейскости. И его наследники как раз отыгryвали то, что он

наделал в русской истории. Обречены были на дурное наследие, но переделывали его.

Понимаете, какая штука. Нам с Вами уже не переиграть историю. Не переписать ее – даже вместе с А.А. Тарковским или с кем-то еще. Она такая, какая есть. Не отменить нам и мифологию истории. Мифы навсегда останутся в основе национальной культуры. Но то же самое у французов, итальянцев и проч. В фундаменте французской культуры сохраняются мифы о Жанне д'Арк, Генрихе IV, Людовике XIV – Короле-Солнце. Мы всегда будем представлять М.И. Кутузова добрым дедушкой по Льву Толстому, хотя он был совершенно другим человеком. И т.д., и т.п.

История наша совсем не такая, как бы сказать, печальная, безнадежная, как может показаться. И крестьянское сознание – не монолит; там были разные типы. И не было оно настолько уж тупиковым, не стояло непреодолимой преградой на пути развития. И русская община, о которой Вы говорили, – очень сложное, многомерное образование. На рубеже XIX–XX вв. она здорово эволюционировала. Меня вполне убеждают такие люди, как А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, многие эсеры, которые именно с эволюцией общины, с кооперацией, с прогрессом производительных сил связывали будущее русской социальности. Ее задушили, она проиграла историческое соревнование. Но такой шанс был, он отчасти реализовался. Значит, в России существует потенциал развития – это не мертвая социальная среда. И ведь прав Ясин: большинство людей живет сейчас в городах. А здесь жизнь строится по иному социальному расписанию, в ином (не природном) ритме. Это другой тип существования – раскрепощающий.

Я не верю в чудо. Но думаю, что русская история выработала и постепенно выработает основания гражданственности и того, что Вы называете полисентризмом. Страна в XX в. сильно изменилась. Это страна поголовно грамотных, безусловно, информированных людей, живущих пусть и в плохих, пусть в советских, но в городах. Сейчас для многих из этих людей открыта граница, доступен мир. Не думаю, что груз Московии остановит наше движение в историческом пространстве.

Мы пережили чудовищный, суициdalный век, понимаете? Сейчас Россия выходит из того ужаса, который он принес. Помоему, оно скорее выздоравливает, чем пытается самоуничтожиться. И в отличие от всех тех стран, с которыми Вы нас сравнивали, –

от Африки, скажем, – у нас есть великая культура и великий язык. Культура и язык мирового уровня – наш вклад в мировую культуру. В этом наша надежда.

?
А.С. Кончаловский: Вы послепетровскую культуру, созданную «белым русским миром», имеете в виду?

 **Ю.С. Пивоваров:** Не только. Безусловно, побочным следствием реформ Петра, хотя он и не думал об этом, явилось проникновение европейского Просвещения. Но пришла Европа в Россию раньше, в XVII столетии – еще в Смуту, затем при Михаиле, при Алексее. При брате Петра, Федоре Алексеевиче, существовал запрет являться ко двору в польском платье. Значит, ходили уже в польском, т.е. европейском, платье. Ощущались тяготение к Европе, нужда в ней. Да и заимствования были – новшества, менявшие облик России. Соборное уложение 1649 г., например, «сделано» на основе юридической «техники», взятой в Речи Посполитой, в Польше. И т. д.

Вы построили очень умную и удобную схему. Но она не соответствует реальности. Не так все было. Или не совсем так. Я не думаю, что Россия – дикая окраина христианского мира. У нее свои – и очень сложные – исходные условия. Это цивилизация, которая строилась вне влияния Античности. Это цивилизация, возникшая в северных широтах – первая попытка человечества построить культуру на севере, в тяжелейших климатических условиях.

!
А.С. Кончаловский: У эстонцев схожие условия, а результат принципиально другой.

 **Ю.С. Пивоваров:** В России климат несколько иной, чем в Скандинавии. У эстонцев он мягче, страна несравненно компактнее, развивалась в ареале европейской культуры. Я хочу сказать, что не все так грустно. Вы знаете, меня очень греют цифры – данные социологических опросов. Они показывают, что около 20% людей в России хотят жить в условиях рыночной экономики, правового государства, ездить на Запад, учить иностранные языки... Такого никогда раньше не было – даже в начале блистательного XIX в. Тогда таких людей было всего несколько процентов. Нынешние 20 – это значительный плацдарм для прорыва. Я не сомневаюсь, что в

ближайшие годы в России начнутся очень серьезные изменения, которые будут носить демократический характер. «Класс 20%» готов влиять, действовать, самоорганизовываться, отвечать за себя. Это то, чего Вы хотите, ждете, на что мы надеемся. Вот что я Вам скажу.

 **А.С. Кончаловский:** Не могу удержаться и не ответить. Во-первых. То, что люди живут в городах, вовсе не означает, что они – буржуа. «Буржуа» – от слова «бург», город, да? С эпохи Возрождения действовала веберовская формула: «Воздух города делает человека свободным». В городе человек начинает понимать, что он – часть общества. Так начинаются республика, вече. Так возникает право голоса: я плачу налоги и имею право влиять на решения властей.

Но города в таком смысле в России не было. Горожане в большинстве своем не принимали и не принимают участия в управлении обществом. Крестьянин, приезжающий в город, становится не горожанином, а люмпеном. Почему? В деревне у человека нет анонимной ответственности. Все знают, кто гулящая баба и кто тать. В городе она возникает, и в этих условиях сразу проявляется «детский», т.е. не повзрослевший, криминальный характер крестьянского сознания.

В городском обществе крестьянин превращается в люмпена. Ведь он по-прежнему «исповедует» архаические ценности. У него чрезвычайно узкий круг доверия – только семья. Символическое слово – семья, да? У нас очень часто человеком движет зависть, отсутствует всякая коопeração с соседями. Примеров тому множество. Вспомните наших таксистов, которые во время катастроф поднимают цену в десять раз. И в Челябинске после падения метеорита¹ взлетели цены на стекла. Причина очевидна: можно за счет ближнего нажиться. Система ценностей, на мой взгляд, если и изменилась, то очень незначительно.

В Ваших словах я чувствую фатализм. Вы сказали: историю не переиграть. Это так. Я и не предлагаю ее переигрывать, историю надо просто изучать.

¹ 15 февраля 2013 г. в окрестностях Челябинска взорвался метеорит. Из-за ударной волны пострадали 1613 человек (большинство – от выбитых оконных стекол), были повреждены жилые дома и муниципальные здания.

Далее. Я вовсе не пессимист. Вы говорите, коллапс – не выход для культуры. Возможно. Но коллапс не значит смерть. Когда разваливалась Римская империя, никто не бегал с ужасом по улицам с криками: «Катастрофа!» Империя закатывалась, но возникли же катакомбы, где копошились христиане. Христианство медленно просачивалось наверх. Так что под обломками империи погибли далеко не все...

На месте одной цивилизации неизбежно возникает другая. А вот какая? Я не утверждаю, что у нас вообще нет пути, нет перспективы. Я задаюсь вопросом: появляется ли сейчас новый тип русского европейца? Мой ответ: да, безусловно, появляется. Сегодняшний информационный мир, скорость передачи информации, открытость всех информационных каналов и т.д. рождают новое самосознание. В Интернете, конечно, есть свои идиоты, занятые видеограмми, но множество людей, погружаясь в это пространство, вырабатывают новые ценности, меняются, европеизируются.

Что касается «бяки» Петра I, то он действительно «транул» по церкви. Но иначе его бы задушили, убили его же близкие. Он удалил церковь от власти, превратил ее в инструмент государства. Конечно, церковь не могла его за это по головке погладить. Естественно, в церковной среде возникло сопротивление, все петровское отторгалось.

Теперь о большевиках. У Петра были приблизительно те же иллюзии, что и у них, – тут я с Вами согласен. В этом смысле он действительно первый большевик. Большевики были вооружены марксизмом, который рассматривал человека не как пересечение культурных связей, а как конгломерат исключительно экономических отношений. Марксизм может породить английский коммунизм (там коммунисты до сих пор сидят с трубками у камина) или Пол Пота в Камбодже, уничтожившего миллионы. Русский марксизм был сродни не английскому, а скорее камбоджийскому. У большевиков с Пол Потом одна культурная установка: кто не с нами – тот против нас.

Сейчас мы вооружены тем, что называется культурологией, нацеленной на выявление причинно-следственных связей, анализ происхождения культурных ценностей. Вот, Вы говорите: мы создали великую цивилизацию. Но, повторю, питается она объедками с европейского стола. Другой вариант – мусульманская культура; если двигаться дальше на Восток, там уже господствует конфуци-

анская этика. Это не наш путь. Как только всерьез и надолго сядем к европейскому столу, все у нас будет по-другому.

• **Ю.С. Пивоваров:** Достоевский, Толстой, Серебряный век – разве это «объедки»?

 **А.С. Кончаловский:** Достоевский – это европейская концепция диалектики, абсолютное сомнение в ценностях. Он породил Ницше. На мой взгляд, Достоевский не был православным. Истовым христианином – да, но не православным. Православный художник не в состоянии обосновать относительность добра и прелесть зла. А Достоевский питался именно такой философией...

Я хочу закончить чудным анекдотом, который всех нас примирит. О шести евреях, изменивших мир. Моисей сказал, что все оттуда (указывает на небеса), Соломон сказал: все отсюда (показывает на голову), Христос сказал: все отсюда (показывает на сердце), Маркс сказал: все отсюда (показывает на желудок), Фрейд сказал: все отсюда (показывает на причинное место). А Эйнштейн сказал: братцы, все на свете относительно...

Ю.С. Пивоваров: Вот это удачный финал. Благодарю вас, Андрей Сергеевич, коллеги. Наш семинар завершен.

ЛОВУШКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ТУПИКА

(Семинар 18 июня 2013 г., ИНИОН РАН)

И.И. Глебова (ИНИОН РАН): Инициатива в проведении этого семинара принадлежит издательству «Прогресс-Традиция», его главе – Борису Васильевичу Орешину. Он и пригласил сегодняшнего докладчика – Игоря Григорьевича Яковенко, за что мы ему благодарны.

 **И.Г. Яковенко:** Коллеги, тема моего доклада – феномен исторического тупика. Речь пойдет о природе этого явления и тех проблемах, с которыми сталкивается общество, оказавшееся в тупике. Ситуацию исторического тупика можно рассматривать в разных аспектах. Меня интересует культура. Я вижу и раскрываю эту проблематику как проблематику культуры.

Что представляет собой этот феномен? Исторический тупик – ситуация, в которой дальнейшее существование социокультурного организма (проще говоря, исходной культуры) в устойчивых параметрах невозможно. Эти параметры, отвечающие базовым характеристикам целого, приходят в неразрешимый конфликт с вмещающим пространством (социальным, экономическим, geopolитическим, технологическим и т.д.). Иными словами, исторический тупик вырастает из критической неадекватности социокультурного целого реальности.

Общество при этом оказывается не в состоянии осознать реальность во всем объеме. Дело в том, что в ситуации тупика реальность некоторым (непостижимым, неприемлемым) образом меняется, причем меняется кардинально. Привычные (естественные, «правильные», опирающиеся на сакральный прецедент) решения возникающих проблем не срабатывают. Теоретически возможность

выхода из тупика располагается за рамками системного качества. Однако социокультурная целостность по разным причинам (ценностным, психологическим, ментальным) отказывается – либо оказывается неспособной, что часто одно и то же, – меняться.

При восприятии тупиковой ситуации над нами в значительной мере довлеет схематика просвещенческой мифологии. Есть субъект истории, он осмысливает реальность, проблематизирует ее, находит решения и в этих процессах преобразует себя и окружающий мир. Такая картинка слишком хороша – она не отражает истинной природы человека и общества.

Большие культурные традиции (или локальные цивилизации) представляют собой достаточно жесткую структуру. Между перцепциями человека и его интеллектом располагается еще один контур – врожденная (усвоенная с молоком матери) культура. Она и задает как рутинные, так и творческие аспекты человеческой активности. Архаический и традиционный человек в значительной степени может быть описан как культурный автомат¹. Конечно, люди, наделенные творческим потенциалом, рождают новое. Но векторы творческой активности задаются доминирующей культурой. Любая инновация становится фактом общественной жизни лишь после того, как пройдет фильтры культуры – будет признана допустимой, представляющей интерес, полезной. В противном случае ее не заметят либо отметят, а автора сожгут на костре.

Человек и врожденная ему культура находятся в сложных субъект-субъектных отношениях. По мере разворачивания всемирно-исторического процесса мера субъектности человека нарастает. Но, во-первых, прирастание происходит чрезвычайно медленно. Во-вторых, история идет через смену локальных цивилизаций. Одна жесткая структура, исчерпавшая возможности развития, разрушается и уступает место следующей. Возникнув в процессе цивилизационного синтеза, она проходит отпущененный ей путь и однажды также сходит с исторической арены.

Всякая культура структурирована определенным образом: включает ядро (базовые ценности, модели переживания/понимания/оценки, базовые алгоритмы действия) и широкое пространство

¹ В том смысле, что познание, переживание и действие в мире разворачиваются для традиционалиста и арханка строго в рамках врожденной культуры. В этом специфика их бытия.

сравнительно периферийных элементов. В ходе исторической эволюции каждая культура переживает разнообразные изменения, трансформации, подвижки. При этом ассимилируются инновации, происходят изменения на периферийных уровнях культуры. Однако ядро сохраняется более или менее неизменным. «Полноценный» исторический тупик связан с тем, что выход из создавшейся ситуации возможен только лишь *на путях разрушения ядра и трансформации системообразующих элементов*.

В этом случае энергия противостояния переменам поднимается до максимальных значений. Культурная традиция продуцирует иррациональный ужас перед сменой парадигмы, демонизирует акторов исторической динамики, вопиет о том, что настали последние времена, и всадники Апокалипсиса топчут родную землю. Выход из тупика требует смены ценностей. Культура диктует: ценности – это наша база. Можно поменять и отбросить все, но главное – сохранить ценности.

Осмысление и проблематизация реальности разворачиваются в рамках зашедшей в тупик культуры, определяются ее органикой. Но эта культура *задает интерпретации и диктует решения, усугубляющие тупик*. Она продуцирует иррациональные переживания и фобии по отношению к альтернативам, создает мифологии, объясняющие причины «напастей», формирует идеологию «возвращения к истокам», разгоняет волну архаизации, эсхатологической истерии и т.д.

Повторю, с точки зрения культуролога, механизм исторического тупика состоит в том, что культура (а значит, и сознание общества, зашедшего в тупик) оказывается неадекватна качественно изменившейся ситуации. «Исходная» культура не рассчитана на новые параметры, не предполагает ответов на новые вызовы, не в состоянии адекватно оценить и осмыслить происходящее, не располагает потенциалом самоизменения, достаточным для разрешения тупиковой ситуации.

Здесь возникает объективное противоречие между культурой как безличной самоорганизующейся сущностью, в силу внутренней логики ориентированной на бесконечное самовоспроизведение, и человеком – носителем этой культуры, законами природы также ориентированного на самовоспроизведение. Сохранение культуры означает обскурацию сообщества носителей обреченной культуры. Либо из этого конфликта рождается творчество, разрушающее ста-

рую структуру, либо носители обретенной модели сходят с исторической арены. Сценарии такого «схождения» весьма разнообразны. В самом простом случае внуки и правнуки этих людей обретают другую идентичность и начинают говорить на других языках.

При этом важно помнить, что речь идет о социокультурном организме как целом. Отдельные члены этого сообщества могут видеть и понимать, что происходит, предлагать адекватные решения. Однако процессы развития целого задаются доминирующим системным качеством. Все определяется не тем, что пишут или предлагают какие-то люди, но тем, что принимает или отвергает общество как целое. С точки зрения культуролога, *исторический тупик – это одна из форм выражения кризиса культуры*.

В условиях тупика органичные для данной культуры решения все больше разбалансируют ситуацию. Известно: ответ палеолитического человека на снижение уровня биологического изобилия окружающей природы состоял в совершенствовании технологий охоты и собирательства. В результате выбивалось все живое и окончательно подрывалась база палеолитического бытия. Точно так же загоняло себя в тупик проигравшее холодную войну позднесоветское общество, давая экстенсивные ответы на интенсивные вызовы. Накапливались горы устаревшей военной техники, деградировали социальная сфера, инфраструктура, сельское хозяйство, формировалась устойчивая продовольственная зависимость от мирового рынка. Для страны, боровшейся за мировое господство, это вело к катастрофе.

История свидетельствует о неспособности обществ, необратимо зашедших в тупик, пойти по единственно возможному пути, который обещает выход, выживание. «Исходная» культура задает движение по пути перехода в историческое небытие. В этом и состоит феномен исторического тупика.

Приведу два примера, иллюстрирующих эту ситуацию.

В высшей степени показательна вакханалия самоубийственного поведения широкого субъектного слоя Речи Посполитой (магнатов и шляхты), завершившаяся утратой суверенитета и разделом страны. Во второй половине XVIII в. Польша переживала глубочайший внутренний кризис. В рамках доминировавшей в польском общественном сознании парадигматики выхода из этого кризиса не существовало. В этой ситуации Австрия, Пруссия и Россия просто-напросто выполнили функцию «санитаров леса».

В контексте падения Речи Посполитой нельзя не назвать «Конституцию 3 мая» 1791 г., принятую усилиями «патриотической партии». Конституция обеспечивала выход польско-литовского государства из исторического тупика. Но дело «патриотов» похоронило национальное предательство значительной части магнатов и шляхты. Феликс Потоцкий и Северин Ржевуский обратились к правительству Екатерины II с просьбой о военной помощи Тарговицкой конфедерации, создаваемой ими для защиты старого, самобытного государственного порядка в Польше и вольностей шляхетских. Помощь конфедерации послужила поводом для военной интервенции России, завершившейся окончательным разделом страны.

Сходным образом развивались события, связанные с Флорентийской униею 1439 г. Уния представляла собой догматический компромисс между православием и католичеством. Такое условие спасения доживавшей последние дни Византийской империи выдигала католическая Европа. Через несколько лет уния была отвергнута и осуждена дружными усилиями иерархов церкви и народа. Верная унии императорская власть осталась в меньшинстве. А в 1453 г. Константинополь пал. При этом 80 тыс. регулярной армии султана Мехмеда II Завоевателя (Фатиха) противостояли 7500 бойцов и около трех тысяч союзников из Европы. Википедия так комментирует «странные» этого соотношения: «Византийцы, враждебно относившиеся к Церковной унии, заключенной их императором, не испытывали желания воевать»¹.

Настроения противников унии лучше всех выразил командающий византийский флотом Лука Нотара, заявивший: «Лучше увидеть в городе царствующей турецкую чалму, чем латинскую тиару». Желание мега друнгариуса (адмирала) сбылось. Он, правда, об этом пожалел: на глазах Луки Нотара был казнен сын, потом эта участь постигла и его самого.

Далее произошло неизбежное: миллионы внуков и правнуоков греков, отстоявших догматическую чистоту православия, перешли в ислам и включились в неминуемый процесс «потуречивания», т.е. этнокультурной ассимиляции. Завоевание турками Малой Азии и других византийских владений поставило местное население (гре-

¹ Византийская империя. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Византийская_империя.

ков, армян и устойчиво эллинизированное автохтонное население) в сложное положение. Режим налогообложения, правовой статус, перспективы социальной мобильности подвигали людей к переходу в ислам. Мусульманин был человеком первого сорта, христианин – второго.

Процесс исламизации разворачивался постепенно. Новые мусульмане («ени мусульмонлар») не были прочны в вере: пытались сохранять старые верования, праздновали христианские праздники, восставали, возвращались к христианской общине. Но историческая логика неумолима – постепенно происходили тюркизация и исламизация новообращенных. Смешанные браки закрепляли новую идентичность. «Смена ментальности» происходила на фоне рутинной борьбы за выживание.

В ситуации тупика возникают «блокировки», препятствующие качественному преобразованию «исходной» культуры. Назову их.

Прежде всего это *историческая инерция*, понимаемая в самом широком смысле. Инерция успешных в прошлом моделей поведения и решений. Инерция сложившейся органики. Человек с рождения центрируется на ландшафтно-климатических характеристиках окружающей среды. Как указывают специалисты, охотники – предки народов Севера – исходно жили на территориях с умеренным климатом, с изменением среды двинулись за стадами на север, пока не дошли до самых крайних широт. Формально-логически существовала альтернатива такой стратегии – включиться в неолитическую революцию. В этом случае можно было остаться в поясе оптимального климата. Но такое поведение было бы качественным скачком. Народы Севера предпочли остаться охотниками и собирателями.

Затем это *гносеологический барьер*. Актуальные культуры, кругозор, система мышления (принципы, процедуры) блокируют понимание реальности. В результате возникают заведомо неадекватные решения проблемы исторического тупика. Классический пример ложного понимания стадиально иной культурной реальности – культ карго. Американские археологи нашли в Центральной Америке следы человеческих жертвоприношений, принадлежащие эпохе покорения ацтекской империи Эрнаном Кортесом. В человеческих жертвоприношениях видят крайнее средство, к которому прибегали в чрезвычайных ситуациях. Историки связывают их с последней попыткой спасения империи. Как мы знаем, жертвопри-

ношения ацтекам не помогли. Здесь важно понять, что культура ацтеков (стадия исторического развития этого общества) в принципе не могла предложить каких-либо других средств. Иными словами, исторический вызов не получил требуемого ответа. Не было культурных ресурсов, необходимых для адекватной интерпретации происходящего и поиска эффективных решений.

Можно приводить примеры менее «дистантные». Скажем, советская элита (по причинам ценностно-идеологического, а также общекультурного и гносеологического свойств) не способна была постичь природу рыночного общества. А значит, не могла осознать преимуществ социального строя, конституированного правовой демократией и экономической свободой. В этом случае тип мышления и видение ситуации задавала большая идеологическая традиция. Поэтому в любом обществе для решения задач развития необходимо тормозить накал идеологического неистовства. Следует также создавать и поддерживать традицию духовной автономии элиты (интеллектуальной, культурной, политической, элиты бизнеса).

Далее: всякая культура как самоорганизующаяся целостность насколько возможно тормозит и затрудняет постижение альтернативы. Понимание *успешной альтернативы* разрушает актуальную систему ценностей. «Своя» культура, как правило, воспринимается как единственно возможная, как космический порядок вещей. Традиционный индус не может представить себе мир, в котором не существует каст. Для него христиане или мусульмане – это еще одна каста. Россиянин, выросший в мире традиционной коррупции, искренне не верит в существование устойчивого порядка вещей, исключающего коррупцию. То же относится к правовой демократии, политической субъектности масс, подсудности власти. «Свой» социальный модус понимается как универсальный, единственno возможный способ бытия.

Поэтому *проблема постижения значимого Иного* занимает в ситуации исторического тупика особое место. Иное невозможно ни понять, ни принять, ни отменить. Зашедшее в тупик общество всегда разрываемо в амбивалентном притяжении-отторжении исторической альтернативы (испытывает к Иному специфическую любовь-ненависть). Оно стремится уничтожить объект противостояния и в то же время завладеть (чудесным образом получить) массой предметов, технологий, удобств, рождаемых в лоне богомерзкого противника.

Помимо ценностного конфликта существует и экзистенциальная дистанция. Локальные цивилизации и большие культурные традиции в некотором смысле суть лейбницевы монады. Они взаимонепостижимы. Иная цивилизация не может быть адекватно отображена в системе «нашой» цивилизации. Для ее адекватного восприятия необходимо выйти во внешнее по отношению к собственной культуре пространство, найти универсальный язык, способный описывать цивилизационные феномены в объективированных характеристиках. Результаты такой работы понятны специалистам-гуманистам, но недоступны «правильным» носителям местной традиции.

Здесь мы сталкиваемся со специфическим парадоксом. Профессионал, которому удалось постичь глубинные основания качественно иной культурной реальности, не может донести это знание до носителей врожденной ему культуры. Решение задачи понимания ведет к выходу из исходного культурного пространства. В актах интеллектуального творчества и интуитивного постижения исследователь способен преодолеть рамки собственной культуры. Но массовый носитель культуры задан достаточно жестко.

Выход из исторического тупика всегда требует выхода за пределы актуальной культуры. Человек равен и одновременно не равен врожденной культуре. Задан ею – и способен выходить за ее рамки. Однако диапазон такой свободы колеблется от эпохи (фазы развития) к эпохе и определяется спецификой цивилизации. В ситуации тупика мера свободы, диктуемая культурой, недостаточна для решения проблемы.

Попутно выскажусь по поводу одной элитной иллюзии, присущей обществам эпохи модерна. Элита авторитарных обществ накачивает пропаганду, дезинформирует и дезориентирует население, полагая, что она-то все понимает и в узком кругу (среди «своих») называет вещи своими именами. Это не так. Социокультурный организм целостен. Иррациональные идеи, фобии, примитивные схемы, пустые мечтания проникают «вверх» по каналам социальной коммуникации и влияют на ЛПР (лиц, принимающих решения). Задают их сознание не менее императивно. В результате люди «наверху» начинают верить в байки для простонародья.

Исторический тупик характеризуется кризисом или деградацией интеллектуальной элиты. Деградирующая элита перестает выполнять одну из важнейших своих функций – критики основа-

ний культуры, рефлексии доминирующих представлений, верификации расхожих мифов и заблуждений. Элита постоянно указывает на философские, нравственные и логические границы истин, на которых базируется социокультурное целое. Функция сомнения жизненно необходима любому вменяемому обществу. Исторический тупик достаточно часто (хотя и необязательно) разворачивается на фоне побеждающего тупого самодовольства.

Роль элиты двойственна и внутренне противоречива. С одной стороны, она призвана сохранять системообразующие основания культуры, рефлексировать и систематизировать их, формировать автомодель. С другой – выходить за границы этого системного качества. Развитие (как и адекватное самопонимание) в принципе невозможны без импульса к выходу за грань. Все это – прямые функции элиты.

В эпохи кризиса случается, что наиболее адекватная ситуации часть элиты предлагает успешное решение, выходящее, однако, за рамки системного качества. Если такое решение побеждает, можно говорить о том, что кризис снят. Но настоящий кризис в том и состоит, что решения, выходящие за рамки качественных характеристик социокультурного целого, отвергаются. «Конституцию 3 мая» Речи Посполитой я уже упоминал. Можно вспомнить о том, что интеллектуалы поздней Византии предлагали правителю снять утративший всякий смысл титул «императора римлян» и объявить себя королем греков. Естественно, эти предложения отвергались. Византия проделала путь из политического ничтожества в небытие в ореоле сладостных воспоминаний и вселенских притязаний.

В предшествующие историческому тупику эпохи складываются типологически сходные ситуации. Элита разгромлена, загнана под лавку, разобщена и расколота. Механизмы рекрутования элитного слоя деградировали. Общество утратило способность формирования моральных и интеллектуальных авторитетов. А ведь элита представляет собой *специфический механизм, обеспечивающий адекватность исторического субъекта*. Независимость суждений и гарантия того, что эти суждения будут донесены до аудитории, – критерий социального здоровья общества.

Вспомним: в позднем СССР часть интеллектуальной элиты декламировала провластные мантры, часть самоустранилась и замкнула уста, а часть говорила вслух об общественных проблемах. Именно эта, последняя группа элитного слоя выполняла генераль-

ную функцию элиты и оправдывала ее существование. Из этого не следует, что элита обязана критиковать, отвергать и сомневаться при всех обстоятельствах. Из этого следует, что утверждение идей и ценностей (в том числе базовых), а также их критика и отрицание должны разворачиваться в рамках корректной и открытой дискуссии. Это обязательный и легитимный элемент жизни цивилизованного общества.

Сплошь и рядом ситуация исторического тупика связана с тем, что массовый традиционный субъект оказывается неадекватен резко изменившейся технологической среде. Речь идет о всех технологиях – социальных, политических, культурных, экономических, промышленных, информационных. Дело в том, что качественные характеристики технологического пространства и качественные характеристики человека, оперирующего в этом пространстве, находятся в жесткой диалектической взаимосвязи.

Здесь мы касаемся темы, заблокированной для осмысления по ценностным основаниям. Идеология прогресса, система гуманистических ценностей, либеральное сознание, политкорректность, постколониальная критика и другие идеиные феномены, формирующие современный интеллектуальный климат, не способствуют пониманию и формулированию некоторых истин. Однако технологические революции всегда требуют качественно иного субъекта, адекватного новому технологическому пространству. Стадиальные характеристики технологий и стадиальные характеристики субъекта технологического пространства жестко взаимоувязаны.

Мы редко задумываемся над этим. Между тем история XIX в. свидетельствует – эпоха пара не сопрягается с жесткими формами социальной несвободы. Там, где возникают железные дороги и фабрики, рушатся крепостное право (Россия) и рабовладение (США). Человек, конституированный сословным сознанием, не сопрягается с индустриальным рыночным обществом. Об этом свидетельствуют не только революции XIX в. в Европе, но и Февральская 1917 г. в России. Ошибочно полагать, что палеолитического охотника и собирателя можно «переучить» на земледельца или скотовода. Такие преобразования – чрезвычайно мучительный процесс, в ходе которого происходят вымирание и маргинализация массы зашедших в тупик людей. По существу, вымирает человек вчерашний – вместо него рождается человек сегодняшний, отличающийся от него стадиально и экзистенциально ему чуждый.

Варвар (человек военной демократии, житель догосударственной окраины) массово вписывается в государство и цивилизацию в рамках одного из самых жестоких социальных институтов, созданных человечеством, – рабовладения. Необходимо держать поколения в ситуации насилия, поставить человека на грань выживания – только тогда из стадиально вчерашних людей в ходе мучительной мутации сформируется человеческий материал, адекватный следующей стадии исторического развития. При этом массы людей гибнут, оказываются не в состоянии вписаться в противостоятельный для них мир.

Такова трагедия исторического бытия, о которой мы стараемся не задумываться. Современная система образования, информационное пространство, институты просвещения могут минимизировать утраты, но не способны снять описанное противоречие. Оно принципиально неразрешимо. Новое отрицает и хоронит старое. А старое хочет жить и стремится разрушить это новое.

Завершая общие размышления и возвращаясь к нашей теме, скажу, что *выход из исторического тупика часто требует смены исторического субъекта*. Сам субъект на такие трансформации заведомо не способен. Их может задавать элита, отчужденная от массы носителей идентичности и осознающая веление исторического императива. Смена человеческого типа – полноценная историческая трагедия: умирание универсума уходящей культуры, гибель массы людей, маргинализация всех тех, кто не смог вписаться в «новый яростный мир».

Только на фоне этой трагедии подрываются механизмы воспроизведения исчерпавшей себя традиции, а дети и внуки отрекаются от космоса своих пращуров и присоединяются к победившей исторической тенденции. Догоняющая модернизация в глубоко традиционных обществах в значительной мере решает задачи смены исторического субъекта.

В заключение повторю принципиально важные положения, раскрывающие природу исторического тупика.

Ключ к проблеме исторических тупиков лежит в культуре.

Культура задает процедуру имназования: диктует язык описания, формирует дискурс и тем самым детерминирует целостный акт называния/переживания/оценки.

Культура определяет параметры сфер актуально значимого, заслуживающего внимания (фигура) и профанно-второстепенного, незначимого, табуированного к осмыслению (фон).

Культура задает логические механизмы проблематизации. Ни одна проблема не самоочевидна. Статус проблемы санкционируется культурой. Культура задает и интерпретацию проблемы: в чем она состоит, каковы «правильные» (естественные, санкционированные культурой) пути ее решения. Культура задает общий характер технологии решения проблем; они органичны для нее, определены ее природой.

Тупик – историческая ситуация, в которой культура критически утратила адекватность вмещающему контексту. А потому она препятствует выделению подлинно актуального, блокирует адекватные называние/переживание/оценку, предлагает ложную проблематизацию и диктует катастрофические по своим последствиям решения.

Можно задаться вопросом универсального порядка: почему культура однажды утрачивает адекватность? Самый общий ответ: все сущности конечны, ограничены во времени и пространстве. Условием существования живой природы является конечность жизни отдельных особей, а также таксонов¹ любого ранга, формирующих биоценоз планеты. Социокультурные целостности подчиняются тем же закономерностям.

Культуры (локальные цивилизации), так же как и народы, рождаются, стареют и умирают. Механизмы схождения с исторической арены могут быть прописаны в разных логиках. Я исхожу из общеэволюционных представлений. Любая устойчивая целостность конечна – пределом ее саморазвития являются границы системного качества. Внешний по отношению к данной целостности контекст радикально изменяется, требуя и от нее соответствующих изменений. На это данная социокультурная целостность не способна в принципе. Собственно, я и пытался показать, как срабатывает эта закономерность.

Понятно, что исчерпанность исходной конфигурации может быть (и бывает) обусловлена и внутренними обстоятельствами. Культура ведь конечна не только в силу того, что окружающий ее

¹ Таксон (лат.: taxare – оценивать) – группа объектов, предметов, объединяемых по каким-либо признакам, свойствам в одну категорию.

мир постоянно и неуклонно изменяется. Природа ее собственного бытия также с необходимостью предполагает завершение жизненного цикла.

Рано или поздно пространство смыслов, заданное исходной структурой, исчерпывается. Сфера культурного творчества мелеет. Возможность создавать новые смыслы сходит на нет. Культура окостеневает. Исчерпанность потенциала развития данной культуры поначалу оказывается в отдельных ее сферах и подсистемах (искусство, социальные практики). Разворачиваясь, ситуация исчерпанности охватывает все измерения социокультурного универсума.

Культурная традиция останавливается в своем развитии. Разрастается непреодолимый конфликт между исчерпавшей себя культурой и сообществом ее носителей. Культурная парадигма исчерпывается. Наиболее яркие носители творческого потенциала двигаются к иным берегам. Культурная инерция обеспечивает возможность рутинного существования, но не дает ответов на вызовы истории.

Как видите, эта интерпретация кризиса исторического снятия культурной традиции не противоречит предложенной мною прежде модели.

И последнее: понятие «исторический тупик», как я уже сказал, соотносимо с понятием «кризис». Между тем кризисы различаются своим рангом. Природа локальной цивилизации такова, что допускает существование нескольких модальностей. Они могут последовательно реализоваться в ходе исторического развития. Большие культурные традиции способны радикально переструктурироваться и переходить от одной модальности к другой. Наглядный пример – модальное преобразование российской цивилизации в XX в. На советском этапе российской истории сформировалась особая модальность идеократического общества. Но это лишь частный вариант цивилизационной целостности.

Таким образом, исторические тупики фиксируют два типа кризисов, различающихся рангом: *кризис перехода* от одной модальности к другой и *кризис исторического снятия* большой культурной традиции. Я сосредоточился на общих моментах и механизмах кризиса. Однако, рассматривая ситуации исторических тупиков, следует по возможности различать, с каким из кризисов мы имеем дело.

И.И. Глебова: Коллеги, есть ли вопросы к докладчику?

?
Л.В. Скворцов (ИИОН РАН): Игорь Григорьевич, когда Вас слушаешь, складывается впечатление, что современная российская культура какая-то уж очень монолитная. Мне же представляется, что это гремучая смесь традиционализма, архаизма, модернизма, постмодернизма и Бог знает чего еще. Как Вы считаете?

 **И.Г. Яковенко:** Я не говорю, что русская культура абсолютно монолитна. Предложенная Вами характеристика – «смесь» – вполне адекватна; тогда, что называется, возможны варианты. Вероятны трагические процессы, когда архаическое начало будет подавлено или, напротив, архаическое будет громить то, что «продвинулось», – бывало такое в русской истории. Возможны самые разные развороты традиции. Скажем, победят авторы «русофильских» интернет-сайтов или верх одержат те, кого они называют «врагами русского народа». Что сработает в культуре, то и станет социальным фактом. Ситуация-то поливалентная.

Но дело-то в чем: когда общество чересчур гетерогенно, развитие проблематично. В истории происходят – мы стараемся об этом не говорить, потому что это оскорбляет наше нравственное чувство или вносит дискомфорт в сознание, – процессы «подчистки» и выведения из бытия архаичного (того, что изжило себя). Так было во все времена. Но если в обществе чрезвычайно велики пласти архаики, это создает существенные проблемы – в том числе и ловушки.

?
В.В. Лапкин (ИМЭМО РАН): Игорь Григорьевич, мне представляется, что, полагая культуру некой целостностью, – Вы ведь на этом строили свою аргументацию или большую ее часть...



И.Г. Яковенко: Безусловно.

?
В.В. Лапкин: ...Вы показываете ее сущностью, отчужденной от человека. В Вашей трактовке отсутствует связь между культурой и человеком. Но если культуру понимать несколько иначе, будет ли работать Ваша аргументация?



И.Г. Яковенко: Действительно, культура системна, целостна, но это вовсе не означает, что она неизменна. История культуры, если воспользоваться простейшими аналогиями, напоминает историю биологического вида. Культура возникает и развивается в определенных, ограниченных пределах – за ними не действует, кончается. Отношения же человека как носителя культуры и культуры – субъект-субъектные. Человек пытается менять культуру, и ему это удается – в рамках того диапазона изменений, который заложен в системном качестве. Когда граница перейдена, дальнейшие модификации становятся невозможными. Культура их отвергает.

Заметьте: культура, особенно в условиях догоняющей модернизации, довольно легко усваивает частные изменения – технологии, мобильники, пятое-десятое. Модификации, связанные с переработкой тех культурных слоев, что находятся ближе к ядру (ценностному, мифологическому), осваиваются сложнее. А базовые, фундаментальные вещи трансформации не поддаются. Культура ложится, так сказать, костьюми и всеми силами сохраняет свою сущность, собственные основания. Русская культура, к примеру, принципиально экстенсивная. Она блокирует любые попытки перевести ее в модальность культуры интенсивной. Если она переменится, станет по преимуществу интенсивной, то перестанет быть русской. Россия не будет уже Россией.



Ю.С. Пивоваров (ИНИОН РАН): Хочу задать вопрос вдогонку. Когда-то я занимался Николаем Яковлевичем Данилевским, но не думал, что его идеи все еще актуальны. Особенно интересным мне кажется соединение либерального сознания профессора Яковенко с нелиберальной мыслью Данилевского. Всегда у меня ощущение, что для Вас культура есть нечто существующее само по себе – не «субъект-субъектное». Вы ведь говорите: если человек пытается выйти за пределы системы, которая разрешает и запрещает, у него ничего не получается. Вы, я, люди здесь сидящие, – мы чего-то хотим, но культура нам не позволяет. Или, напротив, позволяет. Что же это за культура такая? Как она возникла, где существует? Культура – нечто вне нас? Мне трудно поверить, что это так.

Вы говорили о восприятии реальности через культуру. А что такое реальность? Есть некая объективная реальность, по-Вашему?

Если каждый понимает реальность через культуру, значит, для меня или для Вас таким отражателем/улавливателем будет русская культура. Но тогда у каждой культуры – своя реальность. Возникает своеобразная цепочка: культура – реальность – человек/общество. Каковы «взаимоотношения» внутри нее? Это, мне кажется, надо прояснить. Потом Вы говорите: из тупика выйти нельзя. А что, гибель культуры – обязательно тупик?



И.Г. Яковенко: Для культуры – да, а для людей необязательно.



Ю.С. Пивоваров: Подождите-подождите, культура ведь может диссоциироваться. Вы говорите, что культура – монада. Это даже сильнее, чем Данилевский, это уже прямо Шпенглер: у него культура – монада; Данилевский еще предполагал некую преемственность культур, у Шпенглера нет и этого. Я не говорю, что это плохо, но удивительно – сегодня, через 100 лет... Когда Данилевский высказал свою точку зрения, на него набросились все. Главный аргумент: Россия – христианская страна, не культура определяет наше поведение, а свобода воли, выбора человека. А у Вас культура – своеобразный аналог советского марксизма, который настаивал на соответствии производительных сил производственным отношениям. Вы переводите примерно тот же тип мышления в культурную сферу – так мне показалось. Но ведь это конец. Когда Вы говорите: русская культура экстенсивна, и как только она перестанет развиваться экстенсивно, то перестанет быть русской, – подписываете ей смертный приговор. Мы с Вами останемся, а ее не будет. Но что же тогда нами будет «руководить»? Ведь культура, по-Вашему, все определяет? Я совсем запутался. Распутайте, пожалуйста.



И.Г. Яковенко: Вы задали примерно двадцать вопросов.

Боюсь, что-то забуду. Начну с конца, потому что лучше помню. Если культура исчезнет, а мы останемся, для нас теоретически возможны два варианта. Вариант «*а*»: эту территорию разбирают разные цивилизации, и мы, соответственно, уходим в другие культуры. Вариант «*б*»: мы переживаем новый цивилизационный синтез – оказываемся частью процесса рождения нового системного качества, со своими системными характеристиками.

? **Ю.С. Пивоваров:** А что значит – культура уходит? Куда она уходит?

! **И.Г. Яковенко:** А куда ушла римская культура?

! **Реплика из зала:** Она не ушла.

 **И.Г. Яковенко:** Это иллюзия – ее нет как целого. А когда-то была советская культура как нечто целостное. Лет через 10–15 мы уже фиксировали ее остатки. Потом, конечно, происходит регенерация. Но культура все-таки уходит.

Теперь к вопросу о том, что есть мы и что – культура. Мы с Вами существуем – отдаем себе в этом отчет или нет – внутри той культуры, в которой воспитаны. Разумеется, культура – это пакет программ. Для каждой субкультуры, культурной ниши работает своя программа, но все-таки это некий пакет. И у этого пакета есть пределы, границы.

Да, я убежден в том, что культуру можно понимать как своего рода системный аналог живой природы. Она себя воспроизводит (логически задана на бесконечное воспроизведение), она имеет базовые характеристики, она не хочет умирать, она держит людей – для этого вкладывает в них иллюзии, фобии и проч., тем самым ими манипулирует. Мы с вами являемся носителями большого количества биологических программ (скажем, выбора партнера и т.д.). В этом отношении нами тоже манипулируют, но манипулирует живая природа. Эти вещи мы полагаем просто частью собственной органики, и никакого конфликта здесь не обнаруживаем. Но наряду с программами биологическими есть и культурные, которые тоже нас задают. А вот набор культурных программ может меняться.

Что касается квалифицирующих суждений – о либералах или Данилевском, я их списываю на полемический прием. Насколько то, что я говорю, является перепевом Данилевского – не мне судить, надо смотреть. Но культуры действительно однажды рождаются, живут очень долго, развиваясь в рамках того системного единства, которое в них заложено, а потом сходят с исторической арены. Катастрофы в этом я не вижу. Это нормальный, естественный процесс – как смерть или рождение человека. Катастрофу в этом видят, например, авторы российских интернет-сайтов, занятые поиском врагов.

Умирание (сворачивание) культуры – процесс печальный, но естественный. Вопрос ведь в том, как мы постигаем реальность. Один вариант: мы ее мифологизируем – полагаем свою культуру вечной, считаем, что возникла она в акте творения и пребудет до того времени, когда ангелы начнут сворачивать небесный свиток, как на иконах Страшного Суда. Тогда гибель культуры для нас – трагедия. Если мы видим культуру как одну из модальностей человеческой цивилизации, это нормальный процесс. Только и всего.

?

Ю.И. Игрицкий (ИНИОН РАН): К какому типу исследователя культуры Вы себя относите? Вы культуролог, историк, историк культуры, историк мысли или...

 **И.Г. Яковенко:** Я, конечно же, существую в некоем междисциплинарном пространстве. Себя полагаю культурологом. И цивилизационистом. Потом, я занимаюсь россиведением.

?

Ю.И. Игрицкий: Мне показалось, что культура для Вас – некая полуавтоматическая система, которая развивается по определенным законам, в точном соответствии каким-то закономерностям. Из нее совершенно исключена творческая активность отдельных лиц – творцов культуры.

 **И.Г. Яковенко:** Либо Вы меня неправильно поняли, либо я плохо рассказывал. Культура, конечно, живая система – как живые виды, как множество всего живого. Но живое не перестает быть системным: оно состоит из взаимосвязанных, заданных некоей логикой элементов, изменения которых возможны в рамках конструктивной (для данной системы) логики. А что до творчества, то могу только повторить: это в мифологии человек бесконечно творец и может делать все, что угодно, – к чему подталкивают его эпоха, его культура, его цивилизация. Человеческое творчество в огромной степени задано контекстом, в котором творит человек. Но реализуется творческий потенциал в самых разных формах.

?

М.А. Боровик (ИНИОН РАН): Простите, а Иисус Христос или Будда – только следствие неких общих контекстов?



И.Г. Яковенко: Здесь мы с вами переходим к проблематике веры. Вера лежит совсем в другом пространстве. Но великие учителя и мировые религии возникают на определенном этапе всемирно-исторического процесса – в этом смысле они логически заданы и неизбежны.



И.И. Глебова: Я поняла, что когда Вы говорите о культурах, об их рождении и смерти, то имеете в виду некий традиционный каркас. То есть полагаете культуру традиционным явлением. Приходит момент, сказали Вы, когда история «снимает» ту культуру, которая не может отреагировать на ее вызовы. Тогда у меня к Вам такие вопросы. Каково соотношение: традиционная русская культура – советская культура? И что такое переход от советского к постсоветскому – окончательное «свертывание» этого типа культуры (тупик), неадекватная попытка отреагировать на вызов времени?



И.Г. Яковенко: Попробую ответить. Действительно, традиционное лежит в основании культуры, и это касается не только российского случая. Показательно, что и культура высокая – исторически самая поздняя: образованного общества – обнаруживает системное единство с традиционной культурой данной страны. Есть, к примеру, традиционный немец или голландец и традиционный русский крестьянин. Русская высокая культура ближе к нему, чем к высокой культуре Германии и Голландии. Традиционная и высокая культуры разные, но заданы тем системным единством, о котором я все время говорю.

Далее. На мой взгляд, советский этап определяли идея и стратегия модернизации в широком смысле. Советская «консервативная» модернизация представляла собой попытку вписать традиционного субъекта, предельно сохранив его структуры, в управляемые, заданные властью модернизационные процессы. И на первых порах это работало. Но модернизация на определенном этапе предполагает формирование автономного субъекта. Лес валить, железные дороги строить, создавать технику уровня «Т-34» может и традиционный субъект – под началом «спецов», начальников. Следующие этапы уже требуют появления личности, автономизированного человека – и не единиц, отдельных «передовых представителей», а как достаточно массового слоя. Как раз на та-

ком переломе наш модернизационный проект не сработал – поэтому, в частности, кончился Советский Союз.

То, что происходило после этого, с 1991 г., очень любопытно. Сначала рассыпались культурные и социальные структуры – возникла комфортная для современного интеллигента и интеллектуала ситуация, когда нет жестких институтов, при этом – максимальная свобода; есть нечего, но приятно жить. Потом началась регенерация базовых структур. Причем регенерировались они в несвойственной, непривычной для советской культуры ситуации: с империей ушла иллюзия того, что мы – пуп земли, центр мира. Исчезло ощущение себя всемирной силой, что поддерживало, санкционировало культуру. И тем не менее она пытается возродиться. Однако будущего для такого возрождения я не вижу. Не знаю, ответил ли?

• **И.И. Глебова:** Да, но у меня появился еще один вопрос.

• Не являются ли способность традиционного начала в культуре к регенерации, его сила залогом продолжения движения в туrick или «консервацией» тутика? То есть, говоря Вашими словами, так и возникает ловушка?

 **И.Г. Яковенко:** Ну, конечно. Регенерирование неадекватного – способ «самозакатывания». Шанс на выживание субъекта исторического действия – в его способности меняться. Восстанавливая себя в базовых основаниях, он движется к «снятию». Эти программы лежат в «спинном мозгу» и вымываются исключительно трудно. Вопрос в том, как сделать русское мышление институциональным, как «снять» надежду на доброго и справедливого царя или потребность бороться со всеми «гадами», которые «нам мешают»...

! **И.И. Глебова:** Вы уже ответили – научение невозможно, культура манипулирует человеком.

 **И.Г. Яковенко:** Человек может уйти из культуры – в этом и состоит его свобода. Но этот выход очень непростой... Тем не менее человек волен покинуть культуру, полагая ее обреченной, несправедливой. Так он реализует ту свободу, которая дана ему от Бога.



И.И. Глебова: Последний вопрос. Может ли модернизовавшийся, «новый» субъект, опираясь на здоровое традиционалистское начало в культуре, обеспечить ее динамику? Не это ли путь адаптации культуры ко времени?



И.Г. Яковенко: Я вижу мир как системную сущность.

И глубоко убежден, что хобот, плавники, копыта и хвосты – несочетаемые элементы, разные конструкции. Есть хобот – это одна конструкция. Есть копыта – другая конструкция. Сочетать их невозможно. Можно похоронить тупиковое и потом создать нечто новое.

И.И. Глебова: Спасибо. Коллеги, еще вопросы? ... Вопросов нет. Тогда, может быть, есть желание выступить?



Л.В. Шемберко (ИНИОН РАН): Я приведу, наверное, очень незначительный и отвлеченный пример, но мне он кажется показательным. После войны как-то очень быстро и легко у нас отказались от народных танцев. Сначала, наверное, из-за того, что не осталось мужчин. Потом стали танцевать рок-н-ролл и проч. И эта традиция ушла. Сейчас она возрождается. Но как? То, что в Африке или Азии живо до сих пор, осталось только на эстраде. Пропала ли при этом наша культура? Отмирание традиционных начал в ответ на новое время нельзя, по-моему, назвать крахом культуры. Она так эволюционирует, живет.



С.Г. Серебряный (РГГУ): Я скажу, наверное, то, что многие и без меня могли бы сказать, а Юрий Сергеевич <Пивоваров> уже частично высказал. Этот доклад меня разочаровал. В нем есть две стороны: теоретическая и практическая, т.е. комментарий к нашей нынешней ситуации. Что касается теоретической части, то, как и Юрий Сергеевич, я ощущаю здесь тяжелое наследие советского марксизма. Он постулировал, что все определяет экономический базис. Наш сегодняшний докладчик постулирует какую-то мифическую культуру, толком даже не определяя, что он под ней понимает. Речь шла о некоем конструкте, который все формирует, контролирует, задает. Но это – не объяснение; просто тип восприятия действительности. Вы воспринимаете ее мрачно. Но убеди-

тельной аналитики, подтверждающей Вашу мрачную точку зрения, не приводите. В целом, как мне кажется, от Вашего доклада отдает глубокой марксистской архаикой. Если я не прав, пусть товарищи меня поправят.

И.И. Глебова: Хотят «товарищи» поправить?



Ю.С. Пивоваров: Никак не могу согласиться с предыдущим оратором, потому что, напротив, доклад показался мне очень интересным и важным. Считать точку зрения докладчика пессимистической или нет, зависит от личной позиции. В отличие от Игоря Григорьевича я не культуролог, мне привычнее оперировать историческими определенностями. Но если переводить высокую теорию, – а это действительно высокая, а не какая-то иная теория, – на язык истории, связать ее с определенным временем и конкретными людьми, то возникает вопрос: что делать-то? Если наша культура такова, какой ее полагает И.Г. Яковенко, то что, собственно говоря, нам делать в этой ситуации? Я все время цитирую слова, с которыми поэт Кублановский много лет назад обратился к своему другу Бродскому: «Друг, я спрошу тебя самое главное: / ежели прежнее все – неисправное, / что же нас ждет впереди?». Если наша культура в тупике и уже нежизнеспособна, что же нам с Вами – выйти из этой культуры? С Вашей точки зрения культура – это все; Вы предлагаете этакий панкультуризм. Тогда что есть за пределами данной культуры? Безвоздушное пространство? Или другая культура? Но как мы пойдем в другую, если мы – продукты этой культуры?

Культуры ведь принципиально различны. Вы говорили о сознании доправовом и институционально-правовом. А почему Вы называете традиционный тип сознания доправовым? Ведь тогда предполагается, что в рамках этой культуры может сформироваться и правовое сознание. А если данная культура этого вообще не предполагает? Скажем, в индийской культуре отсутствуют социальные механизмы, которые выработала европейская, христианская культура, – и не потому, что она хуже или лучше. Она просто другая. Это как раз Вам подходит, пример – «под» Вашу точку зрения. Но от другой культуры нельзя ждать выработки институционально-правового мышления. Если в русской культуре за более чем тысячу лет не возник институционально-правовой подход – я, кстати, с

этим не согласен и как историк мог бы сказать, что это не так, – то каковы основания называть наше сознание доправовым? Я вообще не использовал бы термины «внеправовое», «доправовое», а называл как-то иначе. Понимаете, какая вещь: все культуры, кроме европейской, не выработали такого сознания. Мы это знаем. Значит, они способны существовать и без этого.

Я вновь обращаюсь к Вам с вопросами, которые уже много лет задаю (потому что не могу для себя определить до конца): мы навсегда обречены на спады, отставания, тупики? И верно ли мы видим «наличную действительность», правильно ли расставляем акценты? Вы говорили о соотношении досоветской, советской и постсоветской культур. В исторически самой из них ранней – дореволюционной – культуре была масса того, что Вы называете модернизационными процессами, явлениями, субъектами. Я никогда не пользуюсь термином «модернизация» – думаю, что этого не существует в природе вещей. Потому что не знаю ни одной культуры, которая модернизовалась бы, т.е. изменила свои природу и суть, кроме европейской. Ни одной. Любая другая может создавать какие-то механизмы адаптации к постоянно модернизирующейся культуре Запада, но сама не модернизируется. И, в общем, ничего. Такие культуры живут, потом умирают, что нормально, как Вы говорите.

На самом деле Вы ставите ключевые вопросы. Для меня важнее всего понять: обречены мы сейчас, в начале XXI в., вновь искать «доброго царя», т.е. по существу на регенерацию традиционных институтов, или нет? Или история – процесс открытый? Я, например, считаю так. Все зависит от воли человека – мы можем изменить то, что Вы называете культурой. Не существует культурного генотипа, который все определяет. Или их много, или их несколько. Вы знаете, в социальной психологии существует такая теория модальной личности, в 1960-е годы созданная. Она утверждает, что в каждом народе, культуре есть несколько типов модальной личности. Это означает, что и в русской культуре есть несколько модальных типов личности, а значит, вероятны несколько путей развития. Ведь модальные личности всегда реализуются в каких-то социальных группах (где они приобретают «масштаб»), проектах, программах.

Другой важный вопрос: может ли человек выйти за пределы того, что Вы называете культурой? Но не в безвоздушное про-

странство или в другую культуру, а изменив, «продвинув» свою, исходную. Я занимался Германией и могу сказать: сейчас это уже не та страна, какой она была в начале или в середине XX в. Даже если не трогать нацизм. Современная Германия – уже не страна консервативных романтиков, революционеров, сумасшедших и гениев. Германия стала другой. Я полагаю, что изменения, причем очень серьезные, возможны и без гибели культуры. Я вообще уверен, что никаких тупиков у культуры нет. Римская культура умерла как римская государственность, но не умерла как латынь, как римское право, как идея империи, как идея цивилизации наконец. То же самое касается Византии, которая, кстати, и подарила нам в окончательном варианте римское право. Мне кажется, здесь работают гораздо более сложные механизмы. И они, кстати, описаны наукой XX – начала XXI в.



И.Г. Яковенко: Вы спросили: что делать? Прежде всего осознать реальность. Не прятаться от нее, а ее осознать – это основание для всего остального. Этим я и занимаюсь. Дальше, нам с Вами уезжать куда-то поздновато по возрасту, да и по многим другим обстоятельствам. Тогда остается существенное изменение культуры – то, что я называю цивилизационным синтезом. Культура в этом случае радикально меняется. Альтернатива, повторю, такова: эта территория и люди, ее населяющие, разбираются (или разбредаются) по соседним цивилизациям. Есть такой Гейдар Джемаль – так вот, еще в середине 1990-х в моей любимой газете «Завтра» он говорил: наши перспективы – исламизация России.

Теперь относительно тезиса о том, что Европа – и только Европа – смогла себя кардинально поменять. Конечно, модернизация была разительным изменением. Но такое изменение лежало в логике саморазворачивания этого типа культуры, его зачатки – еще в античном полисе. То есть мы имеем дело с саморазвитием некоторой целостности. То, что внешне кажется очень разным, по сути, представляет собой один генотип.

Относительно воли человека – тут мы с Вами попадаем в ловушку. Воля одного отдельного человека гораздо более свободна, чем воля десяти человек, взятых по случайной выборке. И менее свободна, чем воля ста человек. А воля целых народов в достаточной степени детерминирована – исторической эпохой, актуальной культурой, многими другими вещами. Поэтому апелляция к фило-

софским максимам в данном случае кажется мне спекулятивной. В логическом, конечно, смысле спекулятивной.

Что касается разных типов и различных модусов. Это очень верное и точное замечание. Я об этом тоже думаю. Мне представляется, что тот набор модусов, который был заложен в русской культуре, по большому счету исчерпан. И в следующих, надвигающихся ситуациях этим набором карт не обойтись.

По поводу римской культуры – осталась ли она в истории. В Средневековье пришел другой тип системности, появился романский мир. Как хотите, но ни молдаване, ни румыны, ни итальянцы, ни португальцы – не римляне, это совсем другой тип. Разумеется, их следует рассматривать в наследующей парадигме: осталось культурное наследие, рождались новые сущности. Что до нашей ситуации... давайте возьмем простую вещь. В Риме во II–III вв. понимали, что культура, актуальная культура умирает. И уходили в христианство. Это же была смена большой парадигмы. Почему эту историю мы не рассматриваем как отдаленный, но структурно-функциональный аналог сегодняшней ситуации? Это же похоже: боги все пошлые, смешные, культура сыпется, всеобщий хаос, а христианство оказывается тем окончанием, которое выводило людей в другую экзистенцию. Что для нас могло бы стать таким проводником – вот вопрос.



С. Беспалов (ИНИОН РАН): Игорь Григорьевич, я хотел бы вернуться к тезису И.М. Клямкина, который Вы, как я понимаю, поддерживаете, – об отсутствии институционально-правового сознания в России. И поскольку, как Вы сказали, культура в процессе модернизации допускает только частичные, технологические заимствования, блокируя глубинные изменения, – ситуация здесь тупиковая. Мне все же представляется, что есть смысл говорить о том, какие институты заимствовать, как они заимствуются и проявляет ли элита достаточную настойчивость в этом отношении.

Приведу пример, который кажется мне очень достойным: о судьбе суда присяжных в России. В начале XX в., как Вы знаете, много обсуждался вопрос об общественном правосознании. Господствовало мнение о неспособности русских крестьян принять современные правовые нормы. Считалось, что для традиционного сознания они не приемлемы. Так вот, на одном из совещаний в «верхах» по этому вопросу министр юстиции Российской империи

Н.В. Муравьев, выслушав массу подобных аргументов, возразил, выступив в защиту крестьян. Он, конечно, не знал таких слов, как институты и проч., но имел в виду, в сущности, следующее. Пока крестьяне замкнуты в привычной среде, в традиционных институтах (на сходах, в волостных судах), они руководствуются обычным правом. Но когда приходят в суд в качестве присяжных, на удивление хорошо справляются с этой ролью. Как-то сразу проникаются новыми нормами, быстро адаптируются, действуют лучше, чем люди из общества. Интеллигент, оказавшись в роли присяжного, начинает рассуждать, заела подсудимого среда или не заела и может ли он отвечать за свои поступки... А крестьяне, соизмеряя аргументы обвинения и защиты с позиций здравого смысла, выносили вполне адекватные вердикты. Значит, позитивные трансформации возможны.

Если мы посмотрим на судьбу того же самого суда присяжных уже в новой России, то увидим, что он тоже начал работать вполне прилично. Однако после череды оправдательных приговоров власти пошли на сужение сферы его компетенции, на пересмотр вердиктов, что противоречило самой природе этой судебной институции, и т.д. Мотивировался «накат» тем, что это чуждый для нас институт, народ к такой работе не подготовлен... Аргументация в русле культурной особости, незрелости, неспособности становиться для правящей элиты своего рода ширмой, прикрытием ее нежелания что-либо менять. И не только в данном случае. А.Ю. Мельвиль, который больше всех, наверное, в нашей стране сравнивает разные варианты посткоммунистических трансформаций, очень любит приводить пример Монголии. Казалось бы, самая неблагоприятная институциональная среда накануне реформ, нет никаких предпосылок для успешных преобразований, но воля политической элиты смогла переломить обстоятельства.



И.Г. Яковенко: Прежде всего, давайте различать идеологические спекуляции по поводу культуры и разговор профессиональный, по существу. Те ребята, которые ломают мир под себя, могут говорить о том, что народ не дозрел, не сумеет, с ним иначе нельзя... Это не так интересно. А вот история суда, и суда независимого, которая идет с Великих реформ Александра II и продолжается в эпоху демократических преобразований рубежа 1980–1990-х, – это тема. В том, что в «новой» России не «состоя-

лись» суды присяжных, Вы обвинили власть. Но я обращаю наше с Вами внимание на тот факт, что власть к нам с Марса не упала. Это зеркало, в котором отражается наше общество. И вот вопрос: а что сделало русское общество с теми людьми, которые посягнули на независимость суда? Ведь любые конституции, законы и проч. сами по себе – только бумага. Правовые нормы, институты и т.д. существуют постольку, поскольку люди готовы их отстаивать, противостоять тем, кто пытается их нарушить. Общество не защитило суды, позволив власти подчинить себе судебную систему. А что стало с частной собственностью? Когда она, вроде бы, начала возрождаться, получила ли она нравственную санкцию? Я настаиваю на том, что такой санкции она не имела. Когда-то русский народ благополучно вырезал «кулака», т.е. крепкого хозяина, основу деревни. Он и сейчас не согласен легитимировать институт собственности. Наконец, в России до сегодняшнего дня власть имеет сакральный статус. Все это – традиционные сущности. Они не поддаются переделке, не модернизируются. Хотя могут быть примеры адаптации традиции к современности.



А.А. Пелипенко (*Российский институт культурологии*): Хотелось бы сказать несколько слов по ходу дискуссии. Во-первых, целый ряд непониманий возник, по-моему, из-за несколько размытого употребления слова «культура». Я не берусь, конечно, давать сейчас какие-то исчерпывающие определения, но контекстуально предложил бы «двойное» употребление понятия – условно, с большой буквы и с маленькой. Культура с большой буквы – это принцип, охватывающий все внебиологические проявления человека и тот набор универсальных программ, которые свойственны всем культурам и антропологически присущи человеку. Кроме «большой» культуры выделяются еще локальные культуры. Где между ними проходит граница – отдельный вопрос, тем не менее такое различение контекстуально необходимо. Когда говорят об уходе из культуры, имеется в виду уход из локальной культуры, а не из культуры вообще – уйти из культурного пространства можно только в могилу. Или в какое-нибудь животное состояние. Мне кажется, с этой оговоркой некоторые дискуссионные моменты становятся более понятными.

Способность перехода из культуры в культуру меняется исторически. Для архаического человека это невозможно в принципе.

Этнографы хорошо знают: даже если появляются какие-то персонажи, которые вводят в традиционное социальное устройство системные новации, после их ухода все возвращается на круги своя – система стабилизируется на прежних основаниях. Что касается современного человека, ментальность которого представляет собой «слоеную», внутренне конфликтную структуру, то здесь я осмелиюсь высказать такую формулу: человеческая свобода – не в философском понимании, а в культурологическом – рождается из конфликта культурных программ. Когда человек перестает быть ведом жесткими, строгими культурными сценариями, он волей-неволей оказывается в пространстве, где становится свободным. Так вот, современный человек с его многослойной ментальностью максимально свободен по сравнению с людьми всех прошлых эпох. В этом смысле у него гораздо больше возможностей выйти из тех самых культурных рамок, которые ему изначально навязаны.

В отношении «навязывания», как я заметил, тоже возникли сомнения. Хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое культура – откуда берется, по какому праву столько диктует человеку и т.д. Дело в том – и здесь нет никакого удивительного открытия, – что человек живет в двух мирах: жизненном и системном. Это заметил, по меньшей мере, еще Дюркгейм. В жизненном измерении, обозримом и самодостаточном, просматривается и фиксируется субъективная воля человека. Но есть еще мир институтов, который подавляет внесистемные флуктуации и является источником поведенческих программ и сценариев. Если спросить у архаического человека, почему у него такая сложная система родства, то рационального ответа не получишь. Тем не менее эта система работает из поколения в поколение; воспроизводя себя, отсекает любые системные изменения, трансформации. Интересно, что против культурного детерминизма, о котором мы говорим, очень часто возражают люди, считающие себя религиозными. Их не смущает вера в какого-то мистического Бога, но когда говоришь, что в человеческом обществе и культура что-то определяет, – тут же начинаются протесты.

Сегодня человек как никогда свободен в возможности изменения культурных моделей. Потому что если раньше локальные культуры совпадали с территориально-государственными границами, то теперь они очень диффузны. Диффузность проявляется в наличии у человека свободы выбора – быть сопричастным к одним

подсистемам данной культуры (языку, религии, профессиональной деятельности и т. д.) и, наоборот, отчужденным от других. В такой ситуации действительно возможны глубокие трансформации. И мне представляется, что вариант глубокой трансформации нашей культуры не закрыт историей.



Б.В. Орешин (*издательство «Прогресс-Традиция»*): Я прочитал многое из того, что написал Игорь Григорьевич. Это соответствует моим научным интересам, поэтому читал я пристрастно, и у меня много всякого рода замечаний. Но сейчас речь не об этом. Для меня был очень важен этот доклад. И вот почему. Докладчик привлекает наше внимание к тому, что масштабы кризиса, который переживает наше общество, не осмыслены и не отрефлексированы. Более того, это действительно цивилизационный кризис, возможно, даже тупик: будущее совершенно неопределенно, все время появляются и нагромождаются факторы, влияющие на то, каким будет мир через какое-то время. И человек не в состоянии их предвидеть, прогнозировать, контролировать. Когда кто-то пытается разобраться в происходящем, это рассеивает иллюзии, которыми многие у нас живут.

Определения «кризис», «тупик» сразу вызывают какую-то панику – как обещание краха, указание на гибель культуры и т. д. Поэтому в ответ раздаются бесконечные предупреждения: не надо нагнетать, сгущать краски, демонизировать героев нашего времени – будет только хуже. Нужно обладать незаурядной смелостью, чтобы, ощущая шум и ярость, разлитые в обществе, говорить эти неприятные вещи. У нас же царят полная неразбериха и нежелание прислушаться к реальным оценкам. Одни твердят о какой-то вечной русской душе, которая не поддается переделке, не приемлет никаких «модернизмов», вестернизаций. Другие, как, например В.И. Новодворская, утверждают, что Россия – что-то вроде затерянного мира Конан Дойля, биологический казус: везде динозавры вымерли, кроме нас! Везде эволюция, а здесь – революция вспять. И тот и другой подходы ничего не объясняют. И всех объединяет ожесточенное нежелание слушать другого. Тон ненависти, лютая враждебность высказываний, чем бы они ни питались, совершенно неприемлемы.



Е.Ю. Наумов (РГГУ): Игорь Григорьевич, прежде всего хотел бы Вас поблагодарить. Это не дежурные слова – просто напоминание о том, что всякая мысль рождается от столкновения с чужой мыслью. Далее – по содержанию Вашего выступления. Мне показалась интересной та своеобразная триада, которую Вы выделили применительно к культуре, до конца, правда, не отрефлексировав: кризис – тупик – ловушка. Тут интересные соображения возникают. Мне, правда, не до конца понятно, что такое ловушка тупика. Теперь относительно собственно тупиков. Мы говорили о римской культуре, и в связи с этим я напомню: почти сразу после падения Римской империи явилось «вестготское возрождение». Да и потом... И где же тупик? Мне кажется, мы имеем дело не с тупиками культуры, а со взрывами приспособляемости.



И.Г. Яковенко: Да, есть кризисы перехода и кризисы исторического снятия. Это разные вещи.



Л.И. Сараксина (Государственный институт искусствоведения): Вы знаете, у меня мозги литературные, филологические, поэтому всю эту проблематику – чрезвычайно интересную, тут я согласна с Юрием Сергеевичем <Пивоваровым> – мне привычнее воспринимать через конкретные судьбы. В Вашем докладе мне как раз не хватило человека – не абстрактного, а буквального, конкретного. Поэтому, слушая Вас, я пыталась применить Вашу концепцию о ловушках/тупиках к судьбам людей, которые «выскочили» из своей культуры и устремились в другие дали. И вспомнила об известном персонаже истории XIX в. (он умер в 1882 г.) – князе Иване Сергеевиче Гагарине. Потрясающая судьба: представитель древнего боярского рода, дипломат, в 30 лет оставил службу, имение (три тысячи душ) и перешел в католичество. Причем совершенно по-русски – в самое строгое монашество (Ф.М. Достоевский потом напишет, что если русский православный человек переходит в католичество, то выбирает крайний вариант – сразу в подземные монахи). Мне было очень любопытно прочитать свидетельство Лескова, который видел князя Гагарина (тогда уже монаха Ксаверия) в Париже и изумился тому, насколько он остался русским – те же добродушие, сострадание, ничего не переменилось в его душе. Я хочу сказать, что есть сложности с применением Вашей теоретической модели к конкретным судьбам. При столкнове-

нии с жизнью, с судьбой человека культурные схемы бледнеют, сникают.

 **И.Г. Яковенко:** Должен сказать, что мой доклад в известном смысле был рассчитан на тот тип восприятия, который Вы продемонстрировали. Я предполагал, что слушающие меня люди станут сопрягать «схему» с живой реальностью. Это первое. И второе: можно поменять среду, уехать из России, скажем, в Германию, но естество-то к сорока годам уже сформировалось и никуда не уйдет. Мое общение с эмигрантами показывает, что человек, уехавший в зрелом возрасте, остается русским. То есть он, конечно, меняется, так как существует в другой реальности и вынужден к ней адаптироваться. Но сохраняет свою культурную идентичность – живет русскими интересами, смотрит наше телевидение, читает... А вот его дети – другие: у них глаза меняются. Это уже нормальные американцы, немцы – и дай им Бог удачи. Я просто предлагаю различать сформированные культурой базовые основания личности, факт ухода из «исходной» (родной) культуры и инерцию ее структур, которая действует до смерти.



Л.И. Сараскина: Так вот с князем Гагариным что случилось.

Он в тридцать лет ушел из родной среды и прожил в ином культурном пространстве до шестидесяти восьми лет. У него была мечта, что Россия станет католической. Он даже был фанатиком этой идеи. Писал книги. Последняя называлась так: «Станет ли Русь католической?». Знаете ли Вы, что в русской культуре слово «иезуит» ругательное?



И.Г. Яковенко: Ругательное.



Л.И. Сараскина: Я проверяла в словаре Даля: дурной,

ко-
варный, циничный, подлый. То есть в середине XIX в. это слово не означало принадлежности к какой-то конфессии. Так вот, мой герой, князь Гагарин, по душевным качествам – совершенное отрицание иезуита по Даю, но по ментальности, по творчеству – абсолютно преданный идеям католицизма, иезуитизма человек. Спасение России он видел в том, чтобы она стала католической. На путях православия страна пропадет, сгниет, а «под знаменем»

католичества у нее есть шансы на развитие. Так он считал. Вот ведь загадка – ее бы осмыслить...

 **И.Г. Яковенко:** Замечательно – моя бабушка тоже использовала слово иезуит в том самом смысле, о котором Вы говорите. Я это помню. Но это представление – карикатура на иезуита, рожденная русской культурой. Украина, Россия, оказавшись в поле действия иезуитов, создали их негативный образ, который зафиксирован в культуре. Так что здесь нет ничего удивительного.

 **Ю.С. Пивоваров:** Кстати говоря, слово «иезуит» не только в русском языке имеет негативные коннотации, так что тут нам не надо особенно гордиться. Но вот действительно проблема – человек и культура. Может ли человек одновременно идентифицировать себя с разными культурами или принадлежать к разным культурам. Вот смотрите, И.А. Бродский говорил о себе: я – гражданин США. Это правда: он был «супертым» сторонником американской демократии, политической системы и т.д. Дальше: я – русский поэт. И действительно, это великий русский поэт. И наконец: я – еврей. Да, он был этническим евреем – с этим тоже связана его самоидентификация. Бродский еще забыл упомянуть, что он советский человек – это особый тип культуры. Все вместе – сложная, множественная идентичность.

Но это пример из совсем недавних времен. А если обратиться к элите, об одном из представителей которой, князе Гагарине, мы вспоминали. Вот другой характерный пример: А.С. Пушкин – у него в лицее было прозвище «француз». Он думал по-французски, писал по-французски, молился по-французски, вызывал на дуэль по-французски, объяснялся в любви по-французски и т.д. Великий русский поэт. Безусловно, без проникновения во французскую культуру его бы не было. Далее. Как человек, который немного знает немецкий язык, могу утверждать: не читали бы Б.Л. Пастернак и М.И. Цветаева в оригинале немецкой лирики, в русской поэзии не случилось бы этих ослепительных гениев. Прочитанная и введенная ими в русскую культуру немецкая поэзия – это, в известном смысле, гениальный перевод с гениального немецкого на гениальный русский. И т.д. Не являются ли все эти люди представителями одновременно нескольких культур?

В современном взаимопроницаемом, принципиально открытом мире не просто возможна, но и неизбежна идентификация с разными культурами одновременно. Профессор Яковенко и многие из сидящих здесь коллег – представители не только русской культуры, но и мировой науки. Так или иначе, в той или иной степени, но мы интегрированы в эту единую интеллектуальную, культурную среду. Вы говорили об эмиграции как о возможном выходе из кризисной для культуры ситуации. Выходе для человека. Так это еще хуже, чем при большевиках: имеешь пролетарское происхождение – становишься маршалом, академиком, министром, не имеешь – социальный тупик. С точки зрения Вашей теории, сама культура – это тупик; раз уж ты в ней воспитался, то всё, кранты, никуда не деться. Нет разумной, не оскорбляющей, не дискриминирующей перспективы. Что делать-то?



И.Г. Яковенко: Вы опять задали не один вопрос, а несколько. Действительно, когда мы говорим об идентичности, то несколько огрубляем – иначе вообще никаких моделей не создашь. Идентичность – вещь многослойная. Возьмем, к примеру, хорватов. Они – часть славянского мира? Часть. Часть католического? Да. Хорватия наследуют Австро-Венгрии? Наследует. Это – часть Средиземноморья? Часть. Хорваты говорят по-немецки? Говорят – и еще по-итальянски, по-английски... Такая вот многосложная идентичность. В этом смысле примеры, которые Вы приводили, демонстрируют совсем не уникальную ситуацию. Идентичность в принципе многослойна. Что же до русской интеллигенции, то, конечно, она всегда формировалась в нескольких культурных пространствах. И это, безусловно, дает некоторую свободу.



И.И. Глебова: А надежду?



И.Г. Яковенко: Надежду на что? Надеяться мы можем только на то, что останемся, что будем свободны.



И.И. Глебова: Хотя бы так. Но ощущение тупиковности – не от концепции профессора Яковенко, а от нынешней российской ситуации, нашедшей в ней (среди прочего) отражение, – остается. Ведь именно прямота и резкость оценок докладчика вызвала такую острую реакцию зала. За ней – не непонимание, как

мне кажется, а страх. Страх подтвердить свои худшие предположения, перестать сомневаться в перспективах. И тогда действительно – что делать?

Есть такая известная формула у философа Д.Е. Галковского – «бесконечный тупик». Мне кажется, ее можно поставить подзаголовком к названию сегодняшнего доклада. Все социальные действия в России – последнего, во всяком случае, столетия – демонстрируют верность этой формулы. Революция, индустриализация/«коллективизация», «застой», перестройка, строительство демократии/рынка и т.д. – все оборачивается тупиком. При благости намерений и перспективности некоторых решений, при массовых энтузиазме, самопожертвовании и героизме, великих творческих прорывах, культурных и научных достижениях, которыми так богата наша история, притом что люди жили во все времена, тепло вспоминают лучшие для себя и могутnostальгировать по худшим (как правило, для других). Но в проекции большого времени все решает не это. Историческое накопление социально тупиковых ходов создает феномен ловушки. Наш докладчик с культурологической точки зрения объяснил причины этого явления. Каждый из нас может дополнить – с профессиональных и обычательских позиций.

Ощущение тупика – социальной неустроенности и несправедливости социального порядка, его нестабильности и бесперспективности – как бесконечного и непреодолимого, т.е. как исторической ловушки, в последнее время нарастает. Очевидно, что наша культура не справляется с современными вызовами, реагирует агрессией традиционного. Очевидно, что именно сейчас речь идет об «окончательном» социальном выборе в пользу развития или деградации. Очевидно, что потенциал развития стремительно минимизируется. Все эти очевидности в сумме дают самые неблагоприятные прогнозы. В которых очень хотелось бы ошибиться.

Спасибо, коллеги. Наш семинар закончен.

СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ

АРИНИН Александр Николаевич – доктор политических наук, главный редактор журнала «Политическое образование»

АФАНАСЬЕВ Юрий Николаевич – доктор исторических наук, профессор, основатель и первый ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)

БУЛДАКОВ Владимир Прохорович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории (ИРИ) РАН

ВОЛКОВА Татьяна Серафимовна – кандидат исторических наук, доцент, Историко-архивный институт РГГУ

ГАЛКИН Александр Абрамович – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

ГЛЕБОВА Ирина Игоревна – доктор политических наук, руководитель Центра россиеведения ИНИОН РАН, профессор РГГУ

КОНЧАЛОВСКИЙ Андрей Сергеевич – российский кинорежиссер

КРАУС Тамаш – доктор исторических наук, профессор Будапештского университета им. Л. Этвёша

ЛАПИНА Наталья Юрьевна – доктор политических наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН

ЛЕДЯЕВ Валерий Георгиевич – доктор философских наук, профессор ГУ-ВШЭ

МЕДУШЕВСКИЙ Андрей Николаевич – доктор философских наук, профессор ГУ-ВШЭ

ПЕРЕГУДОВ Сергей Петрович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН

ПИВОВАРОВ Юрий Сергеевич – академик РАН, директор ИНИОН РАН

СТАРОСТИН Евгений Васильевич – доктор исторических наук, профессор, Историко-архивный институт (ИАИ) РГГУ

ХОРХОРДИНА Татьяна Иннокентьевна – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ

ХОЛОДКОВСКИЙ Кирилл Георгиевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН

ЯКОВЕНКО Игорь Григорьевич — доктор философских наук, профессор РГГУ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ¹

Аксенов Владислав Бэнович – кандидат исторических наук, доцент, Московский государственный университет радиотехники, электроники и автоматики

Афиани Виталий Юрьевич – кандидат исторических наук, директор Архива РАН

Беленький Иосиф Львович – старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Беспалов Сергей Валерьевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Боровик Марина Алексеевна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН

Бузгалин Александр Владимирович – доктор экономических наук, профессор, МГУ

Гордон Александр Владимирович – доктор исторических наук, заведующий Сектором Восточной и Юго-Восточной Азии Отдела Азии и Африки ИНИОН РАН

¹ Здесь представлены лишь те исследователи, которые участвовали в дискуссиях. Круг людей, посещавших семинары, всегда был гораздо шире.

Игрицкий Юрий Иванович – кандидат исторических наук, заведующий Отделом Восточной Европы ИНИОН РАН, главный редактор журнала «Россия и современный мир»

Ильин Михаил Васильевич – доктор политических наук, профессор НИУ-ВШЭ, руководитель Центра перспективных методологий и социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН

Ильюхов Александр Антонович – доктор исторических наук, профессор Государственного университета управления (ГУУ)

Ким Пхон – аспирант (Южная Корея)

Коваль Борис Иосифович – доктор исторических наук, профессор, журнал «Политическое образование»

Колганов Андрей Иванович — доктор экономических наук, профессор МГУ

Королев Сергей Алексеевич – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН

Лапкин Владимир Валентинович – ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, первый заместитель главного редактора журнала «Полис»

Логинов Владлен Терентьевич — доктор исторических наук, профессор Университета Российской академии образования

Любин Валерий Петрович – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН

Малинова Ольга Юрьевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, профессор НИУ-ВШЭ

Наумов Евгений Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент, РГГУ

Орешин Борис Васильевич – генеральный директор издательства «Прогресс-Традиция»

Орлов Борис Сергеевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИНИОН РАН

Пальников Марат Степанович – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН

Пархалина Татьяна Глебовна – кандидат исторических наук, руководитель Центра научно-информационных исследований глобальных и региональных проблем ИНИОН РАН, заместитель директора ИНИОН РАН

Пелипенко Андрей Анатольевич – доктор философских наук, главный научный сотрудник Российского института культурологии

Роуз Кристиан Брунович – младший научный сотрудник ИНИОН РАН

Сараскина Людмила Ивановна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственного института искусствознания

Свак Дюла – доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра русистики Будапештского университета им. Лоранда Этвеша

Сенин Александр Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, Историко-архивный институт РГГУ

Семененко Ирина Станиславовна – доктор политических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН

Серебряный Сергей Дмитриевич – доктор философских наук, директор Института высших гуманитарных исследований РГГУ

Скворцов Лев Владимирович – доктор философских наук, профессор, руководитель Центра гуманитарных научно-информационных исследований ИНИОН РАН

Степанский Александр Давидович – доктор исторических наук, профессор, РГГУ

Тараторкин Филипп Георгиевич – кандидат исторических наук, доцент, РГГУ

Троицкий Юрий Львович – кандидат исторических наук, доцент, РГГУ

Черный Юрий Юрьевич – кандидат философских наук, заместитель директора ИНИОН РАН

Чубайс Игорь Борисович – доктор философских наук, Институт социальных наук

Шевырин Виктор Михайлович – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН

Шемберко Людмила Винцентовна – заведующая Сектором обеспечения библиографической информацией Центра информатизации ИНИОН РАН

Юрганов Андрей Львович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой, РГГУ

*Материалы семинаров подготовлены к изданию
И.И. Глебовой, М.А. Арманд, Е.Ю. Тесловой, Ю.Ю. Тыртовой*

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ДИСКУССИЯ

Художник обложки И.А. Михеев

Компьютерный набор Л.К. Исаева

Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова

Корректор В.И. Чеботарева

Гигиеническое заключение
№77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999г.
Подписано к печати 11/III – 2014 г.
Формат 60x84/16 Бум.оффсетная № 1
Печать оффсетная Цена свободная
Усл.печ.л. 20,25 Уч.-изд.л. 17,2
Тираж 300 экз. Заказ № 39

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский пр-кт, д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997**
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:

**Тел. /Факс 8(499) 120–4514
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

**Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский пр-кт, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9**